



РОМЕН РОЛЛАН

КОЛА
БРЮНЬОН
ЛИЛЮЛИ

ПЪЕР
И ЛЮС

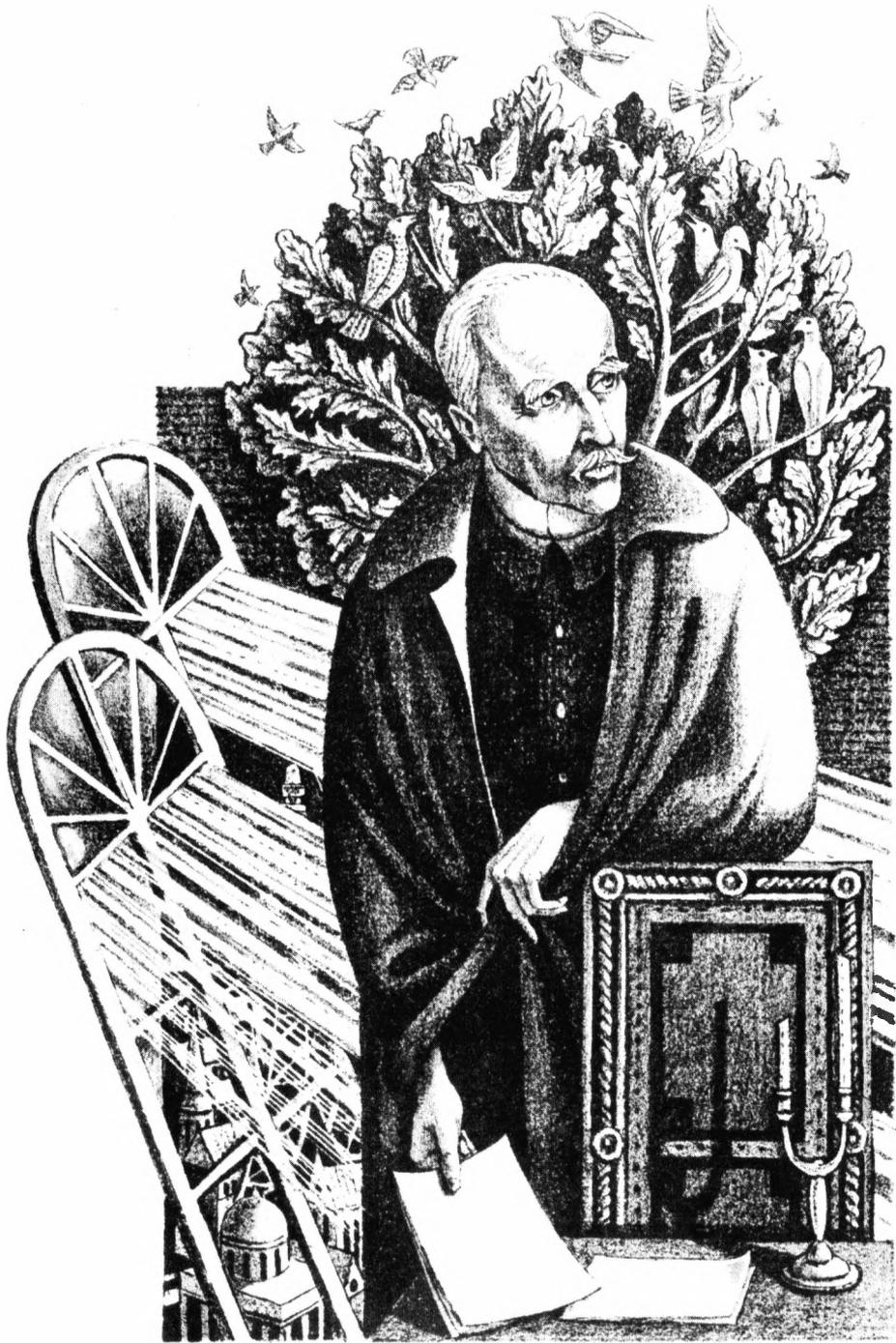


РОМЕН РОЛАН

КОЛА БРЮНЬОН

ЛИЛЮЛИ

ПЪЕР И ЛЮС



РОМЕН
РОЛЛАН

Кола Брюньон

Аилюли

Пьер и Люс



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

84.4 Фр
Р 67

Перевод с французского
Иллюстрации и оформление
С. Крестовского

Р $\frac{4703000000-1516}{080(02)-87}$ 1516—87

© Издательство «Правда», 1986. Иллюстрации.

КОЛА БРЮНЬОН

Жив курилка!



СВЯТОМУ МАРТИНУ ГАЛЛЬСКОМУ,
ЗАСТУПНИКУ КЛАМСИ

*Святой Мартын сам вина пьет,
А воду на плотину льет.*

(Поговорка XVI века)





Перевод
М. ЛОЗИНСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ



та книга была полностью отпечатана и готова к выходу еще до войны, и я ничего в ней не меняю. Кровавая эпопея, героями и жертвами которой были внуки Колá Брюньона, доказала миру, что «жив курилка».

И народы Европы, покрытые славой и синяками, найдут, мне кажется, потирая бока, долю здравого смысла в рассуждениях, которым предается «агнеток из наших краев, меж волком и пастухом».

Ноябрь 1918.

Р. Р.



итатели «Жан-Кристофа», наверное, не ожидали этой новой книги. Не меньше, чем для них, она была негаданной и для меня.

Я подготавливал другие работы — драму и роман на современные темы — в несколько трагической атмосфере «Жан-Кристофа». Мне пришлось внезапно отложить все накопленные заметки, набросанные сцены ради этой беспечной книги, о которой я не думал еще и накануне.

Она явилась реакцией против десятилетней скованности в успехах «Жан-Кристофа», которые сначала были мне впору, но под конец стали слишком тесны для меня. Я ощутил неодолимую потребность в вольной галльской веселости, да, вплоть до дерзости. В то же самое время побывка в родных краях, которых я не видал с дней моей юности, дала мне снова соприкоснуться с родимой землей Неверской Бургундии, разбудила во мне прошлое, которое я считал уснувшим навеки, всех Кола Брюньонов, которых я ношу в себе. Мне пришлось говорить за них. Эти проклятые болтуны не успели, видно, наговориться при жизни! Они воспользовались тем, что один из их внуков обладает счастливыми преимуществами грамотея (они часто по ним вздыхали!), и решили взять меня в писцы. Как я ни отбивался:

— Послушайте, дедушка, ведь было же у вас время! Дайте и мне поговорить. Всякому свой черед!

Они отвечали:

— Мальш, ты поговоришь, когда кончу я. Во-первых, ничего занятнее ты все равно не расскажешь. Садись сюда, слушай и ни слова не пропускай... Право, мальчик ты мой, сделай это ради старика! Ты сам потом поймешь, когда будешь там, где мы... Самое тяжелое в смерти, видишь ли,— это молчание...

Что делать? Пришлось уступить, я стал писать с их слов.

Теперь с этим покончено, и я опять свободен (надеюсь по крайней мере). Я могу вернуться к моим собственным мыслям, если, конечно, никто из моих старых болтунов не вздумает

еще раз встать из могилы, чтобы диктовать мне свои письма к потомству.

Я не смею думать, чтобы в обществе моего Кола Брюньона читателям было так же весело, как автору. Во всяком случае пусть они примут эту книгу такой, как она есть, прямой и откровенной, без всяких притязаний на то, чтобы преобразовать мир или объяснить его, без всякой политики, без всякой метафизики, книгой «на добрый французский лад», которая смеется над жизнью, потому что находит в ней вкус и сама здорова. Словом, как говорит «Дева» (ее имя не может не быть упомянуто в начале галльской повести), друзья, «примите благосклонно»...

Май 1914 г.

Ромен Роллан





2 февраля

лава тебе, Мартын святой! В делах застой. Не к чему и надсаживаться. Довольно я поработал на своем веку. Дадим себе передышку. Вот я сижу за своим столом, по правую руку — кружка с вином, по левую руку — чернильница; а напротив меня — чистая тетрадь, совсем новенькая, раскрывает мне объятия. За твое здоровье, сынок, и побеседуем! Внизу бушует моя жена. За окном воет ветер, и грозит война. Пускай. Как хорошо, что мы опять сошлись, милый ты мой пузан, вот так, лицом к лицу!.. (Это я тебе говорю, румяная рожа, сметливая, смешливая рожа, с длинным бургундским носом, посаженным на кось, словно шляпа набекрень...) Но скажи ты мне, пожалуйста, отчего это мне доставляет такое удивительное удовольствие видеть тебя, склоняться, наедине, над моим старым лицом, весело рыскать по его рывтинам и, словно из колодца (а ну его, колодец!), словно из погреба, пить у себя в сердце полной чашей старые воспоминания? Добро бы еще мечтать, а то писать, о чем мечтаешь!.. Да что я говорю — мечтать! Глаза у меня — открытые широко, большие, с морщинками в углах, спокойные и насмешливые; пустые грезы не для меня! Я рассказываю то, что видел, то, что сказал и сделал... Ну, не безрассудство ли? Для кого я пишу? Разумеется, не для славы; я, слава богу, не дурак, я знаю себе цену... Для внуков? Что останется через десять лет от всех моих бумаг? Моя старуха меня к ним ревнует, она палит все что ни найдет... Так для кого же? Да для самого себя. Для собственного нашего удовольствия. Я бы лопнул, если бы не писал. Недаром же я внук своего деда, который заснуть без того не мог, чтобы не записать на сон грядущий, сколько кружек он выпил и изрыгнул. Мне нужно поговорить; и мне мало словесных боев у нас в Кламси. Я должен излиться, как тот, что брил царя Мидаса. Язык у меня длинноват; если бы иные слышали, могло бы запахнуть костром. Но что поделаешь? Если всего бояться, задохнешься от скуки. Я люблю, как наши большие белые волы, пережевывают вечером дневной корм. Как приятно

потрогать, пощупать и помять все то, что подумал, заметил, собрал, посмаковать губами, испытать на вкус, не торопясь, так, чтобы таяло на языке, медленно, в обсоску, рассказывать самому себе все то, что не успел спокойно вкусить, пока ловил на лету! Как приятно пройтись по своему маленькому миру, сказать себе: «Он мой. Здесь я хозяин и повелитель. Ни холод, ни мороз над ним не властны. Ни король, ни папа, ни войны. Ни моя старая ворчунья...»

А ну-ка, я подведу счет этому миру!

Во-первых, я имею себя,— это лучшее из всего,— у меня есмь я, Кола Брюньон, старый воробей, бургундских кровей, обширный духом и брюхом, уже не первой молодости, полвека стукнуло, но крепкий, зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым или, если бы мне предложили вернуться этак лет на двадцать или на тридцать назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов пять десятков — отличная штука! Смейтесь, молодежь. Не всякий, кто желаает, до них доживает. Шутка, по-вашему, таскать свою шкуру по французским дорогам полвека сполна, в наши-то времена... Бог ты мой, и вынесла же, милые мои, наша спинушка и ведра, и дождя! И пекло же нас, и жарило, и прополаскивало! И насовали же мы в этот старый дубленый мешок радостей и горестей, проказ и улыбок, опыта и ошибок, чего надо и чего не надо, и фиг, и винограда, и спелых плодов, и кислых дичков, и роз, и сучков, и всего, что видано и читано, и испытано, что в жизни сбылось и пережилось! Всем этим набита наша сума вперемешку! И занятно же в ней порыться!.. Стой, не вдруг, милый друг! Пороемся завтра. Если я начну сегодня, то не будет и конца... Пока что запишем для справки, какие товары имеются у нас в лавке.

У меня есть дом, жена, четверо сыновей, дочь, замужняя (слава тебе, господи!), зять (само собой!), восемнадцать внуков, серый осел, собака, шесть кур и свинья. Ну и богач же я! Наденем очки, чтобы получше разглядеть наши сокровища. Перечисляю я их, по правде говоря, только для порядку. Случались войны, заглядывали солдаты, и неприятельские и приятельские. Свинья посолена, осел хром, погреб выпит, курятник оципан.

Но жена-то у меня есть, черт возьми, есть действительно. Слышите ее голосок? О таком счастье не забудешь: она моя, она моя, голубушка, это я ее обладатель! Ах ты, старый плут, Брюньон! Все тебе завидуют... Господа, за чем же дело стало? Если кто желает ее взять... Женщина бережливая, работающая,

скромная, честная, словом, преисполненная добродетелей (это ей не впрок, и я, грешный, сознаюсь, что семи тощим добродетелям предпочитаю упитанный грешок... Но будем добродетельны, раз уж приходится и такова воля божья)... Ой, и беснуется же она, наша неблагоприятная Мария, наполняя дом своим сухопарым телом, всюду шаря, всюду лазя, ворча, бурча, бормоча, крича, от погреба до чердака, изгоняя пыль и тишину! Вот уже скоро тридцать лет, как мы женаты. Черт его знает, почему! Я любил другую, которая смеялась надо мной; а она хотела меня, который ее не хотел. Это была, в те времена, маленькая бледенькая чернушка, чьи жесткие зрачки готовы были меня съестъ живьем и сверкали, словно две капли водки, гложущей сталь. Любила она меня, любила до смерти. И так она меня преследовала (до чего люди глупы!), что, отчасти из жалости, отчасти из тщеславия, а больше от усталости, дабы (хороший способ!) отделаться от этого наваждения, я стал (старый шут, лезет от дождика в пруд), я стал ее мужем. С тех пор она моя, добродетель у меня в доме. А она, она мстит, милое создание. За что? За то, что любила меня. Она меня бесит; ей во всяком случае хотелось бы меня взбесить; но не тут-то было: я слишком ценю свой покой и не настолько глуп, чтобы из-за слов огорчаться хоть на грош. Идет дождь — пусть идет. Гремит гром — пою на весь дом. И, когда она орет, я смеюсь во весь рот. Почему бы ей не орать? Разве я собираюсь ей мешать, этой женщине? Я ей смерти не желаю. Завел жену — забудь тишину. Пускай себе тянет свою песенку, я буду тянуть свою. Коль скоро она не делает попыток заткнуть мне клюв (она и не покушается, она знает, к чему бы это привело), пусть себе чиликает: у всякого своя музыка.

Впрочем, в лад ли звучат наши инструменты, или не в лад, мы как-никак исполнили с их помощью несколько недурных вещей: дочку и четырех молодцов. Народ все прочный, хорошо слаженный; я не жалел материала и труда. Однако единственная из всего выводка, в ком я вполне узнаю свое семя, — это моя плутовка Мартинка, моя дочка, скотинка! Немало стоило мне мужества довести ее до замужества! Ух, наконец-то она угомонилась!.. Полагаться на это не очень-то следует; но теперь мое дело сторона. Фловольно я стерег и берег. Теперь моему зятю черед стеречь. Флоримон, пекарь, охраняй свою печь!.. Мы всегда спорим, всякий раз как встретимся; но ни с кем мы так не ладим, как друг с другом. Славная девушка, рассудительная даже в своих сумасбродствах, и честная, но только честностью веселой: потому что для нее худший из пороков — это то, что скучно. Труд ей не страшен: труд — это борьба; борьба — это удовольствие. А она

любит жизнь; она знает, что хорошо; как я: это моя кровь. Но только я, пожалуй, слишком расщедрился, когда ее создавал.

Мальчики удались мне не так. Мать подмешала своего, и тесто скисло: из четырех двое — богомолы, как и она, и вдобавок — враждебных толков. Один все время трется среди постных рож, попов, святош; а другой — гугенот. Сам не понимаю, как это я высидел этих утят. Третий — солдат, воюет, шатается неведомо где. А что касается четвертого, то это — ничто, как есть ничто: мелкий лавочник, безличный, как овца; я зеваю при одной мысли о нем. Я узнаю свое племя только с вилкой в кулаке, когда мы сидим, все шестеро, за моим столом. За столом их будить не нужно, все работают дружно; и любо смотреть, когда мы, все шесть, вся дюжина челюстей, садимся есть, отправляем куски за обе щеки и спускаем вино на самое дно.

После подвижности обратимся к дому. Это тоже мое детище. Я его выстроил кусок за куском, и даже не раз, а три раза, на берегу ленивого Беврона, жирного и зеленого, полного травы, земли и навоза, при въезде в предместье, по ту сторону моста, который, как прилегающая такса, мочит брюхо в воде. Как раз напротив возвышается горделивая и легкая башня святого Мартына, в вышитой юбочке, и цветистый портал, к которому ведут черные и крутые ступени Старого Рима, словно в рай. Моя скорлупка, моя халупка расположена вне стен: так что всякий раз, как с башни завидят на равнине неприятеля, город запирает ворота, и неприятель является ко мне. Хоть я и не прочь покалякать, но без этих гостей я мог бы и обойтись. Чаще всего я ухожу, оставляю ключ под дверью. Но, когда я возвращаюсь, я иной раз не нахожу ни ключа, ни двери: всего-навсего четыре стены. Тогда я отстраиваюсь. Мне говорят:

— Дуралей! Ты работаешь на врага. Брось ты свою нору и переселяйся в город. Там ты будешь под защитой.

Я отвечаю:

— Ничего! Мне и тут хорошо. Конечно, за толстой стеной я буду безопасней. Но что я буду видеть за толстой стеной? Стену. Я иссохну от скуки. Мне нужна свобода. Мне нужно, чтобы я мог развлечься на берегу моего Беврона и, когда я не работаю, смотреть из моего садика на отблески, вырезанные в тихой воде, на круги, которые по ее глади выкивают рыбы, на косматые травы, шевелящиеся на дне, удить, полоскать свои тряпки и опоражнивать свой горшок. И потом, как-никак, я тут жил всегда; переезжать поздно. Хуже не будет, чем со мной бывало. Дом, вы говорите, опять разрушат? Возможно. Милые мои, я и не притязаю на то, чтобы строить на веки вечные. Но раз я куда вбит, меня не так-то легко вытащить,

ей-богу! Я отстраивался два раза, отстроюсь и десять раз. Не то чтобы я находил в этом удовольствие. Но мне было бы в десять раз скучнее переселяться. Я был бы как тело без кожи. Вы мне предлагаете другую, красивее, белее, новее? Она бы на мне сидела мешком или же лопнула бы. Нет уж, я предпочитаю свою...

Итак, перечтем: жена, дети, дом; все ли свои владения я обошел? Остается еще самое лучшее, я его припас на закуску, остается мое ремесло. Я из братства святой Анны, столяр. Я ношу на похоронах и в процессиях древко, украшенное циркулем на лире, а на нем господня бабка учит читать свою дочурку, благодатную Марию, крохотную девчурку. Вооруженный топориком, долотом и стамеской, с фуганком в руках, я царю за моим верстаком над дубом узлистым, над кленом лоснистым. Что я из них извлеку? Это смотря по моему желанию... и по чужому кошельку. Сколько в них дремлет форм, таящихся и скрытых! Чтобы разбудить спящую красоту, стоит только, как ее возлюбленный, проникнуть в древесную глубину. Но красота, которую я обретаю у себя под рубанком, не жеманница. Какой-нибудь поджарой Диане, без перада и зада, лыбого из этих итальянцев, я предпочитаю бургундскую мебель, со смуглым налетом, кражистую, сочную, отягченную плодами, как виноградный куст, этакий пузатый баул или резной шкаф, в терпком вкусе мэтра Гюга Самбена. Я одеваю дома филенками, резьбой. Я разворачиваю кольца винтовых лестниц; и, словно яблоки из шпалеры, я выращиваю из стен просторную и увесистую мебель, созданную как раз для того места, где я ее привил. Но самое лакомство — это когда я могу занести на бумагу то, что смеется в моем воображении, какое-нибудь движение, жест, изгиб спины, округлость груди, цветистый завиток, гирлянду, гротеск, или когда у меня пойман на лету и пригвожден к доске какой-нибудь прохожий со своей рожей. Это я изваял (и это венец всех моих работ), на усладу себе и кюре, скамьи в монреальской церкви, где двое горожан весело чокаются за столом, над жбаном, а два свирепых льва рычат от злости, споря из-за кости.

Поработав, выпить; выпив, поработать, — что за чудесное житье!.. Я на каждом шагу встречаю чудаков, которые ворчат. Они говорят, что нашел я, мол, тоже время петь, что времена сейчас мрачные... Не бывает мрачных времен, бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, господи, не из их числа. Друг друга грабят? Друг друга режут? Всегда будет так. Даю руку на отсечение, что через четыреста лет наши правнуки будут с таким же остервенением драть друг с друга шкуру и грызть друг другу носы. Я не говорю, что они не

изобретут сорок новых способов делать это лучше нашего. Но я ручаюсь, что они не измыслят нового способа пить, и бьюсь об заклад, что лучше, чем я, они пить не научатся... Почему знать, что они будут выделять, эти мошенники, через четыреста лет? Быть может, благодаря траве медонского кюре, чудодейственному Пантагрюзлиону, они смогут посещать области Луны, кузницу перунов и запруды дождей, селиться в небесах, бражничать с богами... Что ж, я отправлюсь туда вместе с ними. Ведь они мое же семя, из моей утробы племя. Плодитесь, голубчики! Но мое место — надежнее. Кто мне поручится, что через четыре столетия вино будет такое же доброе?

Жена меня попрекает, что я слишком люблю кутнуть. Я не брезгую ничем. Я люблю все хорошее: хороший стол, хорошее вино, славные, мясистые радости и те, нежнокожие, сладостные и бархатистые, которые вкушаешь в мечтах, божественное безделье, когда чего только не делаешь! (здесь ты властитель мира, юный, прекрасный, победоносный, ты преобразуешь землю, ты слышишь, как растет трава, ты беседуешь с деревьями, зверями и богами) — и тебя, старый товарищ, тебя, который не предаст, мой друг, мой Ахат, мой труд!.. Как хорошо стоять с инструментом в руках у верстака, пилить, строгать, сверлить, тесать, колоть, долбить, скоблить, дробить, крошить чудесное и крепкое вещество, которое противится и уступает, мягкий и жирный орешник, который трепещет под рукой, словно хребет русалки, розовые и белые тела, смуглые и золотистые тела наших дубравных нимф, лишенные своих покровов, срубленные топором! Радость верной руки, понятливых пальцев, толстых пальцев, из которых выходит хрупкое создание искусства! Радость разума, который повелевает силами земли, который запечатлевает в дереве, в железе и в камне стройную прихоть своей благородной фантазии! Я чувствую себя монархом химерического царства. Мое поле отдает мне свою плоть, мой виноградник — свою кровь. Души растительных соков выращивают для моего искусства, растягивают, утолщают, округляют и лощат прекрасные тела деревьев, которые я буду ласкать. Мои руки — послушные работники, управляемые моим старшим помощником, моим старым мозгом, который, будучи сам мне подчинен, налаживает игру, удобную моим мечтам. Служили ли кому-нибудь лучше, чем мне? Ну, чем я не царек? Разве я не вправе выпить за мое здоровье? И не забудем также (я чужд неблагодарности) здоровья моих доблестных подданных. Благословен день, когда я явился на свет! Сколько на этой круглой шгтуке великолепных вещей, веселящих глаз, улаждающих вкус! Господи боже до чего жизнь хороша!

Как бы я ни объедался, я вечно голоден, меня мутит; я, должно быть, болен; у меня так и текут слюнки, чуть я увижу накрытый стол земли и солнца.

Но я расхвастался, господа: солнце скончалось; стоят холода. Этот жулик мороз забрался даже сюда. Перо спотыкается в моих окоченелых пальцах. Господи помилуй, в стакане у меня образовалась ледышка, и нос у меня побелел: ненавистный цвет, покойницкий! Не терплю ничего бледного. Ну-ка, встряхнемся! Колокола у святого Мартына звенят и заливаются. Сегодня сретенье... «Зима либо кончается, либо сил набирается...» Злодейка! Она сил набирается. Так поступим же, как она. Выйдем на улицу встретить ее лицом к лицу...

Славный мороз! Сотни иголок покалывают мне щеки. Ветер, выскакивая из-за угла, хватает меня за бороду. Я согрелся. Слава тебе, господа, румянец мой опять заиграл... Люблю слышать, как у меня под ногами звенит затверделая земля. Я чувствую себя совсем молодцом. Что это у всех такой унылый вид, неприветливый?..

— Ну-ка, веселей, веселей, соседка! Кто вас обидел? Озорной ветер, который задирает вам подол? Он прав, он молод; мне бы его молодость! Он знает, куда куснуть, плутяга, сластена, знает лакомые кусочки. Что делать, кумушка, всякий хочет жить... Да куда вы бежите так, словно вас черти подхлестывают? К обедне? Восхвалим господа! Он всегда одолеет лукавого. Кто плачет — посмеется, озябший — обожжется... А, вот вы и рассмеялись? Все в порядке... А я куда бегу? К обедне, как и вы. Но только не к церковной. К полевой обедне.

Сперва я захожу к дочери, забрать свою маленькую Глоти. Мы каждый день гуляем вместе. Это моя лучшая подруга, моя маленькая овечка, моя лягушечка-стрекотушечка. Ей уже шестой год — шустрее мышки, хитрее лисички. Чуть завидит меня, бежит навстречу. Она знает, что у меня всегда полный короб побасенок; она их любит не меньше моего. Я беру ее за руку.

— Идем, малышка, идем встречать жаворонка.

— Жаворонка?

— Нынче сретенье. Разве ты не знаешь, что сегодня он к нам возвращается с небес?

— А что он там делал?

— Добывал для нас огонь.

— Огонь?

— Тот самый, от которого светло, от которого кипит земная кастрюлька.

— Так огонь улетал?

— Ну да, на Всех святых. Каждый год, в ноябре, он улетает греть небесные звезды.

— Как же он возвращается?

— За ним отправляются три птички.

— Расскажи...

Она семенит по дороге. Тепло укутанная в белую шерстяную душегрейку, в голубом капоре, она похожа на синичку. Холод ей не страшен; но щечки у нее раскраснелись, как яблоки, а кочерыжка-носик течет в три ручья.

— Ну-ка, сморчок, сморкнись, сними со свечки! Или ты ее ради сретенья зажгла? В небе лампаду затеплили.

— Расскажи, дедушка, про трех птичек...

(Я люблю, чтобы меня просили.)

— Три птички собрались в путь-дорогу. Три отважных приятеля: Королек, Зарянка и Жаворонок-другок. Королек, вечно живой и подвижной, как мальчик-с-пальчик, и гордый, как Артабан, первый замечает в воздухе красивый огонь, который катится себе, как просяное зернышко. Он — на него, крича: «Я, я! Я поймал!» А остальные — вопить, орать: «Я! я! я!» Но уже Королек хапнул его на лету и — стрелой вниз... «Горю, горю! Горячо!» Словно горячую кашу, Королек перекатывает его у себя в клюве; не может больше, разинул рот, язык у него облупился; он огонек выплевывает, под крылышки засовывает. «Ай, ай, горю!» Крылышки пылают... (Замечала ты его подпалины и завившиеся перышки?) Зарянка тотчас же спешит ему на помощь. Она берет клювом огненное зерно и бережно прячет в свой теплый жилет. И вот ее красивый жилет начинает краснеть, краснеть, и кричит Зарянка: «Не могу больше, не могу! Я платьице прожгла!» Тут подлетает Жаворонок, храбрый дружок, хватает на лету огонь, который уже улепетывал на небеса, и быстро, ловко, метко, как стрела, падает на землю и зарывает клювом солнечное зерно в наши мерзлые борозды, которые так и млеют от удовольствия...

Сказка моя кончена. Теперь тараторит Глоди. При выходе из города я посадил ее себе на плечи, чтобы взобраться на холм. Небо пасмурно, снег под ногами хрустит. Кусты и чахлые деревца с худыми косточками набиты белым. Дым над хижинами подымается столбом, синий и неторопливый. Нигде ни звука, слышно только мою лягушечку. Мы достигаем вершины. У моих ног — мой город, который ленивая Ионна и бездельник Беврон окаймляют своими лентами. Даже весь заваленный снегом, весь застывший, иззябший и продрогший, он согревает мне душу всякий раз, как я его вижу.

Город красивых отсветов и плавных холмов... Вокруг тебя, переплетаясь, словно соломины гнезда, выются нежные линии возделанных склонов. Продолговатые волны лесистых гор мягко зыблются, в пять или шесть рядов; вдали они синие; можно подумать — море. Но это не та вероломная стихия, которая швыряла ифакийца Улисса и его суда. Ни бурь. Ни козней. Все спокойно. Лишь кое-где словно вздох вздымает грудь холма. С волны на волну уходят прямые дороги не спеша, оставляя за собой точно корабельный след. На гребне зыбей, вдалеке, возносятся мачты везлэйской Магдалины. А совсем поблизости, на выгибе излучистой Ионны, бас-свильские скалы высовывают из чащи свои кабаньи клыки. В ложбине, в кольце холмов, город, небрежный и нарядный, склоняет над водами свои сады, свои лачуги, свои лохмотья, свои драгоценности, грязь и гармонию своего простершегося тела, и свою голову, увенчанную кружевной башней...

Так я люблюсь раковиной, при которой я улитка. Колокола моей церкви звучат в долине; их чистый голос разливается, как хрустальный ток, в тонком морозном воздухе. И пока я расцветаю, впиваю их музыку, вдруг солнечная полоса рассекает серую оболочку, скрывавшую небо. И в этот самый миг моя Глоди хлопает в ладоши и кричит:

— Дедушка, я его слышу! Жаворонок, жаворонок!..

Тогда я, смеясь от счастья при ее звонком голосочке, целую ее и говорю:

— Слышу его и я. Птичка весенняя моя...



«Знаем ваших ягнят.
Пусти их втроем — волка съедят».



Середина февраля

ой погреб скоро будет пуст. Солдаты, которых господин де Невер, наш герцог, прислал для нашей защиты, как раз принялись за мой последний бочонок. Не будем терять времени, идем пить вместе с ними! Разоряться я согласен; но разоряться весело. Не первый раз! И если божественному

милосердию угодно, то и не последний...

Славный народ! Они огорчаются еще больше моего, когда я им сообщаю, что влага убывает. Некоторые мои соседи относятся к этому трагически. А я перестал, меня не удивишь: я достаточно бывал в театре на своем веку, я уже не отношусь серьезно к скоморохам. И посмотрелся же я этих харь, с тех пор как живу на свете, — швейцарцев, немцев, гасконцев, лотарингцев, боевой скотины, в сбруе и с оружием, саранчи, голодных псов, вечно готовых грызть человечину! Кто когда мог понять, за что они дерутся? Вчера — за короля, сегодня — за лигу. То это святоши, то это гугеноты. Все они хороши! Лучший из них и веревки не стоит, чтобы его вешать. Не все ли нам равно, один ли жулик или другой мошенничает при дворе? А что до их претензии вмешивать в свои дела господа бога... нет уж, милые мои голубчики, господа бога вы оставьте! Он человек пожилой. Если кожа у вас свербит, царапайтесь сами, бог без вас обойдется. Не безрукый, поди. Почешется, если ему охота...

Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака!.. Господи, я тебя чту и полагаю, при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день, если только не врет поговорка, добрая галльская поговорка: «Кто пьет много, видит бога». Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Ты уж мне разреши оставить тебя в покое; и единственное, о чем я тебя прошу, — это чтобы и ты поступил со мной

так же. Нам обоим хватит работы, каждому по своему хозяйству, тебе — в твоей вселенной и мне — в моем мирке. Господи, ты мне дал свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распорядился вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался, каким образом тебе угодно быть вкушаему, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим и моим!.. Моим? Дудки! У меня врагов нет. Все люди мне друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры... Да, кабы можно было! В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те и другие. Так ладно же, раз, посреди двух станом, я буду вечно бит, начнем бить и мы! Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока, дадим-ка лучше сами тумака.

Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти хари-стократы, эти политики, эти феодалы, нашей Франции объедалы, которые, воспевая ей хвалу, грабят ее на каждом углу и, покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро, покушаются на Германию, зарятся на Италию и в гинекей к Великому Турку нос суют, готовы поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют!.. Полно, мой друг, успокойся, раздражаться не стоит! Все хорошо и так, как оно есть... пока мы его не улучшим (а это мы сделаем при первой возможности). Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слышал я, что однажды господь бог (что это я, господи, только о тебе сегодня и говорю?), с Петром прогуливаясь вместе, увидел в Бейанском предместье¹ — сидит женщина сложа руки и умирает от скуки. И до того она скучала, что наш отец, пошарив в доброту сердечной, вытащил, говорят, из кармана сотню вшей, кинул их ей и сказал: «На тебе, дочь моя, позабавься!» И вот женщина, встрепенувшись, начала охотиться; и всякий раз, как ей удавалось подцепить зверюшку, она смеялась от удовольствия. Такая же милость, должно быть, и в том, что небо нас наградило, ради нашего развлечения, этими двуногими тварями, которые гложут нам шкуру. Так будем же веселы, ха-ха! Гниды, говорят, признак здоровья. (Гниды — это наши господа.) Возрадуемся, братья: ибо в таком случае нет никого здоровее нас... И потом, я вам скажу (на ушко): «Терпение! Наша вывезет. Холода, морозы, сволочь лагерная и придворная побудут и пройдут. Добрая земля останется и мы, чтобы она рожала. Она за один помет с лихвой свое вернет... А пока прикончим мой бочонок! Надо очистить место для будущего урожая».

¹ Бейан, или Вифлеем — предместье Кламси.— Р. Р.

Моя дочь Мартина мне говорит:

— Ты бахвал. Тебя послушать, так можно подумать, что ты только глоткой и умеешь действовать: ротозейничать, трезвонить языком, зевать от жажды да на ворон; что ты спишь и видишь, как бы кутнуть, что ты готов пить, как губка; а ты и дня не проживешь без работы. Тебе хотелось бы, чтобы тебя считали вертопрахом, сорвиголовой, мотом, гулякой, который не знает, что у него в кошельке, туго он набит или налегке; а сам бы заболел, если бы у тебя на дно всякое дело не отзванивало свой час, как на курантах; ты знаешь до последней копейки все, что издержал с прошлой пасхи, и еще не родился тот человек, который бы тебя надул... Простачок, буйная головушка! Полюбуйтесь на этого ягненка! Знаем ваших ягнят: пусти их втроем — волка съедят...

Я смеюсь, я не возражаю госпоже зубастой. Она права!.. Напрасно она все это говорит. Но женщина молчит только о том, чего не знает. А меня она знает, ведь я же ее сработал... Чего уж, Кола Брюньон, сознайся, старый ветрогон: как ты там ни блажи, никогда тебе не быть совсем блажным. Само собой, и у тебя, как у всякого, есть блажь за пазухой, и ты ее при случае показываешь; но ты ее суешь обратно, когда тебе нужны свободные руки и ясная голова для работы. Как у любого француза, у тебя так прочно сидят в башке чувство порядка и рассудок, что ты, забавы ради, можешь и покуролесить: опасно это только простофилям, которые смотрят на тебя, разинув рты, и вздумали бы тебе подражать. Пышные речи, звучные стихи, головокружительные затеи — все это весьма приятно: воодушевляешься, загораешься. Но при этом мы палим только хворост; а самых дров, в сарае сложенных, не трогаем. Фантазия моя оживляется и задает спектакль моему разуму, который ее созерцает, удобно усевшись. Все мне занято. Театром мне служит вселенная, и я, не вставая с кресла, смотрю комедию: рукоплещу Матамору или Франкатрише, наслаждаюсь турнирами и царственными празднествами, кричу «бис!» всем этим людям, которые ломают себе шею. Это они, чтобы доставить нам удовольствие! Дабы его усугубить, я делаю вид, будто и сам участвую в потехе и верю ей. Какое там! Я верю всему этому ровно настолько, чтобы мне было занято. Так же вот, как я слушаю сказки про фей. И есть не только феи... Есть важный господин, живущий в Эмпирее... Мы его чтим весьма; когда он проходит по нашим улицам, предшествуемый крестом и хоругвью, с песнопениями, мы облакаем в белые простыни стены наших домов. Но между нами... Болтун, прикуси язык! Тут пахнет костром... Господи, я ничего не сказал! Я снимаю перед тобой шляпу...

Осел, обципав луг, сказал, что стеречь его больше не требуется, и отправился объедать (стеречь, хотел я сказать) другой, по соседству. Гарнизон господина де Невера сегодня утром отбыл. Любо было смотреть на них, жирных, как окорока. Я был горд нашей кухней. Мы расстались с сердцем на устах, уста сердечком. Они высказывали всяческие любезные и учтивые пожелания, чтобы наши хлеба хорошо уродились, чтобы наш виноград не померз.

— Работай, дядя,— сказал мне Фиакр Болакр, мой постоялец-сержант. (Так он меня зовет, и по заслугам: «Тот настоящий дядя, кто потчует, в рот не глядя».)— Не жалея трудов и воздělывай свой виноградник. На святого Мартина мы к тебе вернемся пить...

Славный народ, всегда готовый прийти на помощь честному человеку, который за столом борется со своим жбаном!

Все чувствуют себя как-то легче после их ухода. Соседи осторожно раскупоривают свои тайнички. Те, что еще недавно ходили с постными лицами и стонали от голода, словно в животе у них сидел волк, теперь из-под соломы сеновальной, из-под земли подвальной откапывают, чем накормить этого зверя. Нет нищего, который бы не сумел весьма умно, охая со всеми заодно, что ничего-то у него нет давно, припрятать лучшее свое вино. Я сам (уж и не знаю, как это так вышло), чуть только отбыл мой гость Фиакр Болакр (я проводил его до конца Иудейского предместья), вдруг вспомнил, хлопнув себя по лбу, про некую бочечку шабли, случайно забытую под конским навозом, куда она была положена для тепла. Я был этим весьма опечален, как это поймет всякий; но когда зло содеяно, то оно содеяно, и с ним приходится мириться. Я и мирюсь. Болакр, мой племянник, ах, чего вы лишились! Какой нектар, какой букет!.. Но вы не горюйте, мой друг, мой друг, но вы не горюйте: его выпьют за ваше здоровье!

Люди ходят по соседям, из дома в дом. Показывают друг другу находки, обнаруженные в погребах; и перемигиваются, как, авгуры, со взаимными поздравлениями. Толкуют про убытки и напасти (по женской части). Соседская беда веселит, и забываешь свою собственную. Справляются о здоровье супруги Венсана Плювьо. После каждого войскового посто́я в городе, по странной случайности, эта доблестная дочь Галлии распускает пояс. Отца поздравляют, восхищаются мощью его плодоносных чресел в час общественного испытания; и подружески, смеха ради, без всякого злого умысла, я похлопы-

ваю по пузу этого счастливи́чика, у которого, говорю я, дом ходит с полным животом, когда все прочие при пустом. Все посмеиваются, как и следует, но вежливенько, по-простецки, во весь рот. Однако Пловью наши поздравления приходится не по вкусу, и он говорит, что лучше бы я смотрел за собственной женой. На что я ответил, что уж ее-то счастливи́гий обладатель может спать крепко, не опасаясь за свой клад. Что подтвердил и стар и млад.

Но вот и масленица. Как ни плохо мы оснащены, ее надо ознаменовать. Это дело чести и для города, и для каждого из нас. Что сказали бы про Кламси, родину сосисок, если бы к мясоеду у нас не оказалось горчицы? Сквороды шипят; уличный воздух напоен сладким запахом жира... Прыгай, блин! Выше! Прыгай, для моей Глоди!..

Гром барабанов, переливы флейт. Смех и крики... Это господа из Иудеи¹ являются на своей колеснице с визитом в Рим.

Во главе идут музыка и алебардчики, рассекающие толпу носами. Носы хоботом, носы копьем, носы охотничьим рогом, носы дулом, носы в колючках, словно каштаны, или с птицей на конце. Они расталкивают зевак, шарят в юбках у девиц, а те визжат. Но все шарахается и бежит перед королем носов, который прет, как таран, и, словно бомбарду, катит свой нос на лафете.

Следует колесница Поста, императора рыбоедов. Бледны, зелены, хмуры — тощие, дрожащие фигуры, в рясах и скуфьях или о рыбьих головах. Сколько рыб! У одного в каждой руке по карпу или по треске; у другого на вилке, вот, смотри, насажены пескари; у третьего на плечах щучья голова, изо рта у нее торчит плотва, и он разрешается от бремени, пилюй вспарывая себе брюхо, полное рыб. У меня, глядя на них, резь в животе начинается... Другие, разинув пасть и запустив туда пальцы, чтобы ее распялить, давят, запихивая себе в горло (Пить! Пить! Пить!) яйца, которые не пролезают. Справа и слева, с высоты колесницы — хари совиные, рясы длинные — удильщики тянут на лесках поварят, которые скачут, наподобие козлят, и хапают на лету, кому что попадет, — обсахаренный орешек или птичий помет. А сзади пляшет дьявол,

¹ «Иудеи» прозвано Вифлеемское предместье, населенное кламсийскими сплавщиками. «Рим» — верхний город; это имя он получил от так называемой «Староримской» лестницы, ведущей от площади св. Мартина к Бевернскому предместью. — P.P.

одетый поваром; он мешает в кастрюле большой ложкой; гнусным варевом пичкает он шестерых босоногих грешников, которые идут гуськом, просунув между перекладин лестницы свои перекошенные физиономии в вязаных колпаках.

Но вот и триумфаторы, герои дня! На троне из окороков, под балдахином из копченых языков, появляется Колбасная королева, увенчанная cervелатами, в ожерелье из сосисок, которые она кокетливо перебирает своими мясистыми пальцами, окруженная гайдуками, белыми и черными колбасами, кламсиейскими сосисками, которых Жирколбас, полковник, ведет к победе. Вооруженные вертелами и шпиговальными иглами, они весьма внушительны, тучные и лоснящиеся. Люблю я также этих сановников, у которых вместо живота — котел или вместо туловища — запеченный паштет и которые несут, словно цари-волхвы, кто свиную голову, кто бутылку сладкого вина, кто дижонскую горчицу. При звуках меди и кимвалов, шумовок и противней выезжает, под общий хохот, верхом на осле, король ргачей, друг Плювье. Венсан, это он, он избран! Сидя задом наперед, в высоком тюрбане, со стаканом в руке, он внимает своей гвардии, на вербованной из сплавщиков, рогатым чертям, которые, с баграми и шестами на плечах, возвещают зычным голосом, на честном и откровенном французском языке, без всяких покровов, его славное житье и знаменитое бытье. Он, как мудрец, не выказывает при этом суетной гордости; равнодушный, он пьет, промачивает горло; но, поровнявшись с чьим-либо домом, прославленным той же участью, он восклицает, поднимая стакан: «Эй, собрат, за твоё здорovie!»

Наконец, замыкая шествие, выступает красавица-весна. Юная девица, розовая и радостная, с ясным челом, с волосами золотыми, мелким хмелем завитыми, в венке из скороспелок, цветочек желт и мелок, и перевязь у ней, вокруг маленьких грудей, из сережек зелененьких с орешников тоненьких. Со звонким кошельком у пояса и с корзинкой в руках она поет, подняв светлые брови, широко раскрыв глаза, голубые, как бирюза, распяливая губки, показывая острые зубки, она поет ломким голоском, что скоро ласточка вернется в свой дом. Рядом с ней на повозке, запряженной четверкой больших белых волов, дородные красотики в самой поре, славные молодухи, стройные и упругие телом, и подростки в невыгодном возрасте, которые, подобно молодым деревцам, вытянулись как попало. У каждой чего-нибудь недостает; но тем, что имеется, волк закусил бы недурно... Милые дурнушки! У одних клетки в руках, полные перелетных птах, другие,

черпая из корзины у королевы-весны, кидают ротозеям сласти, сюрпризы, бумажные тюки, в которых юбки и колпаки, предсказанный рок, любовный стишок, кусок пирога, а то и рога.

Доехав до рынка, возле башни, девицы соскакивают с колесницы и пляшут на площади с писцами и приказчиками, в то время как Масленица, Пост и король рогачей продолжают свое торжественное шествие, останавливаясь каждые двадцать шагов, чтобы поведать добрым людям истину или узреть ее на дне стакана...

Пить! Пить! Пить!

Не так же друзей отпустить!

Нет!

Среди бургундцев нет такого дурака,

Чтоб друга отпустил, не выпив с ним глотка.

Но от чрезмерной поливки язык тяжелеет и настроение подмокает. Моего приятеля Венсана с его свитой я покидаю у новой остановки, под сенью кабачка. День слишком хорош, чтобы сидеть в клетке. Надо подышать свежим воздухом!

Мой старый приятель, кюре Шамай, приехавший из своей деревни, в тележке с осликом, попировать у господина настоятеля церкви святого Мартына, приглашает меня прокатиться часть пути. Я беру с собой мою Глоди. Мы садимся в его трясушку. Пошел, длинноухий!.. Он такой маленький, что я предлагаю посадить его в тележку, между Глоди и мной... Тянется белая дорога. Дряхлое солнце дремлет; оно не столько греет нас, сколько само греется у камелька. Ослик засыпает тоже и останавливается, погруженный в думы. Кюре возмущенно окликает его своим колокольным голосом:

— Магдалинка!

Ослик вздрагивает, перебирает ножками, виляет между колеями и снова останавливается в раздумье, не внемля никаким разносам.

— Ах, проклятый! Кабы не крест у тебя на спине,— ворчит Шамай, шпигуя ему палкой бедра,— изломал бы я дубинку о твой хребет!

Чтобы отдохнуть, мы делаем остановку у первой же харчевни, на повороте дороги, спускающейся отсюда к белому селению Арм, которое в зеркале вод острой мордочкой пьет. На соседнем лугу, вокруг высокого, раскидистого орешника, поднимающего к лучистому небу свои черные руки и свой мощный оголенный остов, девушки ведут хоровод. Идем плясать!.. Это они принесли масленичный блин кумушке-сороке.

— Видишь, Глоди, видишь Марго-сороку, как она уселась в белом жилете, на краю гнезда, вон там, высоко-высоко, и смотрит вниз! Ишь, любопытная! Чтобы все подцепить своим круглым глазком и болтливый язычком, она построила себе дом без окон и дверей, на самой высокой из ветвей, открытый на все стороны. Она и зябнет, она и мокнет, ну так что? Зато ей все видно. Она не в духе, у нее такой вид, словно она говорит: «На что мне ваши подарки? Дурачье, уберите их вон! Или вы думаете, что если бы мне захотелось вашего блина, то я бы не сумела слетать за ним сама? Дареное есть невкусно. Я люблю только краденое».

— Тогда почему же, дедушка, дарят ей блин с этими красивыми лентами? Почему поздравляют с праздником эту воровку?

— Потому что в жизни, видишь ли, со злыми лучше жить в ладу, чем с ними заводить вражду...

— Однако, Кола Брюньон, хорошему ты ее учишь! — ворчит кюре Шамай.

— Я ей не говорю, чтобы это было похвально, я только говорю, что так поступают все, и ты, кюре, первый. Выкатывай глаза! Когда тебе приходится иметь дело с какой-нибудь богомолкой, которая все видит, все знает, всюду сует нос, у которой рот набит злословьем, как мешок, да неужели же ты, чтобы ее унять, не заткнул бы ей клюв блинами?

— О господи, если бы это могло помочь! — восклицает кюре.

— Я Марго оклеветал, она лучше всякой женщины. Ее язык хоть иногда на что-нибудь полезен.

— А на что, дедушка?

— Когда подходит волк, она кричит...

И вдруг при этих словах сорока подымает крик. Она злится, она бранится, бьет крыльями, кружит в воздухе, осыпает поношениями кого-то или что-то, там, в Армской долине. На лесной опушке ее пернатые кумовья, кукша Шарло и ворон Кола, отвечают ей таким же резким и раздраженным голосом. Люди смеются, люди кричат: «Волк! Волк!» Никто этому не верит. Все-таки идут взглянуть (верить — хорошо, видеть — лучше)... И что же видят?.. Батюшки мои! Отряд вооруженных людей, которые рысью поднимаются в гору. Мы их узнаем. Это эти разбойники, везлэйские войска, которые, зная, что наш город никем не охраняется, решили застигнуть сороку (только не эту) в гнезде!..

Вы понимаете сами, что мы не теряем времени на их созерцание! Все кричат: «Спасайся, кто может!» Толкотня,

давка. Улепетывают со всех ног, по дороге, через поля, кто стремглав, кто на обратной стороне собственной особы. Мы трое вскакиваем в тележку с осликом. Словно понимая, в чем дело, Магдалинка летит стрелой, подхлестываемая что есть мочи кюре Шамайем, который от волнения чувств начисто забыл про уважение, подобающее ослиной спине, отмеченной знаменем креста. Мы катим в потоке людей, которые орут, как зарезанные, и, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Кламси, опережая остальных беглецов. Мы мчимся вскачь, тележка громыкает, Магдалинка летит, кюре подгоняет, мы проносимся через Бейанское предместье, крича:

— Враг идет!

Поначалу люди смеялись, глядя на нас. Но скоро они поняли. И тотчас же все превратилось словно в муравейник, куда воткнули палку. Всякий метался, выбегал, возвращался, опять выбегал. Мужчины вооружались, женщины укладывали пожитки, вещи громоздились на тачки, в корзины, все население предместья, покинув своих пенатов, хлынуло в город, под защиту стен; сплавщики, как были, в нарядах и личинах, рогатые, когтистые, пузатые, кто в виде Гаргантюа, кто в виде Вельзевула, бросились к бастионам, вооруженные баграми и острогами. Так что, когда авангард господ везлэйцев подошел к стенам, мосты были подняты, и по ту сторону ровов никого не оставалось, кроме нескольких горемык, которым терять было нечего, а потому нечего и спасать, да короля рогачей, нашего друга Плювьо, забытого своей свитой, который, накачавшись до горлышка и пьяный, как Ной, сопел на своем осле, держа его за хвост.

И вот тут-то и познается вся выгодность иметь своими врагами французов. Другие остолопы, немцы, швейцарцы или англичане, которые думают животом и соображают к троице то, что им скажешь постом, решили бы, что над ними глумятся; и я бы полушки не дал за шкуру бедного Плювьо. А у нас понимают друг друга с полуслова: откуда люди ни явятся, из Иль-де-Франса или из Прованса, из Шампани или из Бретани, будь это гуси из Боса, ослы из Бона или зайцы из Везлэ, сколько бы они ни дрались, как бы ни старались, в хорошей шутке наш брат француз всегда находит вкус... При виде нашего Силена весь неприятельский лагерь заржал, носом и ртом, глоткой и нутром, сердцем и животом. И, клянусь святым Геласием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью,

наподобие Аякса и Гектора троянского. Но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать, да некогда; и все-таки я их запишу (подождем!) в некий сборничек, куда я заносу вот уже двенадцать лет лучшие шутки, шалости и вольности, мною слышанные, сказанные или читанные (право, было бы жаль, если бы они пропали) за долгое мое скитание по этой юдоли слез. При одной мысли о них у меня трясется живот, и я посадил кляксу, вот эту вот.

Накричавшись вдоволь, надо было переходить к действиям (всякое действие после долгих речей отдохновительно). Ни у них, ни у нас особой к тому охоты не было. Их попытка не удалась: мы были за прикрытием; лезть на стены им не хотелось ни капельки: долго ли поломать себе кости? Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять, все равно что. Попалили порох, пощелкали: угодно — на, получай! Никто от этого не пострадал, кроме воробьев. Сидя, прислонясь к стене, в мирной тишине, мы ждали, чтобы пули угомонились, дабы пострелять и самим, хоть и не целясь (не следует слишком высовываться). Выглянуть решались, только когда слышно было, как вопят их пленники; там было с добрую дюжину бейанских мужчин и женщин, выстроенных в ряд, к городской стене не лицом, а тылом, и их пороли. Они орали благим матом, хотя беда была не так уж велика. Мы, чтобы отомстить, надежно укрытые, прошествовали вдоль наших куртин, потрясая над стеной пиками с насаженными на них окороками, цервелатами и колбасами. Нам слышно было, как осаждающие рычат от ярости и вожделения. Мы пришли в отличное расположение духа; и, чтобы использовать его вполне (когда затеял шутку, обглодай ее до косточек!), с наступлением вечера мы расставили под ясным небом на откосах, пользуясь стенами как ширмой, столы, нагруженные снедью и бутылками; мы сели пировать, с великим шумом, распевая и чокаясь за здоровье широкой масленицы. Те чуть не полопались от бешенства. Так этот день прошел по-хорошему, без особого вреда, если не считать того, что один из наших, толстый Гено из Пуссо, пожелал, подвыпив, пройти по стене со стаканом в руке, чтобы их подразнить, и ему из мушкета враги искрошили и стакан и мозги. И мы, с нашей стороны, покалечили одного или двоих, в ответ. Но нашего настроения это не омрачило. Известно, на всякой пирушке бывают разбитые кружки.

Шамай поджидал ночи, чтобы выбраться из города и вернуться к себе. Как мы его ни уговаривали:

— Друг, это дело опасное. Лучше пережди. Бог позаботится о твоих прихожанах,— он отвечал:

— Мое место посреди моей паствы. Я господня рука; без меня бог будет однорук. А со мной он им не будет, я ручаюсь.

— Верю, верю,— сказал я,— ты это доказал, когда гугеноты осаждали твою колокольню и ты тяжелой булыгой уколошил их капитана Папифага.

— Нехристь был очень удивлен,— сказал Шамай.— И я не меньше. Я человек добрый и не люблю вида крови. Это отвратительно. Но черт его знает, что человека разбирает, когда все кругом теряют толк! Становишься сам как волк.

Я сказал:

— Это правда, стоит очутиться в толпе, как сразу лишаешься разума. Сто мудрецов родят дурака, а сто баранов — бирюка... Скажи-ка мне, кстати, кюре, каким образом примиряешь ты эти две морали — мораль отдельного человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает мира себе и другим, и мораль человеческих стад, государств, которые из войны и преступления делают доблесть? Которая из них от бога?

— Что за вопрос!.. Да обе. Всё от бога.

— Тогда он сам не знает, чего хочет. Или скорее знать-то знает, да не может. Если ему приходится иметь дело с людьми в одиночку, то это просто; ему ничего не стоит заставить их слушаться. Но когда люди соберутся толпой, тогда богу не по себе. Что может один против всех? Тут человек предоставлен земле, матери своей, которая вселяет в него свой кровожадный дух... Помнишь сказку, где люди, по известным дням, становятся волками, а потом возвращаются в свою шкуру? Наши старые сказки знают побольше, чем твой молитвенник, друг кюре. В государстве всякий человек выступает в своей волчьей шкуре. И сколько бы государства, и короли, и их министры ни рядились пастухами и ни выдавали себя, жулики, за родичей великого пастуха, твоего доброго пастыря, все они рыси, быки, пасти и животы, которые ничем не набьешь. А для чего? Для того, чтобы утолить безмерный голод земли.

— Ты заврался, язычник,— сказал Шамай.— Волки от бога, как и все остальное. Он все устроил для нашего блага. Или тебе неизвестно, что сам Иисус, говорят, сотворил волка, чтобы охранять капусту, которая росла в садике у пресвятой богородицы, от коз и козлят? Он был прав. Преклонимся. Мы вечно жалуемся на сильных. Но, друг мой, если бы слабые стали королями, было бы еще гораздо хуже. Вывод: все

благо — и волки и овцы; овцам нужны волки, чтобы их стеречь; а волкам — овцы, потому что надо же есть... А засим, мой Кола, я отправляюсь стеречь свою капусту.

Сутану подобрав, дубинку в руку взяв, он ушел в безлунную ночь, растроганно препоручив мне Магдалинку.

В следующие затем дни было не так весело. В первый вечер мы нажрались, как дураки, без счета, из чревоугодия, ради похвальбы и по глупости. И наши запасы более чем порастряслись. Пришлось стягивать животы; их и стянули. Но ломались по-прежнему. Когда приели все колбасы, изготовили другие — кишки, начиненные отрубями, канаты, вымоченные в дегте, — и размахивали ими на гарпунах перед носом у неприятеля. Но мошенник открыл обман. Пуля однажды вспорола такую колбасу по самой середке. И кто тут посмеялся? Не мы. Чтобы нас доконать, эти разбойники, видя, что мы с наших стен удим рыбу в реке, взяли да и поставили у шлюзов, выше и ниже по течению, большие сети, чтобы перехватывать улов. Тщетно наш настоятель увещевал этих нечестивцев не мешать нам говеть. За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.

Разумеется, мы могли бы воззвать о помощи к господину де Неверу. Но, говоря откровенно, мы не очень-то жаждали снова брать на постой его воинство. Выгоднее было иметь врагов снаружи, чем друзей внутри. И поэтому, пока можно было без них обойтись, мы помалкивали; так лучше было. Неприятель же был настолько скромен, что тоже их не вызывал. Предпочитали уладить дело сами, без посторонних. И вот, не торопясь, вступили в переговоры. А тем временем в обоих станах жизнь вели весьма благоразумную, ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары и в пробку, зевали, не столько от голоду, сколько от скуки, и спали так основательно, что мы, и постясь, жирели.

Двигаться старались как можно меньше. Но трудно было удержать ребят. Эти сорванцы, с их вечной беготней, визгом и смехом, всегда в движении, то и дело торчали на стенах, показывали осаждающим язык, обстреливали их камнями: у них была целая артиллерия из бузинных трубок, из пращей с веревочкой, из расщепленных палочек... хлоп, щелк, в самую гущу! И наши мартышки рычаг от смеха, а избиваемые, вне себя, кланутся их изничтожить. Нам крикнули, что если еще хоть один шалун на стене высунет нос, в него пальнут из аркебузы. Мы обещали за ними смотреть; но как мальчишек ни жури и как им уши ни дери, они ускользают, как угри. А хуже всего, я вам скажу (я и до сих пор еще дрожу), это то, что в один прекрасный вечер я вдруг слышу крик: оказывается, Глоди (вот и поди!), эта тихоня, святая картин-

ка,— ах, скотинка, золото мое! — с откоса прыгнула в ров... Господи, я ее высечь был готов! В один миг я был на стене. И все мы свесились в вышине... Неприятель был бы в выигрыше, если бы избрал нас мишенью; но и он, как и мы, смотрел в ров на мою крошечку, которая (слава тебе, мать божия!) скатилась мягко, как кошечка, и, ничуть не испугавшись, сидя на цветущей траве, подымала голову к головам, которые свешивались по сторонам, и, улыбаясь им в ответ, рвала букет. Все улыбались ей тоже. Монсеньер де Раньи, неприятельский комендант, велел, чтобы никто не обижал девчурку, и даже бросил ей, милый человек, свою бомбоньерку.

Но пока все были заняты Глоди, Мартина (с женщинами вечные истории), чтобы спасти свою овечку, бросилась тоже вниз по откосу, бегом, скользком, кувырком, с юбкой, задранной до шеи, являя врагам свои эмпиреи, восток и запад, все зараз, всю твердь небесную напоказ и в сиянии лучей, светило ночей. Ее успех был бесподобен. Но она не смутилась, забрала свою Глоди, расцеловала и отшлепала.

Воодушевленный ее прелестями, не слушаясь своего капитана, здоровенный солдат спрыгнул в ров и бросился к ней бегом. Она остановилась. Мы со стены кинули ей помело. Она его взяла и смело на врага пошла, и— раз! раз! вот как у нас! — повеса струхнул и— бей! валяй! — улепетнул,— гремите, трубы и барабаны! Триумфаторшу подцепили, вместе с ребенком, при смехе звонком; и, гордый, как павлин, я тянул веревку, которая подымала мою плутовку, ослепившую вражеские очи звездой полуночи.

Еще неделя ушла на разговоры. (Для беседы всякий повод хорош.) Ложный слух о приближении господина де Невера нас, наконец, привел к согласию; и мир в конечном счете обошелся дешево: мы обещали везлэйцам десятину с будущего сбора винограда. Хорошо обещать то, чего нет, что еще будет... Быть может, его и не будет; во всяком случае, немало воды под мостом протечет, и немало вина— в наш живот.

Таким образом, обе стороны были очень довольны друг другом, а собой и еще того более. Но не успели мы обсохнуть после ливня, как попали под новый дождь. В самую ночь после заключения мира в небесах явилось знамение. В десять часов оно показалось из-за Самбера, где оно таилось, и, скользя по звездному лугу, протянулось, как змей, к Сен-Пьер-дю-Мону. Вид оно имело меча, и острие у него было, как факел, с дымными языками. А рукоять держала рука, пальцы у которой оканчивались вопиющими головами. На безымянном персте была женщина с развевающимися волосами. И ширина меча была: у рукояти— пядень; у острия— семь-восемь линий; посредине— два дюйма и три линии,

ровно. И цвет его был кровавый, багровый, припухлый, словно рана на теле. Все мы задрали к небу головы, разинув рты; слышался стук зубовой. И оба стана гадали, которому из них грозит вещий знак. И мы были твердо уверены, что тому. Но у всех мороз по коже подирал. Кроме меня. Мне не было страшно. Надо сказать, что я ничего не видал, я лег в постель в девять часов. Но лег, повинувшись календарю, ибо это было число, указанное для приема лекарства; а где бы я ни был, раз календарь велит, я подчиняюсь беспрекословно, ибо это небесная заповедь. Но так как мне всё рассказали, то это все равно, как если бы я видел сам. Я и записал.

Когда мир был подписан, недруги и друзья сели вместе пировать. И так как подоспело преполовление поста, то разговелись вовсю. Из окрестных деревень к нам прибыли изобильно, чтобы отпраздновать наше освобождение, и снедь и едоки. Это был знатный день. Стол был накрыт во всю длину стен. Поданы были три вепренка, зажаренные целиком, начиненные пряным крошечком из кабаньих потрохов и чалпурьей печенки; душистые окорока, копченые в очаге на можжевельных ветках; заячьи и свиные паштеты, приправленные чесноком и лавровым листом; требуха и сосиски; щуки и улитки; рубцы, черное рагу, такое, что от одного запаха щекотало в мозгу; и телячьи головы, таявшие на языке; и неопалимые купины проперченных раков, обжигавшие вам глотку; а к ним, чтобы ее умягчить, салаты с немецким луком и уксусом, и добрые вина — шапот, мандр, вофийту; а на десерт — белая простокваша, прохладная, упругая, расплывавшаяся во рту; и сухари, которые вам высасывали полный стакан, разом, как губка.

Никто не встал из-за стола, пока не съели все дотла. Благословен господь, сподобивший нас в столь тесное пространство, в мешок нашего живота, погружать бутылки и блюда! Особенно хорошо было единоборство между иноком Куцоухом от святого Мартына Везлэйского, который сопровождал везлэйцев (этим великим наблюдателем, который, говорят, первый установил, что, не задрав хвоста, осел не может раскрыть уста), и нашим, не ослом, а отцом Геннекеном, утверждавшим, что он, должно быть, был некогда карпом или щукой, до того ему ненавистна вода, которой он, вероятно, слишком много выпил в предшествующей жизни. Словом, когда мы встали из-за стола, везлэйцы и кламсийцы, мы уважали друг друга много больше, чем за супом: человек познается за едой. Кто любит хорошее, того и я люблю: он добрый бургундец.

Наконец, чтобы окончательно нас сдружить, как раз когда мы переваривали обед, явились подкрепления, высланные господином де Невером для нашей защиты. Нам стало очень весело; и оба наши стана весьма учтиво попросили их вернуться вспять. Они не посмели упорствовать и ушли пристыженные, как собаки, которых овцы послали пастись. И мы говорили, обнимаясь:

— И дураки же мы были, что дрались ради наших охранителей! Если бы у нас не было врагов, они бы их выдумали, ей-ей, чтобы нас защищать! Покорнейше благодарим! Спаси нас, боже, от наших спасителей! Мы и сами себя спасем. Бедные овечки! Если бы нам беречься только волка, наша участь была бы не так плоха. Но кто нас уберезет от пастуха?





Первого апреля

ак только дороги очистились от этих непрошенных гостей, я решил сходить, не откладывая, проведать моего Шамая в его деревне. Не то чтобы я очень за него беспокоился. Этот молодец за себя постоять умеет! Но как-никак на душе спокойнее, когда увидишь воочию далекого друга... И по-

том необходимо было размять ноги.

Вот я и собрался, никому ничего не говоря, и шел себе, посвистывая, берегом реки, вьющейся вдоль лесистых холмов. На свежие листочки падали кружочки благословенного дождичка, весенних слез, который то перестанет, то опять забарабанит. Влюбленная белка мяукала в ветвях. Гуси тараторили на лугах. Дрозды заливались вовсю, а синичка-невеличка разговаривала: «ти-ти-тю».

Дорогой я решил остановиться, чтобы прихватить с собой в Дорнеси другого моего приятеля, нотариуса, мэтра Пайара: подобно Грациям, мы бываем в полном составе только втроем. Я его застал в конторе заносящим в книги погоду сего дня, сны, ему приснившиеся, и взгляды свои на политику. Рядом с ним лежала раскрытой, возле «De Legibus»¹, книга «Пророчеств господина Нострадамуса». Когда всю жизнь сидишь взаперти, дух старается отыгаться и принимается странствовать по равнинам мечтаний и в дебрях воспоминаний; и хоть движет не он земную машину, он читает в грядущем ее судьбину. Все, говорят, предначертано; я этому верю, но сознаюсь, что умею вычитывать в «Центуриях» будущее только тогда, когда оно уже исполнилось.

При виде меня милейший Пайар просиял; и весь дом сверху донизу огласился нашим смехом. Мне всякий раз радуется очи этот человек, пузатенький, с рябым лицом, толстощекий, красноносый, с морщинками вокруг живых и хитрых глаз, с видом хмурым, вечно брюзжащий на погоду, на людскую породу, но в сущности великий весельчак и зубоскал и еще больший затейник, чем я сам. Для него

¹ «О законах» (лат.).

истинное удовольствие отпустить вам, со строгим видом, чудовищную загогулину. И любо на него смотреть, когда он величественно восседает за столом с бутылкой, призывая Кома и Мома и затягивая песенку. Радуюсь мне, он держал меня за руку своими толстыми и неуклюжими руками, но шустрými, как и он сам, дьявольски ловко умеющими управляться со всякого рода инструментами, пилить, тесать, переплетать, столярничать. Он все в доме смастерил сам; и все это некрасиво, но все — его работа; и, красиво или нет, это его портрет.

Чтобы не утратить привычки, он пожаловался на то, на се; а я из противоречия похвалил и се и то. Он — доктор Всехул, а я — Всехвал; таковы наши роли. Он поворчал на своих клиентов; и, конечно, нельзя не признать, что они не очень-то прилежно ему платят: ибо некоторым из этих долгов уже по тридцать пять лет; а он, хоть и заинтересован в этом, не торопится их взыскивать. Иные если и расплачиваются, то случайно, когда вздумается, натурой: корзина яиц, пара цыплят. Таков уж обычай; и сочли бы оскорблением, если бы он стал вдруг требовать деньги. Он ворчит, но не спорит; и мне кажется, что на их месте он поступал бы совершенно так же.

К счастью для него, жить ему есть на что. Состояньице кругленькое, несущее яйца. Потребностей мало. Старый холостяк; за юбками не гоняется; а что до удовольствий стола, то Природа у нас об этом позаботилась, — у нас в полях накрытый стол. Наши виноградники, наши крольчатники, наши плодовые сады, наши рыбные садки — кладовая обильная. Больше всего он тратит на книги, которые если и показывает, то издали (не любит ими ссужать, скотина), да на свою страсть — смотреть на луну (проказник!) в этакую трубу, как их с недавних пор привозят из Голландии. У себя на чердаке, на крыше, посреди труб, он соорудил шатучую площадку, откуда важно созерцает круговращение тверди; он старается вычитать в ней, без особого толка, азбуку наших судеб. Впрочем, сам он этому не верит, но ему нравится верить. И в этом я его понимаю: приятно смотреть из окна, как проходят звезды над головой, словно барышни по мостовой; им приписываешь истории, романы, интриги; и правда это или неправда, а занятнее всякой книги.

Мы долго спорили о чуде, о кроваво-пламенном мече, который в прошлую среду ночью явился людям воочию. И каждый из нас толковал знамение на свой лад; разумеется, каждый настаивал с пеной у рта, что на его стороне правота. Но в конце концов обнаружилось с обеих сторон, что ничего не видели ни я, ни он. Ибо как раз в этот вечер мой астролог за своим инструментом вздремнул часок. Когда видишь,

что не ты один в дураках, примиряешься со своей участью. Мы примирились с ней весело.

И мы двинулись в путь, твердо решив скрыть этот случай от нашего кюре. Мы шли полями, рассматривая молодые побеги, розовые веточки кустов, птиц, вивших себе гнезда, и ястреба над равниной, кружившего в небе колесом. Мы вспоминали, смеясь, какую славную шутку мы как-то сыграли с Шамайем. Несколько месяцев кряду мы с Пайаром из кожи лезли вон, обучая дрозда в клетке гугенотскому песнопению. Затем пустили его в сад к господину кюре. Пообжившись там, он сделался наставником прочих дроздов в деревне. И Шамай, которому их хорал не давал покою, когда он читал свой молитвенник, крестился, чурался, думал, что дьявол к нему в сад забрался, заклинал его и, в ярости своей, притаясь за ставнем, подстреливал нечистого. Впрочем, он не так уж от этого страдал. Потому что, убив дьявола, он его съедал.

Беседуя, мы, наконец, пришли.

Брэв, казалось, спал. Дома вдоль улицы зевали, разинув двери, под солнышком пригожим в глаза проходим. Единственным человеческим лицом был над канавой зад мальчишки, который прохлаждался, спустив штанишки. Но по мере того как мы с Пайаром, взявшись под руку и разговаривая, подходили все ближе к середине местечка, шагая по дороге, усеянной соломою и коровьим пометом, до нас все громче доносилось словно гудение рассерженных пчел. И когда мы вышли на церковную площадь, она оказалась запруженной людьми, которые размахивали руками, шумели и голосили. Посередине, у калитки своего сада, Шамай, красный от злости, орал, грозя прихожанам кулаками. Мы старались понять, в чем дело, но слышали только гул голосов:

«Гусеницы, жуки, полевые мыши... Господи, услыши...»

А Шамай кричал:

— Нет! Нет! Я не пойду!

А толпа:

— Разрази тебя гром! Поп ты наш или нет? Отвечай: да или нет? Если ты наш поп — а ты наш поп, — то ты нам и служишь.

А Шамай:

— Бродяги! Я служу богу, а не вам...

Галдеж стоял изрядный. Шамай, чтобы покончить с ним, захлопнул калитку перед носом у своих пасомых; сквозь ее прутья еще раз мелькнули его руки, из которых одна по привычке елейно окропляла народ дождем благословения, а другая воздымала над землей гром проклятия. Напоследок в

окне дома показались его круглый живот и четырехугольное лицо, которое, не в силах перекричать орущих, яростно состроило им в ответ длинный нос. Затем ставни захлопнулись, и дом принял непроницаемый вид. Крикуны утомились; площадь опустела; и мы, обогнув поредевших зевак, могли, наконец, постучать в дверь Шамайя.

Стучали мы долго. Упрямый скот не желал отворять.
— Эй! Господин кюре!

Сколько мы ни взывали (измененным голосом, чтобы позабавиться):

— Мэтр Шамай, вы дома?

— К черту! Нет меня дома.

И так как мы упорствовали:

— Проваливайте вон! Если вы не уберетесь с моего порога, я вас, собачью ораву, окрещу на славу.

Он чуть не опорочил на нас свой рукомойник. Мы крикнули:

— Шамай, ты бы хоть вином!

При этих словах, словно чудом, гроза утихла. Алая, как солнце, свесилась обрадованная физиономия Шамайя:

— Святые угодники! Брюньон, Пайар, это вы? А я-то чуть не наделал делов! Ах вы, шутники проклятые! Чего же вы не сказали?

И он, как лавина, скатывается по лестнице.

— Входите! Входите! Будьте благословенны! Дайте-ка я вас расцелую! Милые мои, до чего же я рад видеть человеческое лицо после всех этих обезьян! Видели вы, что они тут выплясывали? Пусть себе пляшут, сколько им угодно, я с места не двинусь. Идемте наверх, выпьем. Вам небось жарко. Требовать, чтобы я пошел со святыми дарами! Скоро дождь: мы бы с господом богом вымокли до ниточки. Или мы у них на жаловании? Или я поденщик? Обращаться со служителем божьим, как с батраком! Дармоеды! Я поставлен блюсти их души, а не их поля.

— Послушай,— спросили мы,— о чем это ты? На кого это ты так взъелся?

— Идем, идем наверх,— сказал он.— Там нам будет удобнее. Но прежде всего необходимо выпить. Я не могу, я задыхаюсь!.. Как вы находите это вино? Ей-ей, оно не из самых плохих. Верите ли, друзья мои, что этим скотам угодно, чтобы я каждый день, начиная с пасхи и до самого вознесения, служил молебствия... Почему бы не от крещения до Нового года?.. И это ради жуков!

— Жуков! — сказали мы.— Вот ты так действительно как будто муху убил. Ты заговариваешься, Шамай.

— Я не заговариваюсь,— воскликнул он возмущенно.— Нет, знаете, это уж слишком! Я должен терпеть все их безумства, и я же и безумен!

— Тогда объяснись, как человек здравомыслящий.

— Вам легко говорить,— отвечал он, яростно отирая лицо.— Я должен оставаться спокоен, когда нас тормозят, меня и господа бога, господа бога и меня, весь божий день, чтобы мы потакали их ерундовым выдумкам! Буди вам известно (ух, я задохнусь, положительно!), что эти язычники, которые в грош не ставят вечное спасение и не омывают ни душ своих, ни ног, требуют от своего кюре, чтобы он добывал им и дождь и ведро. Я должен приказывать солнцу, луне: «Чутьточку тепла, водички; хватит, достаточно; чутьточку солнышка, да чтоб было мягкое, подернутое; легкий ветерок, главное— без морозов; еще поливочку, господи, для моего винограда; стой, хватит мочиться! А теперь изволь подогреть...» Послушать этих лодырей, так господу богу остается уподобиться, под бичом молитвы, рабочему ослу, который ходит по кругу и накачивает воду. Вдобавок (это лучше всего!) они и прежде себя несогласны: одному нужен дождь, другому солнце. И вот они скликают святых на подмогу. Их там тридцать семь, поливающих. Во главе выступает с копьём в руке Медард свяtitель, великий мочитель. На той стороне их только двое: святой Раймунд и святой Деодат, чтобы разгонять тучи. Но спешат на выручку святой Власий-ветрогон, Христофор-градоборец, Валериан-грозоглот, Аврелиан-громорез, святой Клар-солнцедар. В небе раздор. Все эти важные особы идут на кулачки. Святые Сусанна, Елена и Схоластика рвут друг друга в клочки. Не знает и сам господь бог, какой бы святой тут помог. А если бог не знает, то откуда знать кюре? Бедный кюре! В конце концов я в стороне от битвы. Я здесь на то, чтобы передавать молитвы. А кто Авель, кто Каин, решает хозяин. Поэтому я ничего бы не стал говорить (хотя, между нами, это идолопоклонство мне претит. Иисусе милостивый, или ты напрасно умирал?), если бы эти бродяги меня-то хоть не вмещивали в небесные передраги. Но они прямо с ума сошли, они желают пользоваться мною и святым крестом, как талисманом, против всего, что им грозит изъядом. То это крысы, которые у них пожирают хлеб в амбарах. Крестный ход, заклинания, молитвы святому Никасию. Морозный декабрьский день, снегу по пояс: я схватил прострел... То это гусеницы. Молитвы святой Гертруде, крестный ход. На дворе март: град, талый снег, мерзлый дождь; я охрип, кашляю по сей день... Сегодня— жуки. Опять крестный ход! Я должен обходить их сады (свинцовый солнцепек, тучи пузатые и сизые, как мухи, будет гроза, в самый раз

схватить воспаление легких) и должен распевать: «Ibi ceciderunt делающие беззаконие, atque изринуты sunt и не возмогут stare...»¹ Ведь изринут-то буду я! «Ibi cecidit»² Шамай Батист, по прозвищу Сладостный, кюре...» Нет, нет, нет, покорнейше благодарю! Мне спешить некуда. Самая веселая шутка, и та приедается. Мое ли дело, скажите пожалуйста, морить им гусениц? Если жуки им мешают, пусть они обезжучиваются сами, бездельники этикие! Береженого бог бережет. Было бы очень просто сложить руки и говорить кюре: «Исполни то, исполни это!» Я исполняю волю божию и мою: я пью. Я пью. Пейте и вы... А они, если им угодно, пусть осаждают мой дом! Мои друзья, мне все равно; пусть будет твердо решено, что они раньше ко мне повернутся тылом, чем я своим тылом в этом кресле. Давайте пить вино!

Он принялся за винопийство, утомясь от долгого витийства. И мы, подобно ему, прочистили глотки и подняли стаканы, созерцая сквозь них небеса и нашу судьбу, каковые представлялись нам розовыми. Несколько минут царила тишина. Только Пайар пощелкивал языком, да в толстой шее у Шамайка булькало вино. Он пил залпом, а Пайар глоточками. Шамай, когда поток исчезал в его дыре, издавал «ха!», возводя очи горé. Пайар оглядывал свой стакан и сверху, и снизу, на тень и на свет, насасывал, посапывал, пил и нёбом, и носом, и глазом. Я же наслаждался разом и питьем и питухами: мое удовольствие усугублялось их удовольствием и лицезрением их: пить и видеть — сугубый вкус, королевский кус. Но это мне не мешало усердно подхлестывать и мой стаканчик. И мы, все трое, шли бодро в ногу; никто не жаловался на дорогу!.. Но кто бы подумал? В конечном счете, поддав на повороте, всех обогнал, изумляя свет, господин законовед.

Когда подвальная роса нежно умягчила наши гортани и вернула бодрость жизненным силам, наши души расцвели, и лица тоже. Облокотясь у открытого окна, мы с восторженным умилением любовались молодой весной в полях, веселым солнцем на нежно оперенных тополях, укрытой в глубине долины Ионной, которая кружит и кружит среди лугов, подобно резвой собачке, и нам слышно было, как голосят прачки, и вальки звякают, и утки крякают. И Шамай, просветлевший лицом, говорил, пощипывая нас за локти:

— Как хорошо жить в этом краю! Благословен господь небесный, давший нам с вами родиться тут. Ну, есть ли что-нибудь милее, веселее, умильнее, восхитительнее, вкусней, жирней, сочней и миловидней! У меня слезы на глазах перед вот этой далью. Так бы и съел ее, каналью!

¹ Псалом 36: «Тамо падоша вси делающии беззаконие, изриновени быша и не возмогут стати». — *Прим. перев.*

² Тамо паде.

Мы согласились кротко, кивком подбородка, как вдруг он разразился:

— И на кой черт пришло ему в голову наплодить в таком краю этих скотов! Он, разумеется, прав. Он знает, что делает, надо верить... но я бы предпочел, признаться, чтобы он оказался не прав и чтобы мои прихожане жили у черта, где угодно, у инков или у падишаха,— место найдут, лишь бы не тут!

Мы ему сказали:

— Шамай, они везде одинаковы. Не эти, так другие! К чему менять?

— Видно,— продолжал Шамай,— они созданы не для того, чтобы я их спасал, а для моего спасения, чтобы я еще на земле искупил свои грехи. Согласитесь, кумовья мои, согласитесь, что нет паскуднее ремесла, чем ремесло сельского кюре, который силится внедрить истины божии этим жалким тупицам в их башки толстокожие. Сколько ни питай их соком евангелия и ни суй их малышам титьку катехизиса,— едва они хлебнут молока, оно у них выходит через нос; этим широким глоткам нужен корм попроще. Они вам пожуют «Отче наш», поворочают во рту молитву или споют, чтобы послушать собственное бляение, вечерню с повечерием, но ни одно из благодатных слов не переступит паперти их прожорливых ртов. Ни в сердце, ни в желудок не попадает ничего. Они такие же язычники, как были до того. Напрасно век за веком мы искореняем в полях, ручьях, лесах духов и фей; напрасно мы силимся задуть, надсаживая щеки и грудь, силимся вновь и вновь загасить эти адские огни, дабы в потемневшей ночи вселенной виден был только свет истинного бога; нам так и не удастся истребить эти исчадия земли, эти грязные суеверия, эту душу вещества. В старых дубовых пнях, в черных камнях-вертунах по-прежнему гнездится это сатанинское отродье. А ведь сколько мы его били, рубили, жгли, толкли, выкапывали из земли! Надо бы вывернуть каждую кочку, каждый камень, всю нашу галльскую землю-мать, чтобы всех этих дьяволов из нее изгнать. Да оно и не к чему. Эта проклятая Природа выскальзывает у вас из рук; вы ей отрубите лапы, у нее отрастают крылья. Одного бога убьете, их народится десять. Все — бог, все — дьявол для этих болванов. Они верят в оборотней, в белую лошадь без головы и в черную курицу, в человечьего змея, в домового и в вещей уток... Скажите мне на милость, на что будет похож среди всех этих косолапых чудовищ, сбежавших из Ноева ковчега, кроткий сын Марии и набожного плотника!

Мэтр Пайар отвечал:

— Кум, «видишь глаз чужой, да не видишь свой». Твои прихожане не в своем уме, ты прав. Но сам-то ты рассудком

разве более здрав? Не тебе говорить, кюре; ты поступаешь совершенно так же, как они. Чем твои святые лучше их домовых и фей? Мало было завести одного бога втроем, или троих в одном, и богиню-мать, надо было еще поселить в ваших пантеонах кучу божков в юбках и панталонах, чтобы заменить сокрушенных в нишах опустошенных. Но эти боги, нет, ей-богу, не стоят прежних. Невесть откуда они берутся; они лезут отовсюду, как улитки, нескладные, худородные, паршивые, убогие, неумытые, покрытые язвами и шишками, снедаемые вшами; один выставляет напоказ кровоточащий обрубок или на бедре у себя глянцевитую болячку; другой кокетливо носит загнанную ему в загривок плаху; этот разгуливает с головой под мышкой; тот торжественно держит в пальцах собственную кожу и потряхивает ею, как сорочкой. И, чтобы не ходить далеко, что нам сказать, кюре, про твоего святого, про того, который царит у тебя в церкви, про Симеона Столпника, того, что сорок лет простоял на одной ноге на своем столпе наподобие цапли?

Шамай подскочил и воскликнул:

— Стой, стой! Другие святые еще куда ни шло. Мне их оберегать не поручено. Но этот, язычник ты этакий, это мой, я у него в доме. Мой друг, будь вежлив!

— Ладно (я твой гость), пусть твоя птица торчит себе, поджав ногу; но скажи ты мне, что ты думаешь о корбинийском аббате, который утверждает, будто у него в бутылке хранится млеко пресвятой девы; и скажи мне свое мнение о господине де Сермизеле, который однажды, когда у него случился понос, поставил себе клистир из святой воды с прахом от мощей!

— А думаю я то,— сказал Шамай,— что сам ты, который сейчас смеешься, если бы у тебя болел задний проход, поступил бы, пожалуй, так же, как и тот. Что же касается корбинийского аббата, то все эти монахи, чтобы отбить у нас покупателей, готовы торговать, если бы могли, ангельским молоком, архангельскими сливками и серафимьим маслом. Ты мне про них не говори! Монах и кюре—это собака и кошка.

— Так ты, кюре, не веришь в эти мощи?

— Нет, в их мощи не верю, я верю в свои. У меня есть плечевой отросток лопатки святой Диетрины, который лишавым просветляет мочу и цвет лица. И у меня есть теменная кость святого Паклия, которая изгоняет бесов из бараньих животов... Нельзя ли не смеяться? Ты скалишь зубы, нехристь? Так ты ни во что не веришь? У меня имеются грамоты (слепец, кто усомнился бы! Я за ними схожу), на пергамене и за подписом; ты убедишься, убедишься в их подлинности!

— Сиди, сиди и оставь свои бумаги. Ты и сам в них не веришь, Шамай, у тебя нос шевелится... Чья бы она ни была, откуда бы она ни взялась, кость всегда будет кость, и кто ей поклоняется — идолопоклонник. Всякой вещи свое место; мертвых — на кладбище! Я так верю в живых, верю тому, что сейчас день, что я пью и рассуждаю — и рассуждаю превосходно, — что дважды два четыре, что земля есть неподвижное светило, затерянное среди вращающегося пространства; я верю в Ги Кокиля и могу прочесть тебе, если хочешь, наизусть Свод обычаев нашего Неверского края; я верю также в книги, где капля за каплей процеживаются человеческое знание и человеческий опыт; но прежде всего я верю в свой разум. И (само собой разумеется) верю также в священное писание. Нет благомыслящего человека, который бы в нем сомневался. Доволен ли ты, кюре?

— Нет, недоволен! — воскликнул Шамай, рассерженный не на шутку. — Или ты кальвинист, еретик, гугенот, который бормочет себе библию, поучает мать свою церковь и полагает (гадючье племя!), что может обходиться без кюре?

Тут озлился и мой Пайар, протестуя против того, чтобы его называли протестантом, заявляя, что он добрый француз, правоверный католик, но человек разумный, у которого на месте и мозги и кулаки, который видит днем и без очков, который зовет дурака дураком, а Шамайя — тремя дураками в одном лице или одним в трех лицах (как ему угодно), и который, чтобы уважить бога, уважает свой разум, великого светоча прекраснейший луч.

На этом они замолкли и стали пить, ворча и хмурясь, опершись локтями на стол и сев друг к другу спиной. Я расхохотался. Тогда они заметили, что я ничего еще не сказал, и сам я это заметил. Я их все время наблюдал и слушал, забавляясь их спором, передразнивая их глазами и лицом, повторяя про себя их слова, бесшумно шевеля ртом, как кролик, жующий капусту. Но остервенелые спорщики потребовали, чтобы я заявил, с кем из них я согласен. Я отвечал:

— С обоими, и еще кое с кем. Разве мало охотников порассуждать? Чем больше соберется дураков, тем смешнее; а чем больше смеха, тем больше мудрости. Друзья мои, когда вы желаете узнать, что у вас имеется, вы выписываете на бумаге все свои цифры; затем вы их складываете. Почему бы вам не сложить вместе все наши враки? Быть может, в итоге получится истина. Истина вам кажет кукиш, когда вы хотите прибрать ее к рукам. У вселенной, дети мои, имеется не одно объяснение: ибо каждое из них объясняет лишь одну сторону вопроса. Я согласен со всеми вашими богами, и языческими, и христианскими, и с богом-разумом кроме того.

При этих словах оба они, объединяясь против меня, гневно заявили, что я пирроник и безбожник.

— Безбожник! Чего вам надо? Чего вы от меня хотите? Ваш бог или ваши боги, ваш закон или ваши законы желают пожаловать ко мне? Милости прошу! Я их приму. Я принимаю всех, я человек радушный. Господь бог мне очень нравится, а его святые и еще того больше. Я их люблю, я их чту, я им рад всегда; и они (это люди добрые) охотно заходят ко мне покалякать иногда. Но, если уж говорить откровенно, одного бога, сознаюсь вам, мне мало. Что поделаешь. Я человек жадный... а меня сажают на диету! У меня есть мои святые угодники и святые угодницы, мои феи и духи, воздушные, земные, лесные и водные; я верю в разум; верю также в безумцев, которые видят истину; и верю в колдунов. Мне нравится думать, что подвешенная земля качается в облаках, и мне хотелось бы потрогать, разобрать и снова собрать весь чудесный механизм мировых часов. Но это не значит, что я не люблю слушать пение сверчков далеких, звезд круглооких и разглядывать на луне человека с фонарем... Вы пожимаете плечами? Вы за порядок. Что ж, порядок вещь хорошая! Но даром он не дается, за него приходится платить. Порядок — это значит не делать того, что хочется, и делать то, чего не хочется. Это значит выколоть себе один глаз, чтобы лучше видеть другим. Это значит рубить леса, чтобы прокладывать длинные, прямые дороги. Это удобно, удобно... Но, боже мой, до чего это некрасиво! Я старый галл: много вождей, много законов, все — братья, и каждый сам по себе. Верь, если хочешь, и предоставь мне не верить, если я хочу, или верить. Чти разум. А главное, мой друг, не трогай богов! Ими кишит, ими дождит сверху, снизу, над головами и под ногами; мир от них вздут, как супорось. Я уважаю их всех. И я вам разрешаю преподнести мне еще. Но сами вы не отберете у меня ни единого и не подобьете меня его уволить: разве что мошенник стал бы уж слишком злоупотреблять моим легковерием.

Сжалившись надо мной, Пайар и кюре спросили, как это я разбираю дорогу посреди такого кавардака.

— Я разбираю ее отлично, — отвечал я. — Каждая тропинка мне знакома, я по ним хожу, как дома. Когда я иду лесом один из Шаму в Везлэ, неужели, по-вашему, мне нужна проезжая дорога? Я хожу туда и обратно, с закрытыми глазами, по браконьерским тропкам; и если я, может быть, и прихожу последним, зато я приношу домой набитый ягдташ. В нем все на своем месте, в порядке, за ярлычком: господь бог в церкви, святые по своим часовням, феи в полях, разум у меня во лбу. Они ладят великолепно: у всякого свое дело и

свой дом. Никакому деспотическому королю они не подчинены; но, подобно господам бернцам и их конфедератам, все они образуют промеж себя союзные кантоны. Одни послабее, другие посильнее. Но только на это полагаться нельзя! Иной раз против сильных требуются слабые. Разумеется, господь бог сильнее фей. Однако же и ему приходится с ними считаться. И сам по себе господь бог не сильнее, чем все остальные, вместе взятые. На всякого сильного найдется сильнейший, чтобы его съест. Кто ест, того съедят. Так-то. Меня, видите ли, не разубедить, что *самого большого господа бога* еще никто не видал. Он очень далеко, очень высоко, в самой глубине, в самой вышине. Как наш государь король. Мы знаем (и слишком хорошо) его людей, управителей, исполнителей. А сам он там, у себя в Лувре. Теперешний господь бог, которому молятся ныне, это, так сказать, господин Кончини... Ладно, ты меня не тузи, Шамай! Я скажу, чтобы ты не сердился, что это наш добрый герцог, властитель неверский. Да благословят его небеса! Я его уважаю и люблю. Но перед властителем Лувра он ведет себя смиренно, и хорошо делает. Да будет так!

— Да будет так! — сказал Пайар. — Но это не так. Увы, далеко не так! «Когда нет господина, познаешь челядина». С тех пор как умер наш Генрих и королевство перешло в бабьи руки, князья играют им, как прялкой. «Князьям потеха, а нам не до смеха». Эти ворыги удят рыбу в большом садке и расхищают золото и грядущие победы, спящие в сундуках Арсенала, да охранит их господин де Сюлли! Ах, если бы явился мститель, чтобы им изрыгнуть собственную голову вместе с золотом, которого они нажрались!

По этому поводу мы наговорили такого, что было бы неосторожно все это записывать: ибо, напав на этот лад, все мы распелись дружно. Исполнили мы также несколько вариаций на тему о долгополых вельможах, о туфленосных святошах, жирных прелатах и о тунядцах-монахах. Я должен сказать, что самые лучшие, самые блестящие песнопения импровизировал в данном случае Шамай. И наше трио продолжало идти в такт, каждый из нас как единый глас, когда после паточных мы коснулись припадочных, после лицемеров — всяких изуверов, фанатиков-живоглотов, католиков и гугенотов, всех этих болванов, которые, желая внушить любовь к всевышнему, дубьем и мечом вгоняют ее ближнему! Господь бог не ослятник, чтобы понукать нас палкой. Кто желает погубить свою душу, пусть себе ее губит! Надо ли еще мучить его и жечь живьем? Господи помилуй, оставьте нас в покое! Пусть всякий живет себе, в нашей Франции, и не мешает жить другим! Последний нечестивец и

тот — христианин: ведь бог принял смерть за всех людей. И потом, и наихудший и наилучший, оба они в конце концов жалкие твари: и, сколь ни будь они суровы и горды, они похожи, как две капли воды.

После чего, устав от разговоров, мы запели, затянув в три голоса славословие Вакху, единственному богу, насчет которого ни я, ни Пайар, ни кюре не спорили. Шамай заявлял во всеуслышание, что его он предпочитает тем, о которых разглагольствуют в своих проповедях все эти грязные монахи Кальвина и Лютера и прочая шушера. Вакх — это бог, которого признать можно, и достойный уважения, бог происхождения благородного, чисто французского... да что там — христианского, братья мои дорогие: ведь разве Иисус на некоторых старых портретах не изображается иной раз в виде Вакха, попирающего ногами виноградные гроздья? Так выпьем же, други, за нашего искупителя, за нашего христианского Вакха, за нашего улыбчивого Иисуса, чья алая кровь струится по нашим склонам и напоет благоуханием наши виноградники, языки и души и всеяет свой нежный дух, человечный, щедрый и незлобно лукавый, в нашу ясную Францию, со здравым разумом и с кровью здоровой!

В этом месте нашей беседы, когда мы содвинули стаканы в честь веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью («Мудрец садится посередине»... почему нередко садится наземь), громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи возвестили нам пришествие госпожи Элоизы Кюре, так звали домоправительницу, «Кюрихи» тож. Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она возгласила:

— Ох! Ох! Помогите, господин кюре!

— В чем дело, дуреха? — сердито спросил тот.

— Идут! Идут! Это они!

— Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом? Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, о моих прихожанах!

— Они вам грозят!

— Мне наплевать. Чем бы это? Жалобой в духовный суд? Пожалуйста! Я готов.

— Ах, господин, если бы только жалобой!

— А чем же тогда? Говори!

— Они там собрались у долговязого Пика и творят, что называется, калабистические знаки и заклинания и поют: «Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей собирайтесь и объедать подвал и сад к Шамайю отправляйтесь!»

При этих словах Шамай вскочил:

— О проклятые! В мой сад их жуки! И в мой подвал... Они меня режут! И надо же придумать! О господи, Симеон угодник, помогите вашему кюре!

Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись.

— Смейтесь, смейтесь! — кричал он на нас. — Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы! Я бы и сам смеялся, сиди я в вашей шкуре: это не штука! А посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готова корм, питье и кров для таких жильцов!.. Жуки! Гадость какая... И мыши!.. Я не желаю! Да ведь здесь хоть голову себе размозжи!

— Полно, чего ты? — сказал я ему. — Ведь ты же кюре? Чего ты боишься? Разговори их заговор! Ведь ты же в двадцать раз больше знаешь, чем твои прихожане! Ведь ты посильнее их будешь!

— Какое там! Ничего я не знаю. Долговязый Пик — малый дошлый. Ах, друзья мои, друзья мои! Ну и новость! Вот разбойники!.. А я-то был так спокоен, так уверен! Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один бог велик. Что я могу поделывать? Я попался! Я в их руках... Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им перестать! Я иду, я иду, ничего не попишешь! Ах, мерзавцы! Ну уж, когда придет мой черед, у их смертного ложа... А пока (да будет воля...) приходится мне плясать по их дудке!.. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью. И не такие пивал!..

Он встал. Мы спросили:

— Ты это куда же в конце концов?

— В крестовый поход, — буркнул он, — на жуков.





Апрель

прель, дочурка стройненькая весны, девчурка тоненькая, чьи глазки так ясны, я смотрю, как цветут твои маленькие грудки на ветке абрикоса, на белой ветке с острыми розоватыми почками, обласканными свежим утренним лучом, в моем саду, за моим окном. Какое чудесное утро! Какое

блаженство думать о том, что будешь жить, что живешь этим днем! Я встаю, яправляю мои старые руки, в которых я чувствую славную усталость после ожесточенной работы. Последние две недели мои подмастерья и я, чтобы искупить невольное безделье, взвивали стружки под самые небеса, и дерево у нас пело на все голоса. К сожалению, наш рабочий голод прожорливее, чем аппетит заказчиков. Никто ничего не покупает, и еще того меньше торопятся платить по старым заказам; у всех мощна истощена; нет больше крови в кошельках; но есть еще в наших руках и полях; земля хороша, та, из которой я сотворен и на которой живу (это одна и та же). «Молитвой и трудом станешь королем». Все они короли, люди нашей земли, или станут ими понемногу, честное слово, ей-богу, потому что я слышу сегодня с утра, как шумят мельницы на реке, как кузнечный мех скрипит невдалеке, на наковальнях молотки звенят веселым плясом, на досках резаки рубят кости с мясом, как лошадь фыркает и пьет, как сапожник постукивает и поет, грохот колес на дороге, стук башмаков многоногий, щелканье бичей, трескотню прохожих, гомон голосов, звон колоколов — словом, дыхание города на работе, в трудовом поте: «Отче наш, мы месим себе хлеб насущный, пока ты нам его дашь: так оно верней...» А над моей головой — ясное небо весны голубой, где проносятся белые облака, горячее солнце и свежесть ветерка. И словно... воскресает молодость! Она стремится ко мне полет из глубины времен и в старом сердце, в том, что ждет, опять гнездо былое вьет. Милая беглянка, как ее любишь, когда она вернется вновь! Куда больше, куда лучше, чем в первый день, эта любовь...

Тут, я слышу, скрипит флюгарка на крыше, и моя старуха резким голосом кричит кому-то что-то, быть может, мне. (Мне слушать неохота.) Но вспугнутая молодость упоркнула. Черт бы побрал флюгарку... А она, вне себя (я говорю про мою старуху), спускается ко мне, и у меня возле барабанной перепонки раздается голос звонкий:

— Что ты тут делаешь сложа руки, зевая воронам вслед, несчастный дармоед, разинув рот шире ворот? Ты пугаешь птиц небесных. Чего ты ждешь? Чтобы тебе упал в глотку жареный чиж или наплакал стриж? А я тем временем вожусь, тружусь, стараюсь, убиваюсь, работаю в седьмом поту, чтобы служить этому скоту!.. Небось, слабая женщина, таков твой удел!.. Так вот нет же, нет, потому что бог не велел, чтобы нам доставался весь труд, а чтобы Адам шатался и там и тут, заложив руки за спину. Я хочу, чтобы и он тоже страдал, и хочу, чтобы ему было тяжело. А иначе, если бы ему было весело, прощельге, было бы отчего разувериться в боге! К счастью, имеюсь я, чтобы исполнять его святую волю. Перестанешь ты смеяться? За работу, если хочешь, чтобы кипел горшок!.. Извольте видеть, как он меня слушает! Да сдвинешься ли ты с места?

Я отвечаю с мягкой улыбкой:

— Сдвинусь, красавица. Грех было бы сидеть дома в этакое утро.

Я вхожу в мастерскую, кричу подмастерьям:

— Мне нужен, друзья мои, кусок дерева, упругий, нежный и плотный. Я схожу к Риу посмотреть, нет ли у него на складе хорошенькой трехдюймовой доски. Гоп! Канья! Робине! Пойдемте выбирать!

Мы с ними выходим. Старуха моя кричит. Я ей говорю:

— Пой на здоровье!

Можно было и не давать такого совета. Ну и музыка! Я стал насвистывать, чтобы вышло звучнее. Добряк Канья говорит:

— Что вы, хозяйка! Можно подумать, что мы отправляемся путешествовать. Через каких-нибудь четверть часика мы будем дома.

— С этаким разбойником,— сказала она,— кто может поручиться?

Било девять часов. Мы направлялись в Бейан, путь туда недолгий. Но на Бевронском мосту останавливаешься мимоходом (надо же осведомиться о здоровье, встречаясь с народом), приветствуешь Фетю, Гадена и Тренке, по прозвищу Жан-Красавец, которые начинают свой день, сидя на плотине

и глядя, как течет вода. Беседуешь минутку о том, о сем. Затем мы двигаемся дальше, честь честью. Мы люди совестливые, идем прямой дорогой, ни с кем не заговариваем (правда, навстречу нам никто не попадает). Но только (человек чувствителен к красотам природы) залюбуешься небом, весенними побегими, яблоней в цвету, возле стен, во рву, заглядишься на ласточку, постоишь, поспоришь, откуда ветер...

На полудороге я спохватываюсь, что еще не поцеловал сегодня моей Глоди. Я говорю:

— Вы себе ступайте. Я сделаю крик. У Риу я вас настигну.

Когда я подходил, Мартина, моя дочь, мыла свою лавку, не жалея воды и не переставая тараторить, тараторить и тараторить то с одним, то с другим, с мужем, с мальчишками, с подручным и с Глоди, да еще с двумя-тремя соседками, с которыми она хохотала до слез, не переставая тараторить, тараторить и тараторить. А когда она кончила — не тараторить, а мыть, — она вышла и выплеснула ведро на улицу, со всего размаха. Я остановился было в нескольких шагах, чтобы ею полюбоваться (она мне радует глаза и душу, что за кусочек!), и половина ведра угодила мне в ноги. Она расхохоталась пуще прежнего, а я еще громче, чем она. Ах, эта галльская красавица, смеющаяся мне в лицо, с черными волосами, которые пожирают ей лоб, густыми бровями, горячими глазами и губами еще того горячее, красными, как угли, и пухлыми, как сливы! Плечи и руки у нее были голые, а подол дерзко подоткнут. Она сказала:

— В добрый час! Тебе, что же, досталось все?

Я отвечал:

— Почти что так; но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось ее пить.

— Входи, — сказала она, — Ной, спасшийся от потопа, Ной-виноградарь.

Я вошел, увидел Глоди в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком.

— Здравствуй, маленькая булочница!

— Готова биться об заклад, — сказала Мартина, — что я знаю, почему ты так рано ушел сегодня из дому.

— Ты можешь не боляться проигрыша, тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко.

— Так это мать?

— А то кто же?

— Какие трусы эти мужчины!

Флоримон, который как раз входил, принял это на свой счет. Он напустил на себя оскорбленный вид. Я ему сказал:

— Это мне. Не обижайся, юноша!

— Хватит на обоих,— сказала она,— не будь таким жадным.

Тот изображал по-прежнему уязвленное достоинство. Это настоящий буржуа; он не допускает, чтобы над ним можно было посмеяться; и когда он видит нас вдвоем, меня с Мартиной, он настораживается, он с недоверчивым взглядом ждет, какие слова издаст наш смеющийся рот. Ах, бедные мы! Каких только козней нам не приписывают!

Я сказал с невинным видом:

— Ты шутишь, Мартина; я знаю, Флоримон в своем доме хозяин; он не даст себя оседлать, как я. К тому же и его Флоримонда тиха, смиренна, покорна, воли у нее нет, ни слова не скажет в ответ. Эта славная девушка вся в меня, который всегда был человеком робким, послушным и забитым!

— Да перестанешь ли ты издеваться над людьми! — воскликнула Мартина, стоя на коленях и наново протирая (уж я тру, тру, тру) с остервенелой радостью оконные стекла.

И за этой работой (она работала, а я смотрел) мы перекидывались славными и сочными словечками. В глубине лавки, которую Мартина наполняла своим движением, своей речью, своей сильной жизнью, сидел, забившись в угол, Флоримон, недовольный и хмурый, обиженной фигурой. В нашем обществе ему всегда не по себе; он пугается смелых шуток, ядерных галльских прибауток; они задевают его достоинство; ему непонятно, что можно смеяться от здоровья. Человек он маленький, бледненький, худенький и угрюмый; вечно на все жалуется; ему кажется, что все плохо, должно быть, потому, что он ничего, кроме себя, не видит. Обмотав полотенцем свою цыплячью шею, он сидел с беспокойным лицом и ворочал глазами то вправо, то влево; наконец, он сказал:

— Здесь дует со всех сторон, как на башне. Все окна отворены.

Мартина, не оборачиваясь, ответила:

— Вот тоже! А мне так душно.

Некоторое время Флоримон терпел на своем стуле... (Сквозняк, по правде говоря, стоял такой, что хоть куда...) И вылетел пулей. Моя молодка, не вставая с колен, подняла голову и сказала, добродушно и весело подтрунивая:

— Он опять залезет в печь.

Я спросил ее лукаво, по-прежнему ли она ладит со своим пекарем. Она, разумеется, не стала говорить, что нет. Вот упрямая плутовка! Хоть на куски ее разрежь, она никогда не сознается в ошибке.

— А почему бы мне с ним не ладить? — сказала она. — Он мне весьма по вкусу.

— Я-то поел бы,— говорю.— Но у тебя рот большой, маленький пирожок на один глоток.

— Надо довольствоваться тем, что есть,— отвечала она.

— Хорошо сказано. И все-таки, будь я на месте пирожка, я чувствовал бы себя, признаться, не очень-то спокойно.

— Почему? Ему бояться нечего, я торговец честный. Но чтобы и он им был! А иначе, ему сказано: если он, мошенник, вздумает меня обмануть, не пройдет и дня, как я наставлю ему рога. Всякому свое добро. Ему его, а мне мое. Поэтому пусть он исполняет свой долг!

— И до конца.

— А то как же! Посмей он у меня жаловаться, что наша госпожа слишком хороша!

— Ах, чертовка, я вижу, как в книге, это ты отвечала сарыге, когда она принесла небесный приказ.

— Я знаю много сарычей,— сказала она,— но только бесперых. Ты о котором говоришь?

— Разве ты не слышала, говорю, рассказа про сарыгу, которую кумушки послали к господу богу просить его, чтобы их крошки, чуть народясь, становились на ножки? Господь сказал: «Извольте». (Он с дамами любезен.) «За это я требую от моих дорогих прихожанок только одного: чтобы отныне под простыни дамы и девицы ложились одни». Сарыга покинула господень дом, небесный приказ неся под крылом; сам я там не был, помешали дела, когда она его принесла; но я слышал, что вестнице не поздоровилось!

Мартина, сидя на корточках, перестала тереть и разразилась громким хохотом; потом принялась меня тормошить, крича:

— Старый болтун! Как ветряная мельница, трещит, тараторит, не ленится! Пошел отсюда, пошел прочь! Пустослов несчастный! Ну, на что ты годен, скажи? На то, чтобы у людей время отнимать! Ну, проваливай! И, кстати, забери-ка с собой эту собачонку бесхвостую, которая путается у меня в ногах, твою Глоди, вот эту самую, которую опять выпроводили из пекарни, где она уж, конечно, загустила лапы в тесто (ишь, даже нос измазала). Брысь оба, оставьте нас в покое, уроды вы этикие, не мешайте нам работать, не то я возьму швабру...

Она нас выставила за дверь. Мы отправились вдвоем, весьма довольные; мы пошли к Риу. Но на берегу Ионны мы сделали маленькую остановку. Смотрели, как удят рыбу. Давали советы. И очень радовались, когда нырял поплавок или из зеленого зеркала выскакивала уклейка. Но Глоди, увидав на крючке червя, который корчился от смеха, сказала мне с недовольной гримаской:

— Дедушка, ему больно, его съедят.

— Ну да, милая моя,— отвечал я,— конечно! Быть съеденным не очень приятно. Не надо об этом думать. Думай лучше о том, кто его съест, о красивой рыбке. Она скажет: «Это вкусно!»

— А если бы тебя съели, дедушка?

— Ну что же, я бы тоже сказал: «Ну и вкусный же я! Вот счастливец! И везет же мошеннику, который меня ест!» Вот так-то, видишь ли, мой свет, всегда и доволен твой старый дед. Мы ли едим, нас ли едят, на все надо иметь веселый взгляд. У нас в Бургундии не знают мерлихлюндии.

Так беседуя, мы очутились (еще не было одиннадцати часов), сами того не заметив, у Риу. Канья и Робине меня поджидали, но мирно, развальясь на берегу; и Робине, запасшийся терпением и удочкой, дразнил пескарей.

Я вошел в сарай. Стоит мне очутиться посреди красивых стволов, которые лежат, раздетые догола, и почуять свежий запах опилок, честное слово, время и воды могут течь, сколько им угодно. Я готов без усталости шупать эти бока. Для меня дерево милее женщины. У всякого своя страсть. Это ничего, что я знаю заранее, которое из них я хочу и возьму. Если бы я был в Турции и увидел на базаре свою любимую посреди дюжины красивых обнаженных девушек, неужели вы думаете, что моя любовь к милой помешала бы мне, мимоходом, вкусить глазами прелести остального стада? Я не так глуп! На то ли бог дал мне глаза, жадные к красоте, чтобы, когда она является, я стал их закрывать? Нет, они у меня отворены шире ворот. Все туда входит, ничто не ускользнет. И подобно тому, как под кожей у хитрых женщин я умею, старый плут, угадывать их желанья и тайну их мысли, лукавой и опасной, так и под корою моих деревьев, шершавой и атласной, я умею распознавать их сокрытую душу, которая вылупится из яйца,—если я пожелаю ее высидеть.

Пока я собираюсь пожелать, Канья, которому не сидится (это живоглот; только мы, старики, умеем смаковать), переругивается со сплавщиками, которые шатаются на том берегу Ионны или торчат на Бейанском мосту. Ибо если в наших предместьях птицы и разные, то обычай у них один: вкопавшись задом в перила, сидеть весь день на мостах или промачивать горло в злчных местах. Разговор—так уж принято— между сынами Беврона и сынами Вифлеема состоит из прибауток. Господа иудеи величают нас мужиками, бургундскими улитками и дармоедами. А мы отвечаем на эти любезности, называя их «лягвами» и щучьими рылами. Я говорю—мы, потому что, когда слышу молитвословия, не могу не вставить и сам: «Господи, помилуй!» Просто

из вежливости. Когда к вам обращаются, надо ответить. После того как мы учтиво обменялись кое-какими ласковыми выражениями (что это, никак уже полдень звонят? Я даже вздрагиваю. Вот так так! Ну, брат Время, дружок, и бежит же у тебя песок!), я прошу наших добрых сплавщиков, во-первых, помочь Канья и Робине нагрузить мою тележку и, во-вторых, отвезти ее в Беврон вместе с деревом, которое я выбрал. Они во все горло трубят:

— Чертов Брюньон! Ты, однако, не стесняешься!

И все-таки слушаются, хотя и трубят. Они меня любят.

Возвращались мы вскачь. Люди, стоя в дверях, смотрели нам вслед, восхищаясь нашим усердием. Но, когда моя упряжка вкатила на Бевронский мост и мы застали всех трех воробьев, Фетю, Гадена и Тренке, по-прежнему созерцающими течение вод, ноги остановились, а языки пустились во всю прыть. Эти поносили тех за то, что они что-то делают. Те поносили этих за то, что они ничего не делают. Певцы перебрали весь свой репертуар. А я сидел на тумбе и мирно ждал конца, чтоб увенчать победой лучшего певца. Как вдруг слышу над самым ухом:

— Разбойник! Наконец-то пожаловал! Изволь-ка рассказать, где это ты коротал время с девяти часов между Бевроном и Бейаном? У, лодырь! Вот уж горе с тобой! Когда бы ты воротился, если бы я тебя не поймала? Домой, злодей! У меня обед сгорел.

Я сказал:

— Первый приз тебе. Друзья мои, уймите языки: по части пеня вы перед ней щенки.

Моя похвала только усугубила ее тщеславие. Она угостила нас еще одной арией. Мы воскликнули:

— Bravo! А теперь идем домой! Ступай вперед! Я за тобой.

Итак, жена моя пошла домой, ведя за руку мою Глоди и сопровождаемая обоими подмастерьями. Покорно, хоть и не торопясь, я собирался поступить так же, как вдруг из высшего города хлынули радостный гул голосов, звуки рогов и веселый трезвон святого Мартына, так что я, старая ищайка, повел носом, чуя новое зрелище. Это была свадьба господина д'Амази и мадемуазель Люкрес де Шампо, дочери сборщика податей и пошлин.

Чтоб увидеть свадебное шествие, все мигом схватили ноги в охапку и кинулись в гору, к замковой площади. Нечего и говорить, что не я бежал позади всех! Такая удача не каждый день выдается. Только Тренке, Гаден и Фетю, празднующие, не соблаговолили отвинтить свои зады от плотины у воды,

заявив, что они, обитатели предместий, господам из башни не окажут этой чести. Слов нет, гордость я люблю, и самолюбие — прекрасная вещь! Но жертвовать ему своим развлечением... слуга покорный, какая же это любовь к себе! Это вроде любви кюре, который в детстве меня сек для моего, дескать, блага, добрый человек.

Хоть я и проглотил единым духом лестницу в тридцать шесть ступеней, которая ведет к святому Мартыну, я поспел на площадь (вот несчастье!), когда свадьба уже вошла в церковь. Что тут делать — необходимо было подождать, пока она выйдет. Но эти проклятые кюре могут слушать свое пение без конца. Чтобы убить время, я кое-как проник, немало попотев, в церковь, вежливоенько протискиваясь между снисходительных животов и мясистых задов; но в притворе меня облегла людская перина, и я оказался, как в постели, в тепле и в пуху. Если бы не святость храма, у меня бы возникли, должен сознаться, игривые мысли. Но надо быть серьезным, всему свое время и место; и, когда нужно, я умею быть степенным, как осел. Но иной раз случается, что высунется кончик уха и осел ревнет. Так случилось и тут, ибо, когда я созерцал, смиренно и благоговеино, разинув рот, чтобы лучше видеть, радостное жертвоприношение целомудренной Люкрес господину д'Амази, четыре охотничьих рога — святой Губерт свидетель — затрубили, сопровождая богослужение, в честь охотника; не хватало только собак; а очень жалко! Я поборол смех; но, разумеется, не удержался от того, чтобы не просвистеть (тихонечко) напев. Но вот наступило роковое мгновение, когда на вопрос любопытного кюре невеста отвечает «да»; надутые щеки лихо затрубили поимку; тут я не выдержал и крикнул:

— Улюлю!

Вы себе представляете, какой поднялся смех! Но приблизился швейцар, хмурия брови. Я съезжился и, крадучись сквозь гуцу бедер, вышел вон.

Я очутился на площади. Компания там подобралась достаточная. Всё, как и я, люди почтенные, которые глазами умеют видеть, ушами переваривать то, что проглотили чужие глаза, а языком рассказывать, благо говорить можно не только о том, что видел сам. Ну, и дал же я себе волю!.. Чтобы складно врать, незачем являться из дальних стран. Таким образом, время пролетело быстро, во всяком случае для меня, пока не распахнулись снова церковные двери под гром органов. Показалась охота. Впереди победоносно шествовал Амази, ведя под руку пойманную дичь, которая жеманно постреливала по сторонам своими красивыми глазами серны... Да, я рад, что не мне стеречь красавицу! Кто пустился

с нею в пляс, напляшется. Кто добыл зверя, добыл и рога...

Но толком я не разглядел ни охотников, ни дичи, ни стрелка, ни добычи и не смог бы даже описать (хвастать тут нечем), какого цвета был наряд у барина и платье у молодой. Ибо в эту самую минуту наши умы и наше внимание поглотил важный вопрос о порядке шествия и о старшинстве участвующих в нем особ. Уже, — как мне сказали, — когда они входили (ах, отчего меня при этом не было!), окружной судья, он же прокурор, и господин старшина, он же городской голова, столкнулись на пороге, как два барана. Но голова, будучи толще и сильнее, прошел вперед. Теперь спрашивалось, кто из них выйдет первый и первый покажет нос на божьей паперти. Мы ставили заклады. Но никто не показывался: как у разрубленной змеи, голова шествия двигалась вперед, а тело вылезать не хотело. Наконец, подойдя к церкви ближе, мы увидели внутри, возле дверей, друг против дружки, этих разъяренных зверей, из которых каждый не давал прохода сопернику. А так как в святом месте они не смели кричать, то видно было только, как они шевелят носом и губами, пучат глаза, пыжата, хмурят лоб, пыхтят, надуваются, и все это без единого звука. Мы держались за животики; и, споря и гуторя, мы тоже разделились, кто за кого. Люди пожилые — за судью, представителя господина герцога (кто желает почета для себя, тот требует почета и к другим); молодые петухи — за нашего голову, поборника наших вольностей. Я стоял за того, на чьей стороне будет торжество. И народ кричал, подзадоривая каждый своего:

— Ну, ну, вали, мосье Грассе! Укуси его за гребешок, господин Пето! Так, так, заткни ему глотку! Ну-ка, смелей, лошадушка!..

Но эти клячи только фыркали от ярости друг другу в нос и рук в дело не пускали, боясь, должно быть, память свои красивые наряды. Таким образом, препирательство грозило затянуться до бесконечности (потому что языки-то у них не отсохли бы), если бы не господин кюре, который начал бояться, что опоздает к обеду. Он сказал:

— Возлюбленные чада, господь вас слышит все равно, а обед подан давно, ни в коем случае не след опаздывать на обед и нашей злобой беспокоить бога у его святого порога. Белье постираем и дома.

Если он этого и не сказал (я не слышал слов), то смысл, надо полагать, был таков: ибо в конце концов его толстые руки схватили обе морды за загривки и сблизили их для мирного лобзания. После чего они вышли, но рядком, подпирая с обеих сторон, подобно двум столпам, живот кюре. Вместо двух хозяев оказалось трое. Когда хозяева ссорятся, народ всегда в выигрыше.

Все они проследовали мимо и вернулись в замок есть обед, вполне ими заработанный; а мы, дураки, остались, разинув рты, на площади, вокруг невидимой чугушки, вдыхая запах и глотая слюнки. Для вящего удовлетворения я просил перечислить мне блюда. Нас было трое чревоугодников: почтенный Трипе, Бодекен и Брюньон, здесь присутствующий, и при каждом блюде, которое нам называли, мы переглядывались, смеялись, и подталкивали друг друга локтем. Одно блюдо мы одобряли, насчет другого вступали в обсуждение: можно было сделать лучше, если бы посоветоваться с людьми опытными, вроде нас; но в сущности ни грамматических ошибок, ни смертных грехов; и в общем обед был весьма почтенный. По поводу некоего заячьего рагу всякий изложил свой рецепт; слушатели также вставили по словечку. Но вскоре на этой почве загорелся спор (это вопросы глгучие; надо быть дурным человеком, чтобы говорить о них спокойно и хладнокровно). Особенно был он оживлен между госпожами Перриной и Жакоттой, соперницами, задающими у нас в городе большие обеды. У каждой из них имеется своя партия, и каждая из этих партий стремится затмить другую, за столом. Это бывают доблестные состязания. В наших городах хорошие обеды—это обывательские турниры. Но я хоть и лаком до смачных споров, для меня нет ничего утомительнее, чем слушать про чужие подвиги, если я сам бездействую; и не такой я человек, чтобы долго питаться соком собственной мысли и тенью блюд, которых я не ем. Поэтому я обрадовался, когда почтенный Трипе мне сказал (бедняга тоже мучился!):

— Когда слишком долго рассуждаешь о кухне, то становишься, Брюньон, как любовник, который слишком много говорит о любви. Я, знаешь, больше не могу, я прямо-таки погибаю, дружище, я горю, я пылаю, и внутренности мои дымятся. Пойдем-ка их залить и покормить зверя, который ложет мне утробу.

— Мы с ним управимся, — сказал я. — Положись на меня. Против болезни голода лучшее лекарство—это еда, сказал некто в древности.

Мы отправились вдвоем на угол Большой улицы, в гостиницу Гербов Франции и Дофина: потому что никто из нас не помышлял о том, чтобы идти домой в третьем часу дня; Трипе, как и я, побоялся бы застать суп холодным, а жену кипящей. День был рыночный, комната была набита битком. Но если в одиночестве, на просторе за столом, лучше бывает есть, то в давке, в гуще добрых товарищей, лучше естся, так что всегда все очень хорошо.

На некоторое время мы приумолкли, беседуя лишь *in petto*¹, то есть сердцем и челюстями, с некоей свежепросольной свининкой в капусте, которая благоухала и таяла, розовая и нежная. К сему кружка вина, чтобы спала с очей пелена, ибо есть и не пить, как говорят наши старики, слепым быть. После чего, прочистив зрение и промыв гортань, я снова мог заняться созерцанием людей и жизни, которые всегда кажутся краше, когда поешь.

За соседним столом кюре из ближних мест сидел против престарелой фермерши, которая к нему так и ластилась: она нагибалась к нему, вела какие-то речи, вбирая голову в черепашины плечи, выворачивая ее вбок и умильно выкатывая на него глазок, словно на исповеди. А кюре внимал ей тоже бочком, благосклонно, и, не слушая, на каждый поклон вежливо отвечал поклоном, не переставая при этом глотать, и словно говорил: «Хорошо, дочь моя, *absolvo te*². Все грехи тебе отпущены. Ибо господь благ. Я хорошо пообедал. Ибо господь благ. И эта черная колбаса тоже».

Немного дальше наш нотариус мэтр Пьер Делаво, угощавший коллегу, говорил о договорах, о свидетелях, о политике, о добродетелях, о деньгах, о публике, о римской республике (он республиканец в латинских стихах; но в жизни — за мудрость его хвалю — он верный слуга королю).

А в самой глубине мой блуждающий взор обнаружил Перрена-повара, в синей блузе, туго накрахмаленной, Перрена из Корволь-л'Оргелье, и так как взгляды наши встретились, то он издал голос, встал с места и окликнул меня. (Я готов побожиться, хоть и грешно, что он заметил меня давно; но хитрый вор отвращал свой взор, потому что должен мне, вот уже два года, за два ореховых комода.) Он подошел ко мне, поднес мне стакан:

— Всем сердцем, всем сердцем приветствую вас...³

... Поднес мне второй:

— Чтобы не сбиться с прямого пути, на обеих ногах нужно идти...

... Предложил мне разделить с ним трапезу. Он надеялся, что так как я уже пообедал, то я откажусь. Я его поддел: я согласился. Хоть этим поживлюсь!

Итак, я начал сначала, но на этот раз спокойнее, не торопясь, потому что можно было уже не бояться голода. Простые едоки, занятой народ, который ест, как скот, только чтобы насытиться, мало-помалу разошлись; и остались одни люди почтенные, люди зрелые и умелые, которые знают

¹ в душе, про себя (*итал.*).

² отпускаю тебе (*лат.*).

³ Старинное народное приветствие при чокании за выпивкой. — Р. Р.

цену всему прекрасному, хорошему и доброму и для которых доброе блюдо есть доброе дело. Дверь была отворена, врывались воздух и солнце, заходили три черные курочки и, вытянув тугие шеи, поклевывали крошки под столом и лапы старой дремлющей собаке, доносились с улицы женские голоса, крик стекольщика и: «Рыба свежая, рыба!» да рев осла, подобный львиному. На пыльной площади два белых вола, запряженные в телегу, лежали неподвижно, подвернув ноги под красивые лоснистые бока, и с замусленными мордами благодушно пожевывали сляну. На крыше, на солнышке, ворковали голуби; и всем нам было так хорошо, что, кажется, погладь нас по спине, мы бы замурлыкали.

Разговор завязался всеобщий, от стола к столу, все были заодно, по-дружески, по-братски: кюре, повар, нотариус, его товарищ и хозяйка с таким нежным именем (ее зовут Бэзла ¹, в этом имени заложено обещание; она его исполняет, и даже с лихвой). Чтобы удобнее было беседовать, я переходил от одного к другому, присаживаясь то здесь, то там. Говорили о политике. Для полноты счастья после ужина приятно бывает подумать о бедственных наших временах. Все эти господа слонали о дороговизне, о трудности жизни, о том, что Франция разоряется, что нация опускается, жаловались на правителей, на народных грабителей. Но вполне прилично. Никого не называли лично. У великих мира уши великие; чего доброго, вот-вот — и просунется кончик в дверь. Но так как истина, коварная девчонка, обитает на дне бочонка, то наши приятели, набравшись смелости, начали прохаживаться насчет тех из наших владык, кто был подальше. Особенно обрушивались на итальянцев, на Кончини, на эту вошь, которую флорентийская толстуха, королева, завезла к нам в своих юбках. Если случится дело такое, что две собаки стянут у тебя жаркое, причем одна из них чужая, а другая своя, то свою турнешь, а чужую убьешь. Из чувства справедливости, из духа противоречия я заявил, что наказать следовало бы не одну собаку, а обеих, что послушать людей, так во Франции никаких других болезней и нет, кроме итальянской, что у нас достаточно, видит бог, и своих недугов и своих пройдох. На что все в один голос ответили, что один итальянский пройдоха стоит троих и что трое честных итальянцев не стоят и трети одного честного француза. Я возразил, что, здесь или там, люди повсюду подобны скотам, а скотам цена везде одна; что хорошего человека, откуда бы он ни был, приятно видеть и грех обидеть; что такой человек мне друг дорогой, будь он итальянец или кто другой. Тут все на меня накинулись, издеваясь, говоря, что

¹ Baiselat созвучно с «baise-la» (фр.) — поцелуй ее. — Прим. перев.

вкус мой всем известен, и называя меня старым чудачком, Брюньоном-непоседой, пилигримом, скитальцем, натиральщиком дорог... Оно правда, в былое время я этим занимался достаточно. Когда наш добрый герцог, отец теперешнего, послал меня в Мантую и Альбиссолу изучать эмали, фаянс и художественные промыслы, которые мы затем насадили на нашей земле, я не жалел ни дорог, ни собственных ног. Весь путь от святого Мартына до святого Андрея Мантуанского я проделал с палкой в руке, пешком. Приятно видеть, как у тебя под ступнями тянется земля, и разминать миру бока... Но об этом лучше не думать; а не то я пушусь опять... Им смешно! Что поделаешь, я галл, я потомок тех, кто грабил вселенную. «Что же ты награбил? — спрашивают меня и смеются. — И что ты с собой принес?» — «Не меньше, чем они. Полные глаза. Пустые карманы, это верно. Но набитую голову...» Господи, как хорошо бывает видеть, слышать, вкушать, вспоминать! Все увидеть и все узнать — нельзя, я знаю; но хотя бы все, что возможно! Я — как губка, сосущая Океан. Или, скорее, я пузатая гроздь, спелая, полная до отказа чудесным соком земли. Какое вино получится, если ее выжать! Дудки, дети мои, я его выпью сам! Вы им пренебрегаете. Что ж, тем лучше для меня. Упрашивать я не стану. Было время, мне хотелось поделиться с вами крупницами счастья, которое я собрал, всеми моими прекрасными воспоминаниями о лучезарных странах. Но люди у нас не любопытны, разве что насчет дел соседа или, особенно, соседки. Все остальное слишком далеко, чтобы этому верить. Ступай смотреть сам, если тебе не в труд. С меня довольно того, что тут. «Спереди дыра, сзади дыра, побывавши в Риме, не наживешь добра». Ну и отлично! Говорите, что хотите, я никого не неволю. Раз вам этого не нужно, я буду хранить виденное у себя под веками, в глубине глаз. Не следует принуждать людей к счастью силком. Лучше быть счастливым вместе с ними, на их лад, а потом на свой. Два счастья дороже, чем одно.

Поэтому, зарисовывая украдкой рыльце Делаво, а заодно и кюре, который, разговаривая, хлопает крыльями, я слушаю и подпеваю их песенке, хорошо мне известной: «Какое счастье, боже в небеси, быть гражданином города Кламси!» Еще бы, как же иначе? Это хороший город. Город, создавший меня, не может быть плох. Человеческий куст в нем растет свеж и густ, жирен и мирен, без колючек, не злой, разве что на язычок, который у нас острехонек. А если и позлословишь про ближнего (каковой ответствен за тем же), то от этого ему хуже не будет, а любишь его только крепче и не тронешь на нем ни волоска. Делаво напоминает нам (и мы гордимся, все, даже кюре) о спокойной иронии нашего Неверского края

посреди безумств всей остальной страны, о том, как наш старшина Рагон отказался примкнуть к Гюизам, к лиге, к еретикам, к католикам, к Риму и Женеве, к бешеным псам и хищным рысям и как Варфоломеевская ночь умывала у нас свои окровавленные руки. Сплотясь вокруг нашего герцога, мы образовали островок здравого смысла, о который разбивались волны. Покойный герцог Людовик и блаженной памяти король Генрих, о них невозможно говорить без умиления! Как мы любили друг друга! Они были созданы для нас, мы были созданы для них. У них были свои недостатки, разумеется, как и у нас. Но эти недостатки были человечесны, они делали их ближе к нам, не такими далекими. Люди говорили, посмеиваясь: «Герцог Неверский — повеса зверский!» или: «Год будет урожайный. Ребят будет вдоволь. Король нам еще одного подарил...» Ах, поели мы тогда весь наш белый хлеб! Потому мы и любим поговорить о тех временах. Делаво, как и я, знавал герцога Людовика. Но короля Генриха видел я один и пользуюсь этим, и, не дожидаясь, пока меня попросят, я им рассказываю в сотый раз (для меня это всякий раз — первый, да и для них, надеюсь, если они добрые французы), как я его видел, серого короля, в серой шляпе, в сером платье (локти торчали из дыр), верхом на серой лошади, сероволосого и сероглазого, снаружи все серо, а золотое нутро...

К несчастью, письмоводитель господина нотариуса перебивает меня, чтобы сообщить ему, что умирает клиент и зовет его. Он должен идти, хоть и весьма сожалеет, — но все-таки сначала награждает нас историйкой, которую готовил уже целый час (я видел, что она вертится у него на языке; но раньше я вставил свою). Не стану спорить, его рассказец был хорош, я очень смеялся. По части побасенок Делаво бесподобен.

Прояснив таким образом ум и взгляд, освежившись и промывшись от глотки до пят, мы вышли все вместе. (Было, должно быть, без четверти пять или около пяти. За три каких-нибудь часа я подцепил, кроме двух хороших обедов и веселых воспоминаний, заказ на два баула, которые просил меня сделать нотариус.) Компания разбрелась, предварительно обмакнув сухарик в рюмку черносмородинной у Ратри, аптекаря. Тут Делаво досказал свою историйку и проводил нас, чтобы послушать еще одну, до Мирандолы, где мы расстались уже окончательно, учинив коротенькую стоянку лицом к стене, чтобы дать ход последним излипаниям.

Так как возвращаться домой было слишком поздно и слишком рано, то я спустился в Вифлеем с неким угольщи-

ком, который шел рядом со своей повозкой, трубя в рожок. Возле башни Лурдо навстречу мне попался тележник, который бежал, гоня перед собой колесо; и, когда оно замедляло ход, он подпрыгивал и подгонял его ногой. Словно человек, догоняющий колесо Фортуны; и как только он собирается на него вскочить, оно убегает. Я заметил этот образ, чтобы его использовать.

Тем временем я раздумывал о том, как мне лучше возвратиться в мой дом, прямым или кружным путем, как вдруг увидел выходящую из Пантенора¹ процессию, возглавляемую крестом, который нес, подпирая его животом, словно копье, сорванец ростом с мою ногу, показывая язык второму служке и косясь на кончик своей священной палки. Следом четыре старика с красными и вздутыми руками несли, семеня ногами, усопшего, накрытого простыней, который отправлялся, под крылышком кюре, досыпать свой сон в сырой земле. Из вежливости проводил его и я до его жилья. Все-таки веселей, когда ты не один. Должен сознаться, что присоединился я отчасти, чтобы послушать вдову, которая, как водится, шла рядом со священником, вопя, повествуя о том, как покойник хворал, какие принимал лекарства и как помирал, излагая его достоинства повседневные, его качества телесные и душевные,— словом, всю его жизнь и жизнь его благоверной. Ее элегия чередовалась с песнями кюре. Мы шли за ними следом, любопытствуя: ибо понятно само собой, что по пути к нам примыкали, чтобы посочувствовать, добрые души и, чтобы послушать, многие уши. Наконец, прибыв на место назначения, к гостинице тихого упокоения, его поставили в гробу у края разверстой ямы; а так как нищим строгий запрет деревянную рубашку уносить на тот свет (спать не хуже и нагишом), то, сняв простыню и крышку, его вытряхнули в дыру.

Бросив туда ком земли, чтобы заправить ему постель, и осенив его крестным знаменем во ограждение от дурных снов, я удалился вполне удовлетворенный: все-то я видел, все-то я слышал, принял участие в радостях, принял участие в горестях; моя котомка была полна.

В обратный путь я двинулся берегом. Я рассчитывал, выйдя к слиянию рек, пойти вдоль Беврона прямо домой; но вечер был такой чудесный, что, сам того не заметив, я очутился за городом и направился вдоль чаровницы Ионны, которая завлекла меня до ущелья Ла Форе. Спокойная и гладкая вода струилась без единой складки на своем светлом платье; зрочки не могли оторваться, словно рыба, проглотив-

¹ Больница. — Р. Р.

шая крючок; и небо, подобно мне, было захвачено неводом реки; оно купалось в ней со всеми своими облаками, которые цеплялись, плывя, за травы, за камыши; и солнце омывало в воде свои золотые волосы. Я подсел к старику, который стерег, волоча ногу, двух тощих коров; я осведомился о его здоровье, посоветовал ему надевать на ногу чулок, набитый колючей крапивой (я на досуге занимаюсь врачеванием). Он рассказал мне свою жизнь, свои беды и печали, все это весело; видимо, обиделся, что я дал ему лет на пять меньше, чем ему было на самом деле (а было ему семьдесят пять); этим он гордился, ему льстило, что, прожив дольше других, он больше других претерпел. Ему казалось естественным, чтобы человек терпел, чтобы хорошие страдали вместе с плохими, потому что зато милость небесная расточается равномерно и на плохих и на хороших; таким образом, в конечном счете все одинаково, все хорошо; богатые и бедные, красивые и безобразные, все однажды мирно уснут в объятиях того же отца... И его думы, его голос, трескучий, как сверчки в траве, журчание плотины, запах дерева и дегтя, доносившийся с ветром от пристани, недвижно бегущая вода, красивые отсветы — все сочеталось и сливалось с вечерней тишиной.

Старик ушел, я двинулся домой один, не торопясь, разглядывая круги, вращавшиеся на воде, и заложив руки за спину. Я был настолько поглощен всеми образами, которые струились вдоль Беврона, что не замечал ни где я, ни куда иду; так что внезапно вздрогнул, услышав, как меня окликают с того берега хорошо знакомый голос. Я, сам того не заметив, оказался напротив собственного моего дома! Из окна моя нежная подруга, моя жена, показывала мне кулак. Я притворился, что не вижу ее никак, уставившись глазами в воду; и в то же время, потешаясь, наблюдал, как она неистовствует и машет руками, вниз головой, в зеркале реки. Я молчал; но животом своим смеялся, и живот у меня содрогался. Чем сильнее я хохотал, тем возмущеннее она ныряла в Беврон, и чем глубже она в него кувыркалась, тем сильнее я хохотал. Наконец, она яростно хлопнула окном и дверью и вылетела, как ураган, чтобы мной завладеть... Да, но ей надо было перейти реку. Слева? Справа? Мы были промеж двух мостов... Она выбрала пешеходные мостки, справа. А я, естественно, когда увидел, что она направилась этим путем, двинулся противоположным и вернулся через большой мост, где одинокий Гаден, как цапля, все еще стойчески торчал с утра.

Я был дома. Уже наступила ночь. И как это проходят дни? Я, слава богу, не похож на Тита, на этого римского бездельника, который вечно охал о потерянном времени. Я не теряю ничего, я своим днем доволен, я его зарабатываю. Но только

мне бы нужно два дня, два дня каждый день; а то мне не хватает. Чуть я начинаю пить, как стакан уже и пуст; он с трещиной! Я знаю людей, которые прихлебывают себе и кончить не могут. Или, чего доброго, у них стакан больше моего? Вот уж это была бы вопиющая несправедливость! Эй ты там, шинкарь под вывеской Солнца, ты, который разливаешь дни, отпусти мне полную меру!.. Да нет, благословен ты, господи, судивший мне вставать из-за стола всякий раз несатым и до того любить день (ночь тоже хороша), что и ночи и дня мне всегда мало!.. Как ты бежишь, апрель! Уже ты и кончен, день! Ничего! Я вас вполне вкусил, вы были моими, в моих руках. И я целовал твои маленькие грудки, девчурка тоненькая, дочурка стройненькая весны... А теперь, ночь, здравствуй и ты! Я беру тебя. Всякой свой черед! Мы ляжем вместе... Ах, черт, ведь между нами ляжет еще одна... Вернулась старуха, моя жена...





Май

ому три месяца, мне заказали шкаф с большим поставцом, для замка Ануа; но, прежде чем начать, я хотел взглянуть еще раз своими глазами на дом, на комнату, на место. Ибо красивая мебель — это как шпалерный плод; без дерева он не растет; и каково дерево, таков и плод. Не говорите мне о красоте,

которая уживается везде, которой хорошо и там и тут, как девке, если ей больше дают. Это площадная Венера. Для нас искусство нечто родное, гений очага, друг, товарищ: оно высказывает лучше, чем мы сами, то, что все мы чувствуем; искусство — это наш домашний бог. Чтобы его знать, надо знать его дом. Бог создан для человека, а произведение искусства для пространства, которое оно завершает и наполняет. Прекрасно то, что на своем месте всего прекраснее.

Итак, я пошел взглянуть на место, где бы я мог водрузить мою работу; и там я провел часть дня, включая еду и питье: ибо ради духа не должно забывать брюха. Обоих ублажив, я двинулся в обратный путь и весело шагал домой.

Я был уже у перекрестка, и, хоть и не сомневался насчет пути, каким мне следовало идти, я все-таки косился на другую дорогу, струившую в лугах свою красоту, между изгородей в цвету...

«Как было бы хорошо, — говорил я себе, — пройтись в эту сторону! К черту большие дороги, которые ведут прямо к цели! День долог, ясен небосклон. Мой друг, не будем гнать быстрее, чем Аполлон. Поспеем. У нашей старухи язык от ожидания не отнимется... Боже ты мой, как миловидно это сливовое деревце с белой мордочкой! Пойдем к нему навстречу. Всего каких-нибудь пять-шесть шагов. Зефир разносит по воздуху его перышки: точно снег. Сколько щебечущих птиц! Ах, какое блаженство!.. И этот ручей, что скользит, мурлыкая, под травой, словно котенок, который, играя, гоняет клубок по ковру!.. Идем за ним следом. Вот древесная занавесь преграждает ему бег. Сейчас он попадетсся... Ишь ты, плутишка, как же это он проскользнул? Да вот тут, вот тут, промеж лап, промеж старых, узлистых, распухших лап этого

обезглавленного вяза. Вот пролаза!.. Но хотелось бы знать, куда эта дорога меня заведет...»

Так я рассуждал, следуя по пятам за моей болтливой тенью, и притворялся, лицемер, будто не знаю, куда нас хочет завлечь эта приманчивая тропинка. Как ты складно лжешь, Кола! Хитроумнее Улисса, ты морочишь сам себя. Ты отлично знаешь, куда идешь! Ты это знал наперед, уже выходя из замковых ворот. В часе ходьбы отсюда — ферма Селины, нашей бывлой кручины. Вот мы ее удивим! Но только кто из нас, она или я, будет больше удивлен? Уже столько лет я ее не видал! Что-то осталось от ее шустренькой рожицы, от лукавой гримасочки моей Ласочки? Я могу смело перед ней предстать; теперь уже нечего бояться, чтобы она изгрызла мне сердце своими острыми зубками. Сердце мое ссохлось, как старая лоза. Да есть ли у нее и зубы-то? Ах, Ласочка, Ласонька, в былые дни как умели смеяться и кусаться они! И потешалась же ты над бедным Брюньоном! И вертела же, и крутила же ты им, ой-ой, волчком, ходуном, колесом, как юлой! Что ж, если это тебя забавляло, милая моя, ты была права. И баранья же я был голова!..

Я вижу самого себя, как я стою, разинув рот, облокотясь обеими руками о каменный забор мэтра Медара Ланьо, моего хозяина, научившего меня благородному искусству ваяния. А по ту сторону забора, по большому огороду, смежному со двором, который служил нам мастерской, между грядок латука и клубники, розовых редисок, зеленых огурцов и золотистых дынь, расхаживала, с босьми ногами, с голыми руками и с полуобнаженной грудью, наряженная всего лишь в тяжелые рыжие косы, в рубашку из сурового полотна, под которой торчали ее крепкие груди, и в короткую юбку, доходившую до колен, красивая, бойкая девушка, наклоняя смуглыми и сильными руками две лейки, полные воды, над курчавыми головами растений, разевавших свои маленькие клювы, чтобы пить. А я, обомлев, разевал мой немалый клюв, чтобы лучше видеть. Она ходила взад и вперед, опоражнивала лейки, возвращалась к цистерне, наполняла их снова, обе разом, выпрямлялась, как тростинка, и опять осторожно ступала вдоль узких тропок, по сырой земле, своими смышленными ногами с длинными пальцами, которые словно ошупывали на ходу спелую землянику, всю в меду. Колени у нее были круглые и сильные, как у мальчишки. Я пожирал ее глазами. Она словно не замечала, что я на нее гляжу. Но подходила все ближе и ближе, струя свой легкий дождь; и, очутившись совсем вблизи, вдруг стрельнула в меня своим глазом... Ай-ай, я так и чувствую крючок и тесные петли окрутивших меня сетей. Правду говорят: «бабий зрачок, что

паучок!» Чуть она меня задела, я заметался... Да уж поздно! И так и приник я, глупая муха, к забору, с прилипшими крыльями. Она перестала обращать на меня внимание. Присев на корточки, она пересаживала капусту. И только изредка коварная зверюшка украдкой поглядывала в мою сторону, дабы удостовериться, что добгча не ушла из капкана. Я видел, что она посмеивается, и сколько я ни твердил себе: «Мой бедный друг, уходи, она над тобой издевается», но, видя, что она посмеивается, я и сам посмеивался. И дурацкий же, должно быть, у меня был вид! Вдруг она делает прыжок в сторону. Перемахивает через грядку, через другую, через третью, бежит, подскакивает, ловит на лету пушок одуванчика, мягко плывущий по воздушным струям, и, помахивая рукой, кричит, глядя на меня:

— Еще один влюбленный попался!

С этими словами она засунула пушистую лодочку в вырез своей сорочки, между грудей. Я хоть и дурак, да в сердечных делах не такой уж сопляк; я ей сказал:

— Суньте и меня туда!

Тут она расхохоталась и, подбочась, расставив ноги, ответила мне прямо в лицо:

— Полюбуйтесь на этого обжору! Не для тебя, губошлеп, зреют мои яблоки...

Так, однажды, в августовский вечер, я познакомился с нею, с Ласонькой, с Ласочкой, с красивой садовницей. Ласочкой ее звали потому, что, как у той, у остромордой сударушки, у нее было длинное тело и маленькая голова, хитрый пикардийский нос, рот, слегка выступающий вперед и хорошо расщепленный, чтобы смеяться и чтобы грызть сердца и орехи. Но от ее темно-синих глаз, подернутых дымкой солнечного предгрозя, и от уголков ее губ, губ жеманной фавны с жалящей улыбкой, тянулась нить, из которой рыжий паук ткал свою паутину, опутывавшую людей.

С тех пор я проводил половину дня, вместо того чтобы работать, за ротозейством у забора, пока ступня мэтра Медара, поддавая мне в зад без всякой почтительности, не возвращала меня к действительности. Иной раз Ласочка кричала, сердясь:

— Да уж посмотрелся на меня и спереди и сзади! Чего ты еще не видал? Должен бы меня знать уже!

А я, хитро подмигивая глазом, говорил:

— Женщину и арбуз узнаешь на вкус.

Как бы охотно я отрезал себе ломтик! Быть может, меня устроил бы и какой-нибудь другой плод. Я был молод, с горячей кровью, влюблен в одиннадцать тысяч дев; ее ли я любил? Бывают в жизни дни, когда готов влюбиться в козу,

ежели на ней чепец. Нет, полно, Брюньон, ты кощунствуешь, ты сам не веришь тому, что говоришь. Первая, кого любишь, это и есть настоящая, подлинная, та, кого должен был полюбить; ее сотворили светила, чтобы нас утолить. И, должно быть, потому, что я ее не испил, меня мучит жажда, вечная жажда, и будет меня мучить всю жизнь.

И ладили же мы с ней! Мы только и делали, что жучили друг друга. Язычок у нас у обоих был подвешен неплохо. Она осыпала меня поношениями, а я на пригоршню отвечал охапкой. Глазок и зубок у нас были проворные. Иной раз мы сами над собой хохотали до хрипоты. И она, чтобы удобнее было хохотать, выпалив какое-нибудь злое словцо, садилась на корточки, опускаясь, как наседка, на свою репу и лук.

Вечером она приходила беседовать к моему забору. Я до сих пор вижу, как однажды, не переставая говорить и смеяться и смотря мне в глаза своими смелыми глазами, ищущими слабого места в моем сердце, чтобы заставить его вскрикнуть, я вижу, как, подняв руки, она пригибает к себе вишневую ветвь, отягченную алыми подвесками, образующими гирлянду вокруг ее рыжих волос; и, выгнув шею, запрокинув лицо, она, не срывая ягод, отклеивает их от дерева, оставляя висеть косточки. Мгновенный образ, вечный и совершенный, молодость, жадная молодость, сосущая грудь небес! Сколько раз потом я вырезал изгиб этих красивых рук, этой шеи, этой груди, этого алчного рта, этой откинутой назад головы — на створках мебели, среди цветущей вязи! Перегнувшись через забор, протянув руку, я отнял, я вырвал эту ветвь, которую она обгладывала, я прильнул к ней ртом, я жадно вбирал губами влажные косточки.

Встречались мы также и по воскресеньям, на гулянье или у погребка Божии. Мы танцевали; я был грациозен, как жердь; любовь меня окрыляла; любовь, говорят, учит танцам ослят. И, кажется, ни на минуту мы не переставали воевать. Вот уж задира она была! И наслушался же я от нее зубастых шуточек насчет моего кривого носа, насчет моей разверстой пасти, где, по ее словам, можно печь пироги, насчет моей бороды, как у сапожника, и всей этой моей фигуры, которую господин кюре считает созданной по образу и подобию бога, меня сотворившего. (Вот смеху-то будет, когда мы с ним встретимся!) Она не давала мне ни минуты покоя. Впрочем, и я не оставался в долгу.

В конце концов, ей-богу, оба мы начинали распалаться. Помнишь ты, Кола, сбор винограда у мэтра Медара Ланьо? Пригласили и Ласочку. Мы работали с нею рядом, согнувшись меж кустов. Наши головы почти соприкасались, и по временам моя рука, очищая лозу, задевала случайно ее бедро или

ногу. Тогда она поднимала свое раскрасневшееся лицо и лягалась, как молодая кобылица, или мазала меня по носу липкой гроздью; а я брал сочную черную кисть и давил об ее золотистую грудь, опаленную солнцем... Она защищалась, как чертовка. Как я ни преследовал ее, мне так и не удавалось застигнуть ее врасплох. Оба мы подстерегали друг друга. Она сама раздувала огонь и смотрела, как я горю, поддразнивая меня:

— Ты меня не получишь, Кола...

А я, с невинным видом, примостясь на своем заборе — жирный кот, свернувшийся в клубок, который прикидывается спящим и сквозь узкие щелки приоткрытых век следит за танцующей мышкой, — я заранее облизывался.

— Посмотрим, кто из нас посмеется!

И вот однажды днем (это было как раз в мае), в самом конце месяца (но тогда было куда жарче, чем сейчас), зной стоял изнуряющий; белое небо веяло на нас своим жгучим дыханием, как печная пасть; и, засев в этом гнезде почти уже с неделю, гроза высиживала свои яйца, которые всё не желали лопнуть. Можно было растаять от жары; рубанок был весь мокрый, а сверло прилипало к рукам. Ласочка только что пела и вдруг замолкла. Я стал искать ее глазами. В саду никого... И вдруг я ее увидел там, в тени шалаша, сидящую на ступеньке. Она спала, с открытым ртом, откинув голову, на пороге. Одна ее рука повисла рядом с лейкой. Сон сразил ее сразу. Она отдавалась беззащитно, всем своим простертым телом, полунагая и сгорая под пламенным небом, как Даная! Я счел себя Юпитером. Я перелез через забор, я прошел по грядкам, давя капусту и салат, я обнял ее обеими руками, я поцеловал ее прямо в губы; она была горячая и обнаженная и влажная от пота; она не сопротивлялась, полусонная, переполненная желанием; она не открывала глаз, и ее рот искал мой рот и отвечал на мои поцелуи. Что произошло со мной? Какая странность! Поток страсти бушевал в моих жилах; я был пьян, я сжимал это влюбленное тело; добыча, о которой я мечтал, жареный жаворонок падал мне прямо в рот... И вот (дурак!) я не посмел ее взять. Какая-то глупая совесть во мне проснулась. Я слишком ее любил, мне было больно думать, что она окована сном, что со мною ее тело, но не душа, что моей гордой садовницей я овладею предательски. Я оторвался от счастья, я разомкнул наши руки, наши губы и все те узы, которые нас оплели. Это было нелегко: мужчина — огонь, женщина — пакля, мы оба пылали, я дрожал и пыхтел, как тот другой дурак, который победил Антиопу. Наконец, я восторжествовал, то есть убежал. Тридцать пять лет спустя я краснею при мысли об этом. Ах, глупая молодость!.. Как

хорошо думать, что был так глуп когда-то, как это освежает сердце!..

Начиная с этого дня, она стала сущей дьяволицей. Причудливее, чем стада три неугомонных коз, изменчивее грез, она то пронзала меня оскорбительным презрением или не желала меня знать, то расстреливала меня томными взорами, вкрадчивым смехом; притаясь за деревом, она целилась в меня украдкой комком земли, который попадал мне в затылок, если я стоял спиной, или — хлоп! — сливовой сточкотой прямо в лоб. А потом на гулянье щebetала, стрекотала и тараторила то с одним, то с другим.

Хуже всего было то, что она вздумала, чтобы еще пуще меня позлить, поймать в силок другого такого же дрозда, моего лучшего приятеля Кириаса Пинона. Мы с ним были, как два пальца на одной руке. Как Орест и Пилад, на всех драках, свадьбах и пирушках мы выступали всегда вдвоем, упражняясь глоткой, ногой и кулаком. Он был узловат, как дуб, коренаст, крепок телом и головой, на слово скор, в деле спор. Он убил бы всякого, кто вздумал бы меня обидеть. Его-то как раз она и выбрала, чтобы мне досадить. Это ей не стоило особого труда. Достаточно было двух-трех пронзительных взглядов да полудюжины обычных ужимок. Облечься видом невинным, томным, дерзким, рассмеяться, пошутничать, пожеманничать, пошуриться, соорудить глазки, показать зубки, покусать губки или облизнуть их острым язычком, изогнуть шейку, повертеть талией да подрыгать хвостиком, как трясогузка, — кого из сынов Адама не подцепят крючочки змеевой дочки? Пинон лишился и последнего разума. И с тех пор, взгромоздясь на забор, сопя и пыхтя, мы вдвоем сторожили Ласочку. Не разжимая зубов, мы уже обменивались яростными взглядами. А она раздувала огонь и, чтобы его раззадорить, обдавала его иной раз ушатом ледяной воды. Хоть я и злился, а при такой поливке хохотал. Но Пинон, как истая лошадь, бил копытами землю. Он ругался, чертыхался, рвал и метал. Он был неспособен понять шутку, если это была не его собственная (а в таком случае никто, кроме него, ее не понимал; но сам он смеялся ей за троих). А красотка, как муха на меду, наслаждалась, упиваясь этой любовной бранью; его грубая повадка была не похожа на мою; и хотя эта лукавая дочь галльской земли, хохотушка и резвушка, была гораздо ближе мне, чем этому скоту, который ртачился и ржал, брыкался и вонял, но для разнообразия, из любви к новизне и чтобы насолить мне, она ему одному дарила обещающие взгляды, манящие улыбки. Когда же требовалось исполнить обещанное и расходившийся дурак уже собирался трубить победу, она смеялась ему в глаза и оставляла его ни с чем.

Я, разумеется, смеялся тоже; и раздосадованный Пинон обращал свою ярость на меня; ему казалось, что я у него отбиваю его кралю. Дошло до того, что однажды он попросту меня попросил уступить ему место. Я кротко ответил:

— Брат, я как раз собирался попросить тебя о том же.

— В таком случае, брат,— сказал он,— придется нам пробить друг другу башку.

— Я и сам так думал,— ответил я,— но только, Пинон, это мне тяжело.

— А мне еще тяжелее, мой Брюньон. Так уходи, пожалуйста; хватит одного петуха на курятник.

— Верно,— сказал я,— уходи сам: потому что курица моя.

— Твоя?— закричал он.— Врешь, мужик, деревенщина, простоквашник! Она моя, я ее не отдам, никто другой ее не отведаст.

— Мой бедный друг.— говорю,— ты бы лучше на себя взглянул! Овернская рожка, репоглот, всякому своя похлебка! Этот бургундский пирожок—наш; он мне по вкусу, мне его хочется. На твою долю ничего нет. Ступай откапывать свою брюкву.

Грозилась, грозилась, дошли до кулаков. Все же нам было жаль, потому что мы друг друга очень любили.

— Послушай,— сказал он,— оставь ее мне, Брюньон, она предпочитает меня.

— Нет, говорю, меня.

— Ну, так спросим ее. Отставленный уйдет.

— По рукам! Пусть выбирает!..

Да, но извольте требовать от девицы, чтобы она выбрала. Она находит слишком большое удовольствие в том, чтобы растягивать ожидание, которое позволяет ей мысленно взять и того и другого, и не взять ни одного, и ворочать своих воздыхателей на жаровне и так и этак. Она всегда увильнет! Когда мы заговаривали об этом с Ласочкой, она хохотала в ответ.

Мы вернулись в мастерскую, скинули куртки.

— Ничего другого не остается. Придется одному из нас поколеть.

Когда мы уже собрались вцепиться друг в друга, Пинон сказал мне:

— Чмокни меня!

Мы дважды облобызались.

— Теперь начнем!

Пляс начался. Пустились мы в него не на шутку. Пинон дубасил меня так, что череп налезал на глаза; а я высаживал ему живот коленками. Нет злейших врагов, чем друзья. Через несколько минут мы были все в крови; и алые струйки, как

старое бургундское, текли у нас из носу. Право, не знаю, как бы все это обернулось; но только, наверное, один из нас содрал бы с другого шкуру, если бы, по счастью, всполошившиеся соседи и мэтр Медар Ланьо, как раз вернувшийся домой, не розняли нас. Это далось им нелегко: мы были, как псы; нас пришлось стегать, чтобы мы выпустили друг друга. Мэтр Медар взял длинный бич: он нас отхлестал, надавал затрепшин, потом отчитал. Поколотишь бургундца — он умнеет. Надравшись вдоволь, становишься философом и легче внемлешь разумным речам. Взирали мы друг на друга без особенной спеси. И вот тут-то и втерся третий вор.

Толстый мельник, бритый и рыжий, Жан Жифлар, голова как шар, щеки надутые, глазенки маленькие, у него был всегда такой вид, точно он трубит в трубу.

— Ну и петухи! — сказал он, прыская со смеху. — Много они выиграют, когда из-за этой курицы изорвут друг другу гребешки в клочки! Простофили! Да разве вы не видите, что она рада-радешенька, когда вы грызетесь? Еще бы, всякой сударушке приятно таскать за собой в подоле влюбленное стадо, которое скалитесь на ее кожу... Хотите добрый совет? Даю вам его даром. Помиритесь и плюньте на нее, дети мои; она на вас плюет. Поверните ей спину, и в путь-дорогу оба. Пусть поскучает. Придется ей, наконец, волей-неволей выбирать, и тогда мы увидим, кого из вас она хочет! Ну, живо, марш! Только не мешкать! Делать, так сразу! Смелее! Послушайте меня, добрые люди! Пока вы будете шаркать пыльными башмаками по французским дорогам, я останусь тут, приятели, я останусь тут, вам же на пользу: брат брату должен помогать! Я буду следить за красавицей, я буду вас осведомлять об ее сетованиях. Как только она выберет, я дам знать счастливицу; а другой пусть идет хоть на виселицу... А засим идемте выпьем! Выпьешь раз, выпьешь вновь, утопишь жажду, память и любовь...

Мы их утопили так основательно (пили мы, как сапоги), что в тот же вечер, выйдя из кабака, увязали узелки, взяли в руки посошки; и пошли себе в потемках, дураки, торжествуя, как индюки, преисполненные благодарности к этому доброму Жифлару, который посмеивался своими глазенками под жирными веками, раздуваясь от удовольствия во всю ширь своей образины, сочной, как кусок свинины.

На следующее утро мы торжествовали уже меньше. Мы в этом не сознавались, мы прикидывались хитрецами. Но всякий ломал себе голову и отказывался понять эту удивительную тактику: чтобы взять крепость, — улепетнуть. Чем выше катилось солнце в круглом небе, тем яснее нам становилось, что мы опростоволосились. Когда наступил

вечер, мы искоса поглядывали друг на друга, непринужденно беседовали о том о сем и думали:

«Мой милый друг, как ты складно говоришь! Однако же ты, видимо, не прочь улизнуть. Но только дудки! Я тебя слишком люблю, мой брат, чтобы отпустить тебя одного. Куда бы ты ни пошел (я знаю, маска, знаю...), я за тобой».

После многих тщетных попыток отлучиться (мы уже не расставались, даже когда шли мочиться), посреди ночи, — мы притворно храпели, снедаемые на сеннике любовью и блохами, — Пинон вскочил с постели и завопил:

— Тысяча богов! Я горю, я горю! Я больше не могу! Я иду обратно...

Я сказал:

— Идем обратно.

Шли мы домой целый день. Солнце садилось. В ожидании темноты мы притаились в лесу Марше. Мы не очень-то жаждали, чтобы узнали о нашем возвращении: нас подняли бы на смех. А потом хотелось застать Ласочку горюющей, одинокой, плачущей и корящей себя: «Увы, мой друг, мой друг, зачем ты удалился?» В том, что она грызет себе пальцы и вздыхает, мы не сомневались: но кто был этим другом? Каждый отвечал:

— Я

И вот, прокравшись бесшумно вдоль ее сада (глухое беспокойство покалывало нам грудь), под открытым окном, залитым луной, на яблонной ветке мы увидели висящим... Вы думаете — что? Яблоко?.. Мельников колпак!.. Рассказывать вам, что было дальше? Милые мои, вам было бы слишком весело. Я уже вижу, шутники, как вы ухмыляетесь. Несчастье ближнего — для вас забава. Рогачи всегда рады, когда прибывает их полку...

Кириас рванулся и прынул, как олень (недаром он был рогат). Ринулся к яблоне с мучнистым плодом, вскарабкался по стене, нырнул в комнату, откуда тотчас же понеслись крики, визг, телячий рев, проклятия...

— Черт, дьявол, сатана, караул, режут, помогите, рогач, подлец, брюхач, наглец, жаба, шляха, потаскуха, дерьмо, мужлан, бельмо, болван; я тебе уши обкорнаю, я тебе кишки выпущу, я тебе покажу, где раки зимуют, я тебе зад растворожу, получи в клистирную рожу!..

И заушины и затрещины... Бац! Хлоп! Трах! Тарарах! Стекла и горшки — вдребезги, в куски, вещи грохочут, люди топчут, девичий крик и львиный рык... При этой адской музыке (дудите, музыканты!) вы сами понимаете, как всполошилась вся округа!

Я не стал дожидаться, чем это кончится. Я видел достаточно. Я пошел той же дорогой, по которой пришел, смеясь одним глазом, плача другим, не зная, повесить нос или его задрать.

— Ничего, Кола,— говорил я себе,— ты счастливо отделался!

И все же Кола грустил в сердечной глубине, что не оставил шкуру в этой западне. Я силился шутить, я припоминал весь этот кавардак, передразнивал то одного, то другого, мельника, девицу, осла, а боль от тяжких вздохов всю душу мне рвала.

— Ой-ой, как это весело! Как это печально! Ах, я умру от смеха... Нет, от тоски. Ведь чуть было эта мошенница не запрягла меня в невзрачные оглобли брачные! И отчего она этого не сделала! Отчего я не обманутый муж! По крайней мере она была бы моей! Ведь разве так уж плохо таскать в упряжке то, что любишь!.. Далила! Далила! Ай-люли, могила!

И так вот целых две недели я не знал, за что приняться: начать ли хныкать, или начать смеяться. Моя перекошенная физиономия воплощала в себе всю античную мудрость, и слезливого Гераклита, и смешливого Демокрита. Но люди бессердечно смеялись мне в глаза. Иной раз, думая о своей милой, я готов был погибнуть. Но это быстро проходило. К счастью!.. Любить — прекрасно; но, ей-богу, друзья мои, нельзя же любить до смерти! Это хорошо для Амадисов и Галаоров! Мы у себя, в Бургундии, не герои романов. Мы живем, живем. Когда нас рожали, нас не спрашивали, угодно ли это нам, никто не осведомлялся, желаем ли мы жить; но раз уж мы тут, черт возьми, я остаюсь. Миру мы нужны... Если не он нам нужен. Хорош он или плох, а только, чтобы мы его покинули, нас надобно выставить вон. Раз вино на столе, приходится пить. А выпив, извлечем новое из наших грудастых косоголов! Некогда помирать, ежели ты бургундец. А что до страданий, то это мы делаем (можете не гордиться) не хуже вашего. Месяца четыре или пять я страдал, как пес. Но время в конце концов перевозит нас через реку, и бремя наших горестей остается на том берегу. Теперь я себе говорю:

— Это все равно, как если бы она была моей...

Ах, Ласочка, Ласонька!.. Все ж таки моей она не была. И никто другой, как эта жирная колбаса, Жифлар, мучной мешок, дынная рожа, ею владеет, ею греет, и лелеет, Ласочку, тридцать с лишним лет... Тридцать лет!.. Его аппетит, надо думать, поубавился! Мне говорили, он у него пропал на следующий же день после свадьбы. Для этого обжоры проглоченный кус теряет вкус. Если бы не кавардак, который помог обнаружить голубчика в теплом гнездышке (ах, этот горлан Пинон!), никогда бы наш блюдолиз не дал

продеть свой толстый палец в тесный перстенок... Ио, Гимен, Гименей! Славно попался, ей-ей! Еще лучше попалась его половинушка: у сердитого мельника всегда виновата скотинушка. А всех лучше, мои друзья, попался я. Итак, Брюньон, посмеемся (все трое этому виной) над ним, над ней и над мной...

И вот, посмеиваясь, я заметил в двадцати шагах от себя, за поворотом дороги (неужто я проболтал целых два часа, великие боги!), дом с красной крышей и зелеными ставнями, которому виноградная лоза, извилистая, как змея, прикрывала белый живот своими стыдливými листьями. А перед открытой дверью, в тени орешника, над каменным водоемом, где текла светлая вода, наклонившуюся женщину, которую я сразу узнал (а меж тем я не видел ее уже года). И у меня подкосились ноги.

Я чуть было не повернул обратно. Но она меня заметила и, доставая воду из источника, смотрела на меня. И вот я увидел, что и она тоже меня вдруг узнала... О, она ничего при этом не выказала, она была чересчур горда; но ведро, которое она держала, выскользнуло у нее из рук в водоем. И она сказала:

— Вот господин, которому не к спеху... Да ты не торопись.

Я ей отвечаю:

— А что, ты разве меня ждала?

— Вот еще! — говорит. — Стала бы я о тебе думать!

— По правде сказать, — говорю я, — это совсем, как я. А все ж таки я очень рад.

— Да и мне ты не мешаешь.

Так мы стояли друг против друга, она с мокрыми руками, я без куртки; мы переминались с ноги на ногу и смотрели друг на друга, и у нас не хватало даже силы друг друга увидеть. В глубине колодца ведро продолжало захлебываться.

Она мне сказала:

— Так заходи же, ведь время у тебя есть?

— Минуты две найдется. Я, собственно, спешу.

— По виду никто бы не сказал. Что это тебя привело сюда?

— Меня? Ничего, — заявил я самоуверенно, — ничего. Я прогуливаюсь.

— Ты, верно, очень богат? — сказала она.

— Богат, если не деньгами, так фантазией.

— Ты ни чуточки не изменился, — сказала она, — все такой же сумасброд.

— Если кто сумасброд, тот таким и умрет.

Мы вошли во двор. Она прикрыла за собой ворота. Мы были одни, посреди кудахчущих кур. Работники все были в

поле. Чтобы что-нибудь сделать, а отчасти по привычке, она сочла нужным пойти запереть, а может быть, и отпереть (я уж не помню) дверь у гумна, побранив на ходу Медора. А я, чтобы придать себе непринужденный вид, начал говорить об ее доме, о цыплятах, о голубях, о петухе, о собаке, о кошке, об утках, о свинье. Я бы перебрал, не перебей она меня, весь Ноев ковчег. Вдруг она сказала:

— Брюньон!

У меня захватило дух. Она повторила:

— Брюньон!

И мы взглянули друг на друга.

— Поцелуй меня,— сказала она.

Я не заставил себя просить. В такие годы это никому не вредно, если только не очень полезно. (А полезно оно всегда.) Когда я почувствовал у моих щек, у моих старых, шершавых щек, ее старые, измятые щеки, у меня засвербило в глазах от желания плакать. Но я не заплакал, я не так глуп! Она мне сказала:

— Ты колючий.

— Ей-богу,— сказал я,— если бы сегодня утром мне сказали, что я буду тебя целовать, я бы побрился. Борода у меня была помягче тридцать пять лет назад, когда мне хотелось, а вам ни-ни, когда мне хотелось, мой дружок, коснуться ею ваших щечек.

— Так ты об этом вспоминаешь до сих пор?— сказала она.

— Нет, я об этом никогда не вспоминаю.

Мы посмотрели друг на друга смеясь, выжидая, кто первый опустит глаза.

— Гордец, упрямец, лошачья головушка, до чего ты был на меня похож!— сказала она.— Но только, серый ослик, ты не хочешь стариться. Конечно, Брюньон, мой друг, ты не похорошел, вокруг глаз у тебя морщинки, нос у тебя раздался вширь. Но так как ты никогда в жизни не был красавцем, то тебе нечего было терять, и ты ничего и не потерял. Даже ни единого волоска, я готова ручаться, эгоист ты этакий! Разве только, что седина проступила кое-где.

Я сказал:

— Глупая голова, сама знаешь, не сивеет.

— Негодники вы, мужчины, вы себе не любите портить кровь, вам все нипочем. А мы, мы старимся, мы старимся за двоих. Посмотри на эту развалину. Увы, увы! Это тело, такое упругое, которое так отраднo было видеть и еще отраднее было ласкать, эта шея, эти груди, этот стан, эта кожа, эта плоть, вкусная и плотная, как молодой плод... где они и где я? Куда я девалась? Разве узнал бы ты меня, если бы встретился со мною на рынке?

— Среди всех женщин на свете,— сказал я,— я бы тебя узнал с закрытыми глазами.

— С закрытыми— да, а с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щеки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос, который сплюснулся, как лезвие ножа, на эти красные глаза, на эту дряблую шею, на этот обвисший бурдюк, на этот безобразный живот...

Я сказал (я отлично видел и сам все то, о чем она говорила):

— Птичка-невеличка всегда молодичка.

— Так ты ничего не замечаешь?

— У меня глаза хорошие, Ласочка.

— Увы, где она, твоя Ласочка, твоя Ласочка?

Я сказал:

— «Ласка, где ты? Ласки нет. Только я заметил след». Она убежала, спряталась, зарылась. Но я ее вижу, вижу ее узкую мордочку и лукавые глазки, которые за мной следят и манят меня в ее норку.

— Ну, в нее-то тебе не пролезть,— сказала она,— можешь быть спокоен. И отрастил же ты себе брюшко, лис! Видно, от любовной печали ты не отоцал.

— Много бы я от этого выиграл! — сказал я.— Печаль нужно питать.

— Так пойдем, покормим младенца.

Мы вошли в дом и сели за стол. Я уж не помню, что япил и ел, душа у меня была занята; но зубы и глотка работали исправно. Облокотясь на стол, она наблюдала за мной; затем спросила шутливо:

— Ты теперь не так удручен?

— Как говорится в песне,— отвечал я:— тело пусто, дух расстроен; а поешь, и дух спокоен.

Ее большой рот, тонкий и насмешливый, молчал; и пока, бахвальства ради, я городил всякую чепуху, наши глаза смотрели друг на друга и думали о прошлом. И вдруг:

— Брюноньон! — сказала она.— Знаешь что? Я тебе никогда этого не говорила. Теперь, когда это уже ни к чему, я могу это сделать. Ведь я любила тебя.

Я сказал:

— Я это знал.

— Ты это знал, негодник! Так отчего же ты мне этого не сказал?

— Стоило мне тебе это сказать, ты бы из духа противоречия ответила: нет.

— А не все ли тебе было равно, если я думала обратное? Что целуют— рот или то, что он говорит?

— Да ведь твой рот, черт возьми, не только говорил. Я кое-что узнал в ту ночь, когда застал мельника в твоей печи.

— Сам виноват,— сказала она.— Печь топилась не для него. Конечно, виновата и я; но зато я и поплатилась. Вот ты все знаешь, Кола, а между тем ты не знаешь, что я его взяла с досады, что ты ушел. Ах, как я на тебя злилась! Я была зла на тебя уже с того вечера (помнишь?), когда ты мною пренебрег.

— Я? — сказал я.

— Ты, висельник, когда ты пришел сорвать меня в моем саду, однажды вечером, когда я уснула, да так и оставил меня висеть на ветке, с презрением.

Я возопил и объяснил ей все. Она сказала:

— Я понимаю. Да ты не старайся так! Глупый человек! Я уверена, что если бы это можно было вернуть...

Я сказал:

— Я поступил бы так же.

— Дурак! — сказала она.— Вот за это-то я тебя и любила. И вот, чтобы наказать тебя, я принялась тебя мучить. Но только я не думала, что ты будешь так глуп и убежишь от крючка (до чего мужчины трусливы!), вместо того чтобы его проглотить.

— Покорнейше благодарю! — сказал я.— Пескарь лаком до наживки, но кишками дорожит.

Посмеиваясь уголками сомкнутых губ, не мигая, она продолжала:

— Когда мне сказали, что ты дерешься с тем другим, с тем другим скотом, которого я даже имени не помню (я полоскала белье на реке; мне сказали, что он тебя убивает), я бросила валец (пльви, челнок!), он поплыл по течению, а я, топчая белье, расталкивая соседок, кинулась босиком, кинулась опрометью, хотела крикнуть тебе: «Брюньон! Да ты с ума сошел? Ты разве не видишь, что я тебя люблю? Много ты выиграешь, если у тебя отхватит один из лучших твоих кусков этот зубастый волк! Я не хочу мужа искалеченного и изувеченного. Я хочу тебя целиком...» Да не тут-то было: пока я разливалась соловьем, наш вертопрах пьянствовал в кабачке, не помнил уже, за что и дрался, и, взявшись с волком под ручку, вместе с ним удрал (ах, трус, трус!), удрал от овечки!.. Брюньон, как я тебя ненавидела!.. Старик, когда я на тебя гляжу, когда я гляжу на нас обоих, сейчас, все это кажется мне смешно. Но тогда, мой друг, я бы с наслаждением содрала с тебя кожу, изжарила бы тебя живьем; но так как наказать тебя я не могла, то я самое себя, потому что я тебя любила, я самое себя наказала. Подвернулся мельник. Со злости я его и взяла. Если бы не этот осел, я бы взяла другого. За этим дело бы не стало. О, как я мстила! Я только о тебе и думала, когда он...

— Понимаю!

— ...когда он мстил за меня. Я думала: «Пусть он теперь вернется! Чешётся у тебя голова? Что, Брюньон, получил свое? Пусть только вернется! Пусть только вернется...» Увы, ты вернулся скорее, чем мне хотелось... Остальное ты знаешь. Я оказалась связанной со своим дураком на всю жизнь. И осел (это он или я?) остался на мельнице.

Она умолкла. Я сказал:

— Во всяком случае тебе здесь хорошо.

Она пожала плечами и сказала:

— Не хуже, чем ему.

— Черт возьми! — сказал я. — Этот дом должен быть раем.

Она рассмеялась:

— Вот именно, мой друг.

Мы заговорили о другом, о наших делах и делишках, о наших домах и детишках, но, как мы ни старались, мы поворачивали, на всем скаку, обратно к белому бычку. Я думал, она будет рада услышать подробно про мою жизнь, про всех моих, про мой дом; но убедился (о, женское любопытство!), что все это ей известно нисколько не хуже, чем мне самому. И вот, слово за слово, благо уж начали, затрещали, засудачили о том о сем и ни о чём, с разбором и без разбору, под гору и в гору, ради удовольствия поболтать языком, сами не зная, куда мы идем. Оба мы наперебой сыпали слова гурьбой; с обеих сторон трещала речь, без передышки, как картечь. Растворковывать слова не приходилось: их хватили еще в печи, пока они были горячи.

Насмеявшись вдоволь, я вытирал глаза, как вдруг услышал, что на колокольне бьет шесть часов.

— Боже правый, — сказал я, — мне пора!

— Еще успеешь, — сказала она.

— Твой муж вернется. А видеть его мне не очень-то хочется.

— А мне? — отвечает она.

Из кухонного окна виден был луг, уже наряжавшийся к вечеру. Лучи заходящего солнца натирали золотой пылью тысячи травинки с дрожащими носиками. По гладким камешкам прыгал ручеек. Корова лизала ивовую ветвь; две неподвижные лошади, одна вороная со звездой во лбу, другая серая в яблоках, положив головы друг другу на круп, задумались в предвечерней тишине, кончив пастишь. В прохладный дом врвался запах солнца, сирени, теплой травы и золотистого навоза. И в сумраке комнаты, глубоко, мягко, слегка пахнущем гнилью, поднимался из каменной чашки, которую я держал в руке, ласковый аромат бургундской наливки. Я сказал:

— Как хорошо здесь!

Она схватила меня за руку:

— И так могло бы быть всю жизнь, каждый день!

Я сказал (меня огорчало, что я пришел ее повидать и пробуждаю в ней сожаления):

— Ах, знаешь, моя Ласочка, может быть, оно и лучше в конечном счете, может быть, оно и лучше так, как есть! Ты ничего на этом не потеряла. Один день еще куда ни шло. Но всю жизнь! Я тебя знаю, ты меня знаешь: тебе бы скоро надоело. Ты себе представить не можешь, что я за скверное существо, негодяй, бездельник, бражник, распутник, болтун, вертопрах, упрямец, обжора, лукавец, спорщик, мечтатель, злока, чудак, пустозвон. Ты была бы, дитя мое, несчастлива, как камни, и ты бы мне отомстила. При одной мысли об этом у меня волосы встают дыбом, по обе стороны лба. Слава всеведущему богу! Все хорошо, как оно есть.

Ее глаза, серьезные и лукавые, слушали меня. Она кивнула головой и сказала:

— Ты прав, душа моя. Я знаю, я знаю, ты великий негодник. (Она этого ничуть не думала.) Ты бы меня, наверное, бил; я бы тебе изменяла. Но что поделаешь? Раз уж на этом свете и то и другое неизбежно (так начертано в небесах), то разве бы не лучше было, чтобы это нам досталось друг от друга?

— Разумеется,— сказал я,— разумеется...

— Ты как будто не очень уверен.

— Нет, как же,— ответил я.— И все-таки надо уметь обходиться без этого обоюдного счастья.

И, вставая, я кончил так:

— Не надо жалеть ни о чем, Ласочка! Так или иначе, мы пришли бы к тому же. Любишь друг друга или не любишь, но когда катушка, как у нас с тобой, подходит к концу, то это дело прошлое, все равно как если бы ничего и не было.

Она мне сказала:

— Лгун!

(И как она была права!)

Я ее поцеловал, ушел. Она провожала меня глазами, прислонясь на пороге к косяку двери. Перед нами стлалась тень высокого орешника. Я не оборачивался, пока не загнул за поворот дороги и не был вполне уверен, что ничего уже не увижу. Тогда я остановился, чтобы передохнуть. Воздух был напоен благоуханием нависших глициний. И белые волны вдалеке мычали на лугу.

Я пошел дальше; и, срезая напрямик, оставил дорогу, взобрался на косогор, пересек виноградники и вошел в лес. Но не затем, чтобы вернуться поскорее. Ибо полчаса спустя я все еще стоял у опушки, под сенью дуба, не шевелясь и разинув рот. Я сам не знал, что я тут делаю. Я размышлял, я размышлял. Багровое небо угасало. Я смотрел, как умирают его отсветы на виноградниках с молодыми листочками, блестящими, лоснистыми, пунцовыми и золотистыми. Пел соловей... В глубине моей памяти, в моем опечаленном сердце пел другой соловей. Вечер, такой же, как этот. Я был со своей милой. Мы поднимались по склону, устланному виноградниками. Мы были молоды, веселы, говоруны, хохотуны. Вдруг что-то пронеслось в воздухе, веяние вечернего звона, дуновение земли на закате, когда она потягивается, и вздыхает, и говорит тебе: «Приди ко мне», нежная грусть, падающая с луны... Мы смолкли оба и вдруг взяли за руки и молча, не глядя друг на друга, остановились. И вот из виноградников, на которые легла весенняя ночь, поднялся голос соловья. Чтобы не заснуть на лозах, чьи предательские усики завивались, завивались, завивались, вокруг его лапок обвиться пытались,— чтобы не заснуть, свою старую кантилену пел во все горло любовный соловей:

Вьются усики, усики, усики,
Я не сплю, я не сплю...

И я почувствовал, как рука Ласочки говорит:

«Вот я беру тебя и взята сама. Вейтесь, вейтесь, вейтесь, усики, и свяжите нас!»

Мы спустились с холма. Подходя к дому, мы розняли руки. С тех пор мы не соединили их уже ни разу. Ах, соловей, ты распелся вновь! Для кого твоя песнь? Вы вьетесь, усики. Для кого твои узы, любовь?..

А тут и ночь. И, задрав к небу нос, я смотрел, опершись задом на руки, руками на палку, словно дятел на хвост; я все смотрел на вершину дерева, где расцветала луна. Я старался вырваться из охватившего меня очарования. Я не мог. Должно быть, дерево опутало меня своей колдовской тенью, которая сбивает с пути и отбивает охоту его найти. Раз, другой, третий обошел я вокруг ствола, снова и снова; и всякий раз я оказывался на прежнем месте, окованный.

Тогда я примирился и, растянувшись на траве, заночевал под лунной вывеской. Мне не очень-то спалось в этой гостинице. Я меланхолически озираю свою жизнь. Я думал о том, чем бы она могла быть, о том, чем она была, о моих разрушенных мечтах. Господи, сколько печали находишь в глубинах своего прошлого в эти ночные часы, когда душа

расслаблена! Каким себя видишь бедным и голым, когда встает перед обманутой старостью образ юности, облеченной в надежды!.. Я подводил счеты, отмечал просчеты, перебирал скудные богатства моей котомки: жену, которая собой нехороша и не более того добра; сыновей, которые далеки от меня, думают обо всем не так, как я, у которых моего только оболочка; измены друзей и безумства людей; смертоносные вероучения и междоусобные войны; Францию мою растерзанную; мечты моего духа, создания моего искусства разграбленные; жизнь мою — горсть пепла, и налетающий ветер смерти... И, тихо плача, прильнув губами к телу дуба, я поверял ему свою скорбь, притаясь между его корнями, как в объятиях отца. И я знаю, что он меня слушал. И наверное потом, в свой черед, заговорил и утешил меня. Потому что, когда несколько часов спустя я проснулся, уткнувшись носом в землю и храпя, от моей меланхолии ничего не оставалось, кроме разве легкой истомы в натруженном сердце да судороги в икре.

Солнце вставало. Дерево, полное птиц, распевало. Оно сочилося пением, как виноградная гроздь, зажатая в руках. Зяблик Гильоме, зарянка Мари Годре, и точильщица, и серая Сильви, щебетунья-славка, и дроздок, мой куманек, самый мой любимый, потому что ему все нипочем, ни холод, ни ветер, ни дождь, ни гром, и вечно-то он смеется, вечно в хорошем настроении, первый запеваает на заре и последний умолкает, и потому, что у него, как у меня, нос расцвеченный. Ах, эти славные малыши, как они горланили от всей души! Они избегли ужасов ночи. Ночи, обильной ловушками, которая каждый вечер опускается на них, словно сеть. Удушьяющий мрак... кому погибнуть пришла пора?.. Но, фарирарира!.. как только раздвигается полог ночи, чуть бледная улыбка далекой зари начинает оживлять окоченевшее лицо и побелевшие губы жизни... уай ти, уай ти, ла, ла-и, ла-ла-ла, ладери, ла рифла... какими криками, друзья мои, каким любовным восторгом приветствуют они день! Все, что было выстрадано, все, что страшило, безмолвный испуг и окоченелый сон, и ночь, и все, уай ти, все... ффртт... позабыто. О, день, о, новый день!.. Научи меня, мой дроздок, твоему дару возрождаться с каждой новой зарей, полным веры живой!..

Он все свистал. Его здоровая ирония подбодрила и меня. Сидя на земле, я тоже принялся свистать. Кукушка... «зегзица белая, зегзица черная, зегзица птица вздорная»... играла в прятки где-то в лесу.

«Кукушка, замолчи, черт изжарит тебя в печи!»

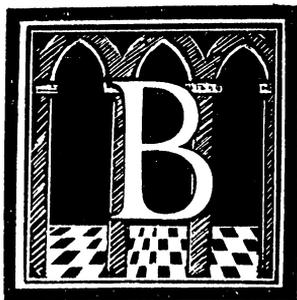
Прежде чем встать, я перекувырнулся. Пробегавший заяц последовал моему примеру; он смеялся; губа у него расселась от частого смеха. Я двинулся в путь, распевая во все горло:

— Всему хвала, всему хвала! Друзья мои, земля кругла. Кто не умеет плавать, того плохи дела. Через пять моих чувств, разверстых вновь, врывайся, мир, втекай в мою кровь! Стану я дуться на жизнь, как старый дурак, оттого что и это и то — не так? Стоит только разохотиться: «Если бы я... Если бы мне...» так и не остановишься; вечно человек будет недоволен, вечно будет желать больше, чем ему дано! Даже господин де Невер. Даже король. Даже господь бог. Всякому свои границы, всякому свой порог. Стану я волноваться, стану я ныть, оттого что не в силах его переступить? Да и лучше ли мне будет не на моем месте? Я у себя, и здесь я остаюсь, и здесь я и останусь, черт побери, насколько можно дольше. Да на что мне и жаловаться? Мне, в сущности, никто ничего не должен. Я ведь мог и вовсе не родиться... Боже милостивый! При одной мысли об этом меня мороз по коже подирает. Эта миленькая, маленькая вселенная, эта жизнь, и вдруг — без Брюньона! И Брюньон — без жизни! Какой печальный мир, о друзья мои!.. Все хорошо, как оно есть. Чего у меня нет, ну его к чертям! Но что мое, того я не отдам...

С опозданием на день я вернулся в Кламси. Можете судить сами, как меня там встретили. Но я этим не стал огорчаться; и, взобравшись на чердак, как видите, изложил на бумаге, кивая носом, разговаривая сам с собой, высовывая на сторону язык, мои горести и мои радости, радости моих горестей...

Про то, что мучило в свой час,
Приятно повести рассказ.





Июнь

черя утром мы узнали о проезде через Кламси двух именитых гостей: мадемуазель де Терм и графа де Майбуа. Они, не останавливаясь, проследовали прямо в замок Ануа, где должны провести недели три-четыре. Совет старшин постановил, согласно обычаю, отправить на следующий день к этим знатым птицам делегацию, дабы принести им от имени города наши поздравления с благополучным прибытием. (Словно чудо, если какой-нибудь такой зверь докатит в своей мягкой карете, в тепле и холе, от Парижа до Невера, не сбившись с дороги и не поломав себе ноги!) Следуя опять-таки обычаю, совет постановил присовокупить к сему, во внимание к их клювам, некое печеное лакомство, гордость города, большие сухари с глазурью, каковыми мы славимся. (Мой зять, пекарь Флоримон Равизе, поставил их три дюжины. Господа совет довольствовались двумя; но наш Флоримон, который тоже состоит старшиной, действует всегда широко: шестнадцать солей штука; платит город.) Наконец, дабы усладить все их чувства зараз и так как, говорят, лучше естся под музыку (мне, когда я ем и пью, она ни к чему), поручили четверем отборным играцам, двум скрипкам и двум гобоям, с тамбурином на придачу, отзвонить на своих снарядах серенаду гостям в добавление к сладостям.

Я присоединился к их компании со своей свирелью, никем не званный. Не мог же я отказать себе в лицезнении новых лиц, в особенности таких птиц, которые украшают двор (только не птичий: беру вас в свидетели, что ничего подобного я не говорил). Я люблю их тонкое оперение, их щебет и их повадку, когда они на себе перышки разглаживают или чинно расхаживают, вертя задом, с гордым взглядом, повода крылом, клювом и хвостом. Притом же, будь ты от двора или не от двора, откуда бы ты ни взялся, раз ты мне новое несешь, ты для меня всегда хорош. Я сын Пандоры, я люблю приоткрывать все ящики, все души, чистые и грязные, красивые и безобразные, жирные и тощие, рыться в сердцах, смотреть, что там обретається, заниматься тем, что меня не касается,

всюду нос совать, разнохивать, смаковать. Я готов отведать плети, чтоб изведать все на свете. Но я не забываю (будьте покойны) соединять приятное с полезным; и так как для господина д'Ануа у меня в мастерской были как раз две больших резных филенки, то я счел весьма удобным отправить их, не тратя ни гроша, на одной из тележек, вместе с делегатами, скрипками, гобоями и заливными сухарями. Захватили мы с собой также и мою Глоди, Флоримонову дочку, чтобы прокатить ее, благо представлялся случай, на даровщинку. А другой старшина повез своего сынишку. Наконец, аптекарь нагрузил повозку сиропами, настойками, медами, вареньем, каковые свои изделия намеревался поднести за счет города Кламси. Отмечу, что мой зять весьма это порицал, говоря, что так не принято и что если бы всякий мастер, мясник, пекарь, сапожник, цирюльник и так далее вздумал так поступать, то это было бы разорением для города и для частных лиц. Он был совсем не так уж не прав; но тот был старшина, как и он, Флоримон: ничего не скажешь. Маленькие люди подчинены законам; а не маленькие их творят.

Отправились на двух повозках: городской голова, филенки, подарки, ребятенки, четверо музыкантов и четверо старшин. Сам я пошел пешком. Пусть себе расслабленных телега везет, как старух на рынок или на бойню скот! Погода, признаться, стояла не из лучших. Небо было тяжелое, грозное, мучнистое. Феб устремлял на наши затылки свой круглый и жгучий глаз. На дороге вились пыль и мухи. Но за исключением Флоримона, который дрожит за свою белую кожу хуже всякой барышни, все мы были довольны: в компании и скука — развлечение.

Пока видна была башня святого Мартына, все эти важные господа вид хранили степенный. Но как только мы скрылись у города из глаз, все лица прояснились и души, подобно мне, скинули кафтаны. Сперва отпустили кое-какие сальности. (Это у нас лучший способ, чтобы расшевелиться.) Потом кто-то запел, за ним другой; мне кажется, прости меня, господи, что не кто иной, как городской голова первый затянул веселые слова. Я заиграл на своей свирели. Остальные подхватили. И, пронзая гобои и голоса, голосок моей Глоди взлетел под небеса и порхал и чирикал, как воробышек.

Ехали не очень быстро. Лошади на подъемах сами останавливались, переводили дух и салютовали задом. Прежде чем тронуться дальше, ждали, пока не выдохнется их музыка. Возле Буашо наш нотариус, мэтр Пьер Делаво, попросил нас сделать крюк (нельзя было ему отказать: это был единственный старшина, который ничего не потребовал),

чтобы заехать, по дороге, к клиенту, составить проект завещания. Все общество это одобряло; но времени это заняло немало; и наш Флоримон, сходясь в данном случае с аптекарем, опять нашел повод придрататься. «Лучше виноградина, пусть даже зеленая, для меня, чем две фиги для тебя». Тем не менее мэтр Пьер Делаво закончил, не торопясь, свои дела; и аптекарь, рад — не рад, скушал эту полуфигу, полувиноград.

Наконец, мы приехали (в конце концов всегда приедешь), хоть и поздновато. Наши птицы уже вставали из-за стола, когда мы явились со своим десертом. Чтобы помочь горю, они начали сначала: птицы, вечно едят. Наши господа совет, подъезжая к замку, учинили еще одну, предпоследнюю, остановку, дабы облечься в свои парадные одеяния, бережно сложенные подальше от солнца, в свои красивые, яркие балахоны, согревающие глаз, веселящие сердце, зеленый шелковый для городского головы и светло-желтые шерстяные для четырех его собратьев: ни дать ни взять — огурец и четыре тыквы. Мы вступили, играя на наших инструментах. На шум из окон повысовывались головы праздной челяди. Наши четверо шерстоносцев и облаченный в шелк взошли на крыльцо, в дверях коего соблаговолила показаться (мне было довольно плохо видно) на паре брыжей пара голов (у всякой скотинки свой хомут), завитых, в лентах, ну прямо барашки. Мы, прочие, музыка и мужики, остались стоять посреди двора. Так что издали я и не расслышал красивой латинской речи, произнесенной нотариусом. Но я не огорчился: ибо, по-моему, мэтр Пьер один ее и слушал. Зато я вполне наслаждался зрелищем, когда моя крошка Глоди поднималась мелкими шажками по ступеням лестницы, словно маленькая Мария, вводимая во храм, прижимая сухарь, сказала: «Дай сюда ротик, поделимся...» — и сунула тот кусок, что побольше, в круглую печурку. Тут я от восторга закричал во все горло:

— Да здравствует добрая красавица, цветок Невера!

И на своей свирели сыграл веселый напев, который прорезал воздух, как звонкоголосая ласточка.

Все хохочут, оборотясь ко мне; а Глоди бьет в ладоши и кричит:

— Дедушка!

Господин д'Ануа называет меня по имени:

— Это наш чужак Брюнзон...

(Он в этом смыслит, как-никак. Не меньший, чем я сам, чужак.)

Он подзывает меня знаком. Я подхожу с моей свирелью, бойко поднимаюсь по лестнице и кланяюсь...

(С учтивой речью, шляпу сняв,—
Недорого стоит, и будешь здрав...)

...кланяюсь направо и налево, кланяюсь вперед и назад, кланяюсь каждому и каждой. А тем временем скромным оком озираю барышню, подвешенную в своих широких фижмах (точь-в-точь колокольный язык); и, раздевая ее (мысленно, разумеется), смеюсь тому, какая она маленькая и голенькая, под наверченными на нее фалборками. Она была высокая и стройная, кожей слегка смугла, пудрой совсем бела, красивые карие глаза, блестящие, как карбункулы, носик, как у свинки, которая всюду отроет лакомство, рот, приятный для поцелуя, полный и румяный, а на щеках завитые кудряшки. При виде меня она спросила снисходительно:

— Это ваш прелестный ребенок?

Я ответил увеселительно:

— Откуда мы можем знать, сударыня? Вот господин мой зять. Он и должен знать. Я за него не могу отвечать. Во всяком случае это наше добро. Никто его у нас не требует. Это не то, что с деньжатами. «Бедные люди богаты ребятами».

Она изволила улыбнуться, а господин д'Ануа громогласно расхохотался. Флоримон засмеялся тоже; но с кислой рожей. Я хранил серьезную мину, я разыгрывал дурачину. Тогда мужчина с брыжками и дама с колоколом соблаговолили меня спросить (они приняли меня за гудочника), много ли мне приносит мое ремесло. Я им ответил, как оно и есть:

— Почти что ничего...

Не сказав, впрочем, чем я занимаюсь. Да и к чему бы я стал говорить? Они меня об этом не спрашивали. Я ждал, мне хотелось посмотреть, я развлекался. Я нахожу весьма забавным это развязное и церемонное высокомерие, с которым все эти красавчики, все эти богачи считают нужным обращаться к тем, у кого ничего нет и кто беден! Они всякий раз словно читают им поучение. Бедный человек — что ребенок, своего ума у него нет... И потом (этого не говорят, но так думают) он сам виноват: господь его наказал, это хорошо; благословен господь!

Словно меня тут и не было, Майбуа говорил громко своей куме:

— Благо, сударыня, делать нам все равно нечего, воспользуемся этим бедным малым; с виду он простоват, ходит себе по дворам, играя на свирели; он, должно быть, знает хорошо кабацкий люд. Разузнаем у него, что думает здешняя область, если вообще...

— Тш!..

— ...если вообще она думает.

Итак, меня спросили:

— Ну-ка, милейший, скажи нам, как у вас тут настроены умы?

Я переспрашиваю:

— Умы? — напуская на себя придурковатый вид.

И подмигнул моему толстяку д'Ануа, который поглаживал себе бороду и посмеивался в широкую ладонь, предоставив мне действовать.

— По-видимому, насчет умов у вас тут вообще слабовато,— продолжал иронически Майбуа.— Я тебя спрашиваю, милейший, что у вас думают, как на что смотрят. Добрые ли вы католики? Преданы ли королю?

Я отвечаю:

— Бог велик, и король весьма велик. Их обоих очень любят.

— А что думают о принцах?

— Это очень большие господа.

— Так вы, значит, за них?

— Да, сударь, а то как же.

— И против Кончини?

— Мы и за него тоже.

— Как же так, черт возьми? Да ведь они враги!

— Не буду спорить... Может быть... Мы за тех и за других.

— Надо выбирать, помилуй бог!

— Да разве надо, сударь мой? Так уж необходимо? В таком случае я готов. За кого же я тогда?.. Сударь мой, я вам это скажу после дождичка в четверг. Я об этом поразмыслю. Только на это нужно время.

— Да чего ж тебе ждать?

— Да надобно, сударь, посмотреть, кто окажется сильней

— Мошенник, и тебе не стыдно? Или ты неспособен отличить день от ночи и короля от его врагов?

— Признаться, сударь, нет. Вы слишком много от меня требуете. Я, конечно, вижу, что сейчас день, я не слеп; но если выбирать между людьми королевскими и людьми господ принцев, то, право же, я не сумел бы сказать, кто из них лучше пьет и больше безобразит. Я ничего дурного про них не говорю; у них хороший аппетит: значит, они здоровы. Доброго здоровья я и вам желаю. Славных едоков я люблю; я и сам бы

рад им подражать. Но, сказать вам откровенно, я предпочитаю таких друзей, которые едят не у меня.

— Чудак, так для тебя ничто не свято?

— Мне, сударь, свята моя хата.

— А ты не можешь ею пожертвовать ради твоего повелителя, короля?

— Я, сударь, готов, раз уж иначе нельзя. Но мне хотелось бы все-таки знать, если бы у нас во Франции не было вот некоторых таких, которые любят свои виноградники и поля, каков был бы харч у короля? У всякого свое ремесло. Одни едят. Другие... на то, чтобы их ели. Политика — это искусство есть. Она не для нас, мы — мелкая тля. Для вас политика, для нас земля. Иметь суждение — не наше дело. Мы люди невежественные. Что мы умеем, кроме того, чтобы, как Адам, наш отец (говорят, он был и вашим отцом: что до меня, то я этому, простите, не верю... разве что вашим родственником), — что мы умеем, кроме, значит, того, чтобы брюхатить землю и делать ее плодородной, вскапывать, вспахивать ее недра, сеять, выращивать овес и пшеницу, подрезать, прививать виноград, жать, вязать снопы, молотить зерно, выжимать гроздья, делать хлеб и вино, колоть дрова, тесать камни, кроить сукно, сшивать кожи, ковать железо, чеканить, плотничать, проводить канавы и дороги, строить, воздвигать города с их соборами, прилаживать нашими руками к челу земли убор садов, расцвечать по стенам и доскам очарование света, извлекать из каменной оболочки, в которой они зажаты, прекрасные и белые нагие тела, ловить на лету проносящиеся в воздухе звуки и замыкать их в золотистобурое тело стонущей скрипки или в мою полую флейту, — словом, быть хозяевами французской земли, огня, воды, воздуха, всех четырех стихий, и заставлять их служить на утеху вам... что еще мы умеем и с чего бы мы вдруг могли возомнить, будто что-то смислим в общественных делах, в княжеских спорах, в священных помыслах короля, в играх политики и в прочей метафизике? Выше собственного зада, сударь мой, не стрельнешь. Мы выючный скот и созданы для того, чтобы нас били. С этим я не спорю. Но чей кулак нам приятнее и от чьей дубинки легче нашей спинке... это, сударь мой, вопрос важный и моим мозгам непосильный! Сказать вам по совести, мне это все равно. Чтобы вам ответить, надо бы самому взять обе дубинки в руки, взвесить и ту и другую да самому испытать их как следует. А так, приходится терпеть! Терпи, терпи, наковальня. Терпи, пока ты наковальня. Бей, когда будешь молотом...

Тот недоуменно на меня глядел, морщил нос и не знал, смеяться ему или сердиться; но тут один конюший из свиты,

который в былое время видывал меня у покойного доброго нашего герцога Неверского, сказал:

— Монсеньор, я этого оригинала знаю: хороший работник, отличный плотник, повитийствовать великий охотник. Он по ремеслу резчик.

Благородный граф, невзирая на это сообщение, о Брюньоне остался, видимо, прежнего мнения и проявил некоторый интерес к его тщедушной особе («тщедушной» сказано здесь из скромности, ибо вещу я, дети мои, немногим меньше мои) лишь тогда, когда услышал от конюшего и от своего хозяина, господина д'Ануа, что такие-то и такие-то знатные дома мои работы ценят весьма. Тогда он не менее остальных восхитился показанным ему во дворе фонтаном, изваянным мной и изображающим девушку с подобранным подолом, которая держит в переднике двух уток, а те бьются, разинув клювы и хлопая крыльями. Затем он осмотрел в замковых покоях мою мебель и мои резные филенки. Господин д'Ануа распустил хвост. Уж эти мне богатые скоты! Можно подумать, будто работу, за которую они заплатили своими деньгами, они и сотворили! Майбуа, дабы оказать мне честь, счел уместным удивиться тому, что я сижу здесь, в душевой дыре, вдали от великих умов Парижа, и замыкаюсь в таких вот работах, где все — только терпение, правдоподобие, ничего вымышленного, — только зоркость, никакого полета, — только наблюдательность, никаких идей, никакого символа, аллегории, философии, мифологии — словом, всего того, по чему знаток распознает высокую скульптуру. (Человек высокого рода восторгается только высоким.)

Я отвечал со скромностью (я ведь смирен и простоват), что знаю отлично, сколь малого я стою, что никто не должен переступать своих границ. Бедный человек нашей породы ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает, а потому и держится, если он разумен, нижнего яруса Парнаса, где воздерживаются от каких бы то ни было обширных и возвышенных замыслов; и от вершины, где виднеются крылья священного коня, отвращая испуганные взоры, он ломает внизу, у подножья горы, камни, которые могут пригодиться для его дома. Скудоумный от нищеты, он создаёт и измышляет только то, что идет на ежедневную потребу. Полезное искусство — таков его удел.

— Полезное искусство! Вот два несочетаемых слова, — сказал мой дурачок. — Прекрасно только бесполезное.

— Великие слова! — согласился я. — Истинная правда. Повсюду так, и в искусстве и в жизни. Нет ничего прекраснее, чем алмаз, принц, король, знатный вельможа или цветок.

Он ушел, довольный мной. Господин д'Ануа взял меня под руку и сказал мне на ухо:

— Шутник несчастный! Перестанешь ли ты издеваться? Да, валяй дурачка, агнец невинный, я тебя знаю. Нечего отпираться. Этого парижского красавчика щипли себе на здоровье, сынок! Но если ты когда-нибудь вздумаешь покушаться и на меня, берегись, Брюньон, милый дружок! Найдется у меня и батожок.

Я начал распинаться:

— Я, монсеньор! Покуситься на вашу светлость! На моего покровителя! На моего благотворителя! Да как же можно подозревать Брюньона в подобной гнусности? Быть гнусным — еще куда ни шло, но, боже мой, быть глупым! Покорнейше благодарю! За этим я и сам смотрю. Нет, мне шкура дорога, и я уважаю всякую шкуру, которая умеет заставить себя уважать. До нее я не дотронусь: дудки, не такой я дурак! Ведь вы не только меня сильнее (это само собой), но и куда хитрее. Ведь я только малое лися, рядом с Лисом, что в замке заперся. Сколько у вас тут башен, в вашем каменном мешке! И сколько вы засадили туда старых и малых, убогих и удалых!

Он расцвел лицом. Ничто так не нравится людям, как когда их хвалят за талант, менее всего им свойственный.

— Ладно, господин болтун,— сказал он.— Оставим мой мешок, посмотрим лучше, что-то в твоём. Уж если ты вошел в ворота, так вряд ли спроста.

— Ну, вот видите, говорю, вы опять угадали! Для вас человек — стекло. Вы читаете в глубине сердец не хуже, чем бог-отец.

Я размотал пеленки, достал свои филенки, а также одну итальянскую вещицу (Фортуна на колесе, некогда купленную в Мантуе), которую я выдал, для круглого счета, старый сумасброд, за свою работу. Их похвалили умеренно. Затем (ну и путаница!) одну свою вещицу (медальон, изображающий молодую девицу) я показал им не как свою, а как сделанную в том краю. Пошли ахи и охи, возгласы и вздохи. Все таяли от восхищения. Майбуа, который так и дрожал, заявил, что на ней виден отсвет латинского неба, отсвет земли, дважды благословенной богами, Назареем и Олимпийцем. Господин д'Ануа, который так и ржал, отсчитал мне за нее тридцать шесть дукатов, а за ту — три.

Вечером мы поехали обратно. Дорогой, чтобы позабавить спутников, я им рассказал, как однажды господин герцог Бельгард приехал в Кламси пострелять птиц. Добрый вельможка ничего не видел в четырех шагах. На моей обязанности лежало, когда он стрелял, сбрасывать вниз деревянную птицу

и вместо нее, быстро и ловко, подносить другую, подстреленную в самое сердце. Все очень смеялись; и вслед за мной всякий в свою очередь поведал какую-нибудь занятную штуку про наших господ. Уж эти знатные господа! Когда они царственно скучают в своем величии, ах, если бы они знали, до чего они нам смешны!

Но свой рассказ про медальон я предпочел преподнести своим домашним взаперти. Прослушав его, мой Флоримон стал меня горько попрекать, что я так дешево продал, как свою, итальянскую работу, раз они так высоко оценили и так щедро оплатили ту, что была итальянской только по прозвищу. Я ответил, что потешаться над людьми я согласен, но обжуливать их — нет! Он горячился, спрашивал меня в сердцах, какая мне корысть в том, чтобы веселиться за собственный свой счет. Чтоб люди казались нам смешны, не стоит платить из своей мощны.

Тогда Мартина, моя славная дочка, сказала ему весьма мудро:

— Такие уж мы все у нас в семье, Флоримон, от мала до велика, всегда всем довольны, речи наши вольны, и своим речам всякий смеется сам. И ты, мой друг, не жалуйся! Ведь только поэтому и ты по сей день не рогат, как олень. Мне так забавно знать, что я в любую минуту могу тебя обмануть, что я обхожусь без этого. Да ты не хмурься так! Жалеть тебе не о чем. Ведь это все равно, как если бы оно было на самом деле. Улитка, спрячь рожки. Я вижу их тень на дорожке.





Первые дни июля

равду говорят: «Беда от нас пешком, а к нам верхом». Она явилась к нам в виде фореитора орлеанского поезда. В понедельник на прошлой неделе чумный случай был занесен в Сен-Фаржо. Дурное семя, быстрый рост. К концу недели их оказалось еще десять. Затем, все ближе к нам, вчера чума

объявляется в Куланж-Ла-Винез. Ну и переполох в утиной луже! Все храбрецы — давай бог ноги. Мы погрузили детей, гусей и жен и отправили их подальше, в Монтнуазон. На что-нибудь и беда годна. По крайней мере в доме тишина. Флоримон также уехал с дамами, заявив, — этаким трус, — что не может оставить свою Мартину, которая должна родить. Много толстых господ нашло весьма веские основания для прогулки; заложив повозку, они решили, что лучше не придумать погоды, чтобы посмотреть, как поживают их всходы.

А мы, оставшиеся, корчили из себя шутов. Тех, кто себя берег, мы высмеивали вдоль и поперек. Господа старшины поставили стражу у городских ворот на Оксеррской дороге, и приказ был строгий гнать всех нищих и бродяг, которые вздумали бы войти. Прочие, господа с гребешком и горожане со здоровым кошельком, должны были все же подвергнуться осмотру трех наших врачей — мэтра Этьенна Луазо, мэтра Мартена Фротье и мэтра Фильбера де Во, напаявших на себя, для отвращения заразы, длинные носы, набитые мазями, маски и очки. Мы над этим очень потешались; и мэтр Мартен Фротье, человек милый, не выдержал серьезности. Он сорвал с себя нос, заявив, что не желает заниматься ерундой и всему этому вздору не верит. Да, но от этого он помер. Правда, что мэтр Этьенн Луазо, который верил в свой нос и с ним и спал, помер точно так же. И уцелел один лишь мэтр Фильбер де Во, который, предусмотрительнее своих коллег, бросил не нос, а должность... Однако куда я заехал; ведь это уже конец истории, а я еще и предисловия не округлил! Начнем с начала, сынок, и возьмем опять козу за бороду. Крепко держишь на этот раз?

Итак, мы изображали из себя Бесстрашных Ричардов. Мы были так уверены, что чума не почтит посещением наши дома! У нее, говорили, тонкий нюх; запах наших коженев ей претил (всякому известно, что ничего нет здоровее). Последний раз, когда она появилась в наших краях (это было в тысяча пятьсот восьмидесятом году, и лет мне было, как старому быку, четырнадцать), она сунула было нос на наш порог, но понюхала — и наутек. Тогда-то оно и было, что жители Шатель-Сансуара (и трунили же мы над ними потом!), недовольные своим заступником, великим святым Потенцианом, плохо их защищавшим, прогнали его со двора, взяли на пробу другого, затем третьего, затем четвертого; они меняли заступника семь раз, выбирая то Севиниана, то Перегринна, то Филиберта, то Гилария. И, не зная уж, к какому святому припасть, они припали (озорники!) к 'святой и на место Потенциана взяли Потенциану.

Мы вспомнили, смеясь, эту историю, храбрецы, удалцы, вольнодумцы. Чтобы доказать, что мы всему этому не верим, равно как и врачам и старшинам, мы отважно отправлялись к воротам Шастло побеседовать через рвы с застрявшими на том берегу. Некоторые, из молодечества, ужитрялись даже выбраться на волю, чтобы выпить кружку в ближайшей корчме с кем-нибудь из тех, у кого райские врата захлопнулись под носом, или хотя бы с одним из ангелов, поставленных на страже (ибо службу свою они не принимали всерьез). Я поступал, как они. Мог ли я допустить, чтобы они шли одни? Разве мыслимо было стерпеть, чтобы другие на моих глазах забавлялись, увеселялись и вкушали заодно свежие новости и свежее вино? Я бы лопнул с досады.

Итак, я вышел тоже, завидев старого мызника, хорошего моего знакомого, отца Гратпена из Майи-Ле-Шато. Мы с ним сели пить. Это был веселый толстяк, круглый, красный и коренастый, лоснившийся на солнце от пота и здоровья. Он хорохорился еще пуще моего, знать не хотел никакой заразы и заявлял, что все это лекарские выдумки. По его словам, если иные горемыки и умирают, так не от болезни, а от страха.

Он мне говорит:

— Даю вам даром мой рецепт:

Ходи теплей обувью,
Живот держи не вздутым,
К Матильде будь суров,
Останешься здоров.

Мы посидели часок, меля языком. У него была привычка похлопывать вас по руке или теревить вам бедро или локоть, разговаривая. Тогда я об этом не думал. Зато подумал на следующий день.

На следующий день первое, что мне сказал мой подмастерье, было:

— А вы знаете, хозяин, отец Гратпен помер...

Да-с, я важничать не стал, я так и похолодел. Я сказал себе:

— Мой бедный друг, можешь смазывать сапоги; песенка твоя спета, во всяком случае ждать недолго...

Я иду к верстаку, начинаю что-то ковырять, чтобы рассеяться; но вы сами понимаете, что голова у меня была занята совсем не тем. Я думал:

«Глупое животное! Будешь другой раз финтить!»

Но у нас в Бургундии не принято ломать голову над тем, что надо было сделать третьего дня. Мы в сегодняшнем дне. В нем и останемся, черт возьми! Приходится защищаться. Враг меня еще не одолел. Я подумал было обратиться за советом в лавочку святого Кузьмы (то есть к лекарям). Но остерегся и не стал. У меня, невзирая на волнение, сохранилось достаточно бургундского здравого смысла, чтобы сказать себе:

— Сын мой, врачи знают не больше нашего. Они заберут твои денежки, а затем попросту отправят тебя в чумной загон, где ты не преминешь и совсем зачуметь. Боже тебя избави им сознаться! Ведь не сошел же ты с ума? Если требуется всего лишь помереть, так это мы и без них сумеем. И, ей же богу, как говорится, «назло врачам мы будем жить до кончины».

Но, как я себя ни утешал и как ни бодрился, я чувствовал, что в желудке у меня неладно. Я цупал себя то тут, то там, то... Ай! на этот раз — это она... И что хуже всего, так это то, что за обедом, перед миской с жирными красными бобами, сваренными в вине с ломтиками солонины (даже сейчас, вспоминая об этом, я плачу от сожаления), у меня не хватило сил разинуть челюсти. Я думал с тоскою в сердце:

«Дело ясно, я погиб. Аппетит умер. Это начало конца...»

Ну что ж, приведем по крайней мере в порядок наши дела. Если я умру здесь, эти разбойники-старшины сожгут мой дом, потому что, дескать (вот вздор!), другие от него заразятся. Совершенно новехонький дом! До чего же люди злы или глупы! Уж лучше я на гноище подохну. Мы их проведем! Не будем терять времени...

Я встаю, надеваю самое старое мое платье, беру несколько хороших книг, добрые изречения, галльские скоромные повестушки, римские апофтегмы, «Золотые слова Катона», «Вечеринки» Буше и «Нового Плутарха» Жилия Коррозе; сую их в сумку вместе со свечкой и с краюхой хлеба; отпускаю подмастерьев; запираю дом и храбро отправляюсь на свой кутá¹, за городом, пройдя последний дом, на Бомонской

¹ Виноградник и сад на склоне холма.— Р. Р.

дороге. Жилье невелико. Лачуга. Сарайчик, куда складывают орудия, в нем старый сенник и дырявый стул. Если все это и сожгут, беда невелика.

Едва я туда добрался, как защелкал клювом, словно ворон. Меня жгла лихорадка, в боку кололо, а нутро сводило так, словно оно выворачивалось наизнанку... Ну, и что же я сделал, добрые люди? О чем я вам поведаю? О каких героических деяниях, о каком бестрепетном челе, противопоставленном, по примеру великой римской публики, враждебной судьбе и желудочной боли?... Добрые люди, я был один, никто меня не видел. Так я и стал ломаться и разыгрывать перед стенами римского Регула! Я бросился на сенник и принялся вопить. Вы не слышали? Это было рычание зверево. Слышать было у Самберского дерева.

— О господи,— стонал я,— за что ты наказываешь безобидного человека, который ничего тебе не сделал?... Ой, голова! Ой, левый пах!! Тяжело помирать в цветущих годах! И на что моя душа тебе нужна?... Ой-ой, спина!.. Разумеется, я буду очень рад — то есть польщен — к тебе явиться; но так как мы все равно когда-нибудь увидимся, рано или поздно, то к чему такая гонка?... Ай-ай, селезенка!.. Я не тороплюсь... Господи, я не более, чем жалкий червяк. Раз уж нельзя иначе, да будет воля твоя! Ты видишь, я смирен и кроток, я покорен... Подлец! Да уберешься ли ты, наконец? Что это за скотина грызет мне бок?

Наоравшись вдоволь, я страдал все так же, но исчерпал свою душевную силу. Я сказал себе:

— Ты зря теряешь время. У него или нет ушей, или все равно, как если бы не было. Ежели правда, как говорят, что ты его подобие, то он поступит по-своему, и ты надсаживаешься напрасно. Побереги дыхание. Тебе его хватит, быть может, на какой-нибудь час-другой, а ты, дурак, расточаешь его на ветер! Используем то, что у нас осталось, этот добрый старый остов, с которым придется расстаться (увы, приятель, не по моей это воле!). Умираешь однажды. По крайней мере удовлетворим наше любопытство. Посмотрим, как это вылезают из собственной шкуры. Когда я был мальчишкой, никто не умел лучше меня выделывать из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стучал черенком ножа по коре, пока она не отставала. По-моему, тот, кто на меня сейчас глядит сверху, совершенно так же забавляется и с моей корой. Ну-ка, слезет она?... Ай, и здорово же стукнул... Прилично ли человеку таких лет развлекаться детскими пустяками?... Так, Брюньон, не сдавайся, и, пока кора еще держится, давай наблюдать и примечать, что такое под ней творится. Осмотрим этот ящик, процедим наши мысли, исследуем, пережует и переварим

соки, которые бродят у меня в поджелудочной железе, волнуются там и спорят, как немцы, просмакуем эти рези, испытаем и прощупаем наши кишки и почки...¹

...Итак, я созерцаю сам себя. По временам я прерываю мои исследования, чтобы поорать. Ночь тянется. Я зажигаю свечу, втыкаю ее в горлышко старой бутылки (она пахла черносмородиновой наливкой, но наливки уже не было: образ того, чем я готовился стать еще до утра! Тело исчезло, осталась одна душа). Скрючившись на сеннике, я силился читать. Героические апофтегмы римлян не имели никакого успеха. К черту этих краснобаев! «Не всякому суждено побывать в Риме». Я ненавижу дурацкую спесь. Я хочу иметь право жаловаться всласть, когда у меня рези... Да, но если они унимаются, я хочу смеяться, буде могу. Я и смеялся... Вы мне не верите? Однако, когда я был совсем жалок, как орех в ведре, и зубы у меня стучали, я раскрыл наугад «Фацетии» этого доброго господина Буше и напал на такую славную, хрусткую и золотистую... боже мой милостивый! что разразился хохотом. Я говорил себе:

— Это глупо. Да перестань же смеяться. Ты себе навредишь...

Какое там! Я переставал смеяться, только чтобы поорать, а орать — чтобы посмеяться. И вот я ору и хохочу... Чума посмеивалась тоже. Ах, милый ты мой голубчик, ну и орал же я, ну и хохотал же я!

Когда рассвело, я был годен для кладбища. Я уже не держался на ногах. Я подполз на коленях к единственному окошку, выходявшему на дорогу. Первого же встречного я окликнул голосом треснувшего горшка. Чтобы меня понять, ему не требовалось и расслышать. Он взглянул на меня и бросился удирать, осеняя себя крестным знамением. Не прошло и четверти часа, как я имел честь увидеть возле моего дома двух стражей; и мне было запрещено переступить порог оного. Увы, я об этом и не помышлял! Я попросил, чтобы сходили за моим старым приятелем, мэтром Пайаром, нотариусом, в Дорнеси, дабы я мог изъявить свою последнюю волю. Но они так трусили, что боялись даже звука моих речей; и мне кажется, честное слово, что из страха перед чумой они затыкали себе уши!.. Наконец, один храбрый мальш, «овчий сторож» (славная душа!), — который питал ко мне расположе-

¹ Здесь мы позволим себе опустить несколько строк Рассказчик не замалчивает ни единой подробности относительно состояния своего часового механизма; и интерес, который он к ним выказывает, побуждает его распространяться о материях, не слишком хорошо пахнущих. Добавим, что его физиологические познания, каковыми он, видимо, гордится, оставляют желать лучшего. — Р. Р.

ние, потому что я застал его как-то раз объедающим мои вишни и сказал ему: «Эй ты, дроздок, пока ты там, нарви и на мою долю»,—подкрался к окну, послушал и крикнул:

— Господин Брюньон, я сбегаю!

...Что произошло потом, мне было бы весьма трудно вам рассказать. Я помню, что много долгих часов, валяясь на сеннике, в жару, я высовывал язык, как теленок... Щелканье бича, бубенцы на дороге, низкий, знакомый голос... Я думаю: «Пайар приехал»... Пытаюсь подняться... О, силы небесные! Мне показалось, будто на затылке у меня Святой Мартын, а на крестце Самбер. Я сказал себе: «Навались хоть Бассвильские скалы, ты должен встать...» Я хотел непременно, видите ли, оформить (за ночь я успел все это обдумать) некое распоряжение, статью в завещании, которая позволяла бы мне увеличить долю Мартины и ее Глоди так, чтобы мои четыре сына не могли этого оспорить. Я высовываю в окно свою голову, которая весила больше, чем Генриетта, наш большой колокол. Она поникала то вправо, то влево... Я вижу на дороге две милых толстых физиономии, которые испуганно таращат глаза. Это были Антуан Пайар и юре Шамай. Эти верные друзья, дабы застать меня в живых, прилетели, как молния. Надо сознаться, что, когда они меня увидели, их пламя начало коптить. Желая, очевидно, лучше окинуть взглядом картину, и тот и другой отступили на три шага. И этот проклятый Шамай, чтобы придать мне бодрости, твердил мне:

— Господи, до чего ты плох! Ах, бедный ты мой! Ну, и плох же ты, вот уж плох... Плох, как желтое сало.

Я им говорю (веявшее от них здоровье, наоборот, укрепляло мои жизненные силы):

— Что же вы не заходите? Вам, по-видимому, жарко.

— Нет, спасибо, нет, спасибо! — воскликнули оба.— Здесь нам очень хорошо.

Продолжая отступать, они окопались около повозки; Пайар для виду дергал за узды своего ни в чем не повинного коняку.

— А как ты себя чувствуешь? — спросил меня Шамай, который привык беседовать с покойниками.

— Да что уж, дружище, когда человек болен, ему не по себе,—отвечал я, мотая головой.

— Вот естество наше! Видишь, бедный мой Кола, я всегда тебе говорил. Один бог всемогущ. А мы — дым, тлен. Сегодня в силе, а завтра в могиле. Сегодня скачешь, а завтра плачешь. Ты не хотел мне верить, ты помышлял только о веселье. Выпил вино, пей гуцу. Полно, Брюньон, не сокрушайся! Тебя призывает милосердый господь. Ах, мой сын, какая честь! Но, чтобы его узреть, надо приодеться. Дай-ка, я тебя омою. Приготовимся, грешный человек.

Я отвечаю:

— Сейчас. Успеем, кюре!

— Несчастный! — говорит он. — Повозка не ждет.

— Ничего, — говорю. — Пойду пешком.

Он всплескивает руками:

— Брюньон, друг мой, брат мой!.. Ах, я вижу, ты все еще привязан к ложным благам земли. Да что же в ней столь приятного? Это лишь тщета, суета, беда, обман, лукавство и кривда, коварная мрежа, западня, скорбь и немощь. Что мы тут делаем?

Я отвечаю:

— Ты мне раздираешь душу. У меня никогда не хватит мужества, Шамай, покинуть тебя здесь.

— Мы увидимся снова, — говорит.

— Что бы нам отправиться вместе!.. Ну, все равно, пойду первым. «Господин де Гюиз имел девиз: всякому свой черед!»¹ Попрошу за мной, добрые люди!

Они, казалось, не слышали. Шамай возвысил голос:

— Время проходит, Брюньон, и ты проходишь вместе с ним. Лукавый, «Черный» тебя стережет. Или ты хочешь, чтобы непотребная гадина сцапала твою загрязненную душу для своей кладовки? Ну же, Кола, ну же, прочти Confiteor¹, приготовься, сделай это, мой мальчик, сделай это ради меня, кум!

— Я это сделаю, говорю, сделаю ради тебя, ради меня и ради него. Боже меня упаси не оказать должного почтения всей компании! Но, если позволишь, я бы хотел сперва сказать два слова господину нотариусу.

— Ты их скажешь потом.

— Нет. Сперва господин Пайар.

— Да что ты, Брюньон? Предвечный позади, а первым табеллион!

— Предвечный может обождать или пойти погулять, если ему угодно: мы с ним не разминемся. Но земля меня покидает. Учтивость велит сделать сначала визит тому, кто тебя принимал, а затем уж тому, кто тебя еще только примет... быть может.

Он настаивал, просил, кричал, грозил. Я не сдавался. Мэтр Антуан Пайар достал свой письменный прибор и, усевшись на тумбу, составил, в кругу зевак и собак, мое духовное завещание. Затем я, честь честью, распорядился своей душой, подобно тому, как распорядился казной. Когда все было кончено (Шамай продолжал свои увещания), я сказал умирающим голосом:

¹ Покаянная католическая молитва (лат.).

— Батист, передохни. Это все прекрасно, что ты говоришь. Но для человека, которому хочется пить, совет изустный не стоит росы капустной. Теперь, когда моя душа собралась в путь-дорогу, мне нужен посошок. Добрые люди, бутылку!

Ах, славные ребята! Не только добрые христиане, но и добрые бургундцы, как хорошо они поняли мою последнюю мысль! Вместо одной бутылки они принесли мне целых три: сабли, пуйи, иранси. Из окна моего корабля, готового сняться с якоря, я кинул им веревку. Пастушок привязал к ней старую плетеную корзинку, и я, из последних сил, втащил к себе моих последних друзей.

С этой минуты, лежа на своем сеничке, хоть все и ушли, я чувствовал себя не таким одиноким. Но я не стану пытаться изобразить вам протекшие затем часы. Не знаю как, но я их недосчитываюсь. Должно быть, у меня их стянули с десятка из кармана. Я знаю, что был погружен в пространную бездну с троицей духов в бутылках; но о чем мы говорили, решительно не помню. Тут я теряю Кола Брюньона: куда он мог запропасться?

Около полуночи я вижу его снова сидящим в саду, плотно уткнувшимся зад в грядку жирной, мягкой и свежей земляники и созерцающим небо сквозь ветки невысокой груши. Сколько там, наверху, огней, и сколько здесь, внизу, теней! Луна строила мне рожки. В нескольких шагах от меня куча старых лоз, черных, выющихся и когтистых, казалось, шевелилась, словно змеиное гнездо, и поглядывала на меня с бесовскими ужимками... Но кто мне объяснит, что я тут делаю? Мне кажется (все путается в моих слишком богатых мыслях), что я себе сказал:

— Встань, христианин! Римский император не встречает кончину, зарывшись задницей в перину. *Sursum corda!*¹ Бутылки пусты. *Consummatum est!*² Больше здесь нечего делать! Обратимся с речью к капусте!

И еще мне кажется, что я хотел нарвать чесноку, потому что это, как говорят, верное средство от чумы, а может быть, потому, что мне хотелось поддержать честь ног. Что достоверно, так это то, что едва я коснулся ногой (а за нею последовало и седалище) кормилицы-земли, как я почувствовал себя охваченным чарами ночи. Небо, подобно огромному дереву, круглому и темному, расстилало надо мной свой ореховый купол. С его ветвей тысячами свисали плоды. Мягко покачиваясь и поблескивая, точно яблоки, звезды зрели в теплом

¹ Горе имеем сердца! (лат.)

² Свершилось (лат.).

мраке. Плоды моего сада казались мне звездами. Все они наклонялись ко мне, чтобы взглянуть на меня. Я чувствовал, что на меня уставлены тысячи глаз. Тихие смешки пробегали по земляничным грядкам. В гуще дерева надо мной маленькая груша с золотисто-красными щечками пела мне прозрачной и сладкой струйкой голоса:

Кустик хилый,
Крепче, милый,
Забирай!

Как побег лозы ползучей,
На меня взбирайся круче,
Чтоб подняться прямо в рай.
Крепче, милый, крепче, милый,
Забирай!

И по всем ветвям земного сада и сада небесного хор тоненьких голосов, шепотливых, щебетливых, шаловливых, повторял:

Крепче, милый, крепче, милый!

Тогда я погрузил руки в мою землю и сказал:

— Хочешь ты меня? Я тебя хочу.

Я в мою добрую землю, жирную и рыхлую, зарылся до локтей; она таяла, словно грудь, а я мял ее коленями и пальцами. Я забрал ее в охапку, я выдавил в ней свой отпечаток, от ступней до лба; я устроил в ней свое ложе, я на нем развалился; растянувшись во весь рост, я глядел на небо с его звездными гроздьями, разинув рот, словно ждал, что которая-нибудь из звезд капнет мне под самый нос. Июльская ночь пела Песнь песней. Хмельной сверчок кричал, кричал, не щадя себя. Голос святого Мартына прозвонил двенадцать, а может быть, и четырнадцать, а может быть, и шестнадцать (во всяком случае, это был необычный звон). И вдруг звезды, звезды в высоте и звезды моего сада, вступили в перезвон... О боже, что за музыка! У меня разрывалось сердце, а уши гремели, как стекла в грозу. И я видел из ямы своей возрастающим Иессеево древо: виноградную лозу, совсем прямую, всю оперенную листьями, поднимающуюся у меня из чрева; и я подымался вместе с ней, и меня сопровождал весь мой поющий сад; на самой верхней ветке висящая звезда плясала, как потерянная; и, закинув голову, чтобы ее видеть, я лез ее сорвать, голоса во все горло:

Смотри, шашла,
Чтоб ты не ушла.
Смелей, Кола!
Она сплела!
Богу хвала!

Карабкался я, надо полагать, добрую часть ночи. Ибо распевал я несколько часов кряду, как мне потом сказывали. Распевал я всяческое, духовное и светское, и De Profundis¹, и эпиталамы, и нозли, и Laudate², фанфары и танцы, назидательные стихи и вольные песенки, и при этом играл на рылях и на волынке, бил в барабан и трубил в рог. Вспокоенные соседи держались за животики и говорили:

— Ну и труба! Это Кола душу отдает. Он с ума спятил, он с ума спятил!

На следующий день, рассказывают, я уважил солнце. Я не оспаривал у него чести встать первым! Было за полдень, когда я проснулся. Ах, с каким удовольствием я увидел себя, друзья мои, на своем гноище! Не то, чтобы постель была мягка или чтобы у меня чертовски не болели бока. Но как приятно сознавать, что у тебя еще есть бока! Как? Ты еще здесь, Брюньон, милый мой друг? Дай-ка, я тебя расцелую, сынок! Дай, пощупаю это тело, эту славную мордашку! Это действительно ты. Как я рад! Если бы ты меня покинул, никогда бы я, Кола, не утешился. Привет тебе, мой сад! Дыни мои смеются от удовольствия. Зрейте, голубушки. Но мое созерцание нарушают два болвана, которые орут через забор:

— Брюньон! Брюньон! Помер ты или нет?

Это Пайар и Шамай, которые, ничего больше не слыша, сокрушаются и уже, должно быть, превозносят на дороге мои усопшие добродетели. Я встаю (ай, проклятые бока!), подхожу тихонько, высовываю вдруг голову в окошко и кричу:

— Куку, вот и он!

Они подскакивают, как рыбы.

— Брюньон, ты не умер?

Они плачут и смеются от радости. Я кажу им язык:

— Жив курилка...

Поверите ли вы, что эти изверги продержали меня две недели взаперти в моей башне, пока не уверились, что я совсем здоров! Справедливость велит мне добавить, что они не оставляли меня ни без манны, ни без скальной воды (я разумею Ноеву воду). Они даже завели обычай являться поочередно посидеть у меня под окном, дабы сообщить мне последние новости.

Когда я, наконец, мог выйти, кюре Шамай сказал мне:

— Мой добрый друг, тебя спас великий святой Рох. Ты по меньшей мере обязан сходить его поблагодарить. Сделай это, прошу тебя!

Я ответил:

¹ «Из глубины взываю к тебе, господи» (лат.)—начальные слова псалма.

² «Хвалите имя господне» (лат.).

— По-моему, скорее уж святой Иранси, святой Шабли или Пуйи.

— Хорошо, Кола,— сказал он,— постараемся оба; разрежем грушу пополам. Ты сходи к святому Роху, для меня. А я воздам благодарение святой Бутылке, для тебя.

Когда мы совершали совместно это сугубое паломничество (верный Пайар довершал трио), я сказал:

— Сознайтесь, друзья мои, что вы не так охотно чокнулись бы со мной в тот день, когда я у вас попросил посошок? Вы как будто были не очень расположены мне сопутствовать.

— Я тебя очень любил,— сказал Пайар,— клянусь тебе; но что поделаешь? Себя я тоже люблю. Прав был тот, кто сказал: «Мне мое мясо ближе, чем рубашка».

— *Mea culpa, mea culpa*¹,— бурчал Шамай, колотя себя в грудь, как в барабан,— я трус, такова уж моя природа.

— Куда ты девал, Пайар, Катоновы уроки? А тебе, кюре, на что послужила твоя религия!

— Ах, мой друг, жить так хорошо! — воскликнули оба с глубоким вздохом.

Тогда мы облобызались все трое, смеясь, и сказали друг другу:

— Порядочный человек не многого стоит. Надо его брать таким, как он есть. Бог его создал, и богу честь.



¹ Грешен, грешен (дословно: моя вина) (лат.).



Конец июля

опять начинал чувствовать вкус к жизни. Давалось это мне легко, как вы охотно мне поверите. И даже, сам не знаю как, я находил ее еще более смачной, чем раньше, нежной, рассыпчатой и золотистой, поджаренной в самый раз, хрусткой, упругой на зубах и тающей на языке. Аппетит воскресшего. Вот уж Лазарь, должно быть, сладко ел!..

И вот однажды, когда, весело поработав, я состязался с товарищами Самсоновым оружием, вдруг входит крестьянин, пришедший из Морвана.

— Мэтр Кола,— говорит он,— я позавчера видел вашу хозяйку.

— Мошенник! — говорю я.— Тебе везет! А как старуха поживает?

— Очень хорошо. Она собирается в путь.

— Куда это?

— И очень спешно, сударь, в лучший мир.

— Он перестанет им быть,— замечает один скверный шутник.

А другой:

— Она уходит. Ты остаешься. За твое здоровье, Кола. Удача никогда не приходит одна.

Я, чтобы не отставать от других (а все-таки я был расстроен), я отвечаю:

— Выпьем! К человеку милостив всевышний, если берет от него жену, когда она стала лишней.

Но вино показалось мне вдруг кисловатым, я не мог допить стакана; и, взяв палку, ушел, даже ни с кем не попрощавшись. Они кричали:

— Куда ты? Какая муха тебя укусила?

Я был уже далеко, я не ответил, сердце у меня ныло... Видите ли, можно не любить свою старуху, злиться друг на друга день и ночь, целых двадцать пять лет, но в час, когда за ней приходит курносая, за той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, столько времени мешала свой пот с вашим потом и в тощей утробе своей растила семя рода, вами

посеянное, вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло; словно кусок вас самих отваливается; и пусть он некрасив, пусть он вас порядком стеснял, болеешь о нем, болеешь о себе, жалко и себя и его... Любишь его, прости господи...

Пришел я на следующий день, в сумерки. С первого же взгляда я увидел, что великий ваятель хорошо поработал. Сквозь истертый полог истрескавшейся кожи трагически проступало лицо смерти. Но еще более верным знаком конца было для меня то, что, увидав меня, она сказала:

— Бедный ты мой, ты не слишком устал?

При этих добрых словах, которые всего меня передернули, я подумал:

«Дело ясное. Старушке конец. Она подобрела».

Я сел возле нее и взял ее за руку. Она была так слаба, что не могла говорить, и благодарила меня взглядом за то, что я пришел. Чтобы ее подбодрить, стараясь шутить, я рассказал, как я оставил с носом чересчур нетерпеливую чуму. Она ничего об этом не знала. Это настолько ее взволновало (этакий я косолапый!), что она лишилась чувств, чуть душу не отдала. Когда она пришла в себя, к ней вернулся ее язычок (слава тебе, господи!) и вернулась злоба. И вот она принимается, запинаясь и лепеча (слова не желали выходить или выходили не такие, как она хотела; тогда она злилась), и вот она принимается меня допекать, говоря, что это стыд, что я ничего ей не сказал, что я бессердечный человек, что я хуже собаки, что, как вышеназванная, я заслужил того, чтобы околеть от рези один-одинешенек, на своем гноище. И еще всякими другими ласковыми словами наградила она меня. Ее старались успокоить. Мне говорили:

— Уйди ты! Ты же видишь, ты ее волнуешь. Выйди на минуту!

Но я рассмеялся, нагнувшись к ее кровати, и сказал:

— В добрый час! Я тебя узнаю! Есть еще надежда. Ты все такая же злая...

И, взяв в свои большие ладони ее голову, ее старую, трясущуюся голову, я от всего сердца поцеловал ее дважды, в обе щеки. И она опять заплакала.

И вот мы остались, спокойно и молча, совсем одни в комнате, где в стене жучок-часовщик отстукивал сухое тиканье предсмертных минут. Все остальные вышли в соседний покой. Она тяжело дышала, и я увидел, что ей хочется говорить.

Я сказал:

— Ты, старушка, не утомляй себя. За двадцать пять лет обо всем переговорено. Понимаешь друг друга без слов.

Она сказала:

— Ничего не переговорено. Мне надо сказать, Кола; иначе рай... куда я не попаду...

— Попадешь, попадешь,— говорю.

— ...Иначе рай будет для меня горше адской желчи. Я была с тобой, Кола, резка и бранчива...

— Да нет же, да нет же,— говорю.— Чутьочку кислоты только полезно.

— ...Ревнива, вспылчива, сварлива, груба. Своим дурным настроением я наполняла весь дом; и чего я только с тобой не выделывала...

Я похлопал ее по руке:

— Ничего. У меня кожа толстая.

Она продолжала чуть слышно:

— Но это потому, что я тебя любила.

— А я и не знал!— сказал я, смеясь.— Что ж, у всякого своя манера. Но отчего ж ты мне не сказала? Догадаться было не так-то легко.

— Я тебя любила; а ты меня не любил. Поэтому ты был добрый, а я была злая; я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь; а тебе было все равно... У тебя был твой вечный смех, Кола, тот же самый, что и сейчас... Боже мой, и настрадалась же я из-за него! Ты в него закутывался, как от дождя; и сколько я ни проливалась дождем, никогда-то мне не удавалось промочить тебя, разбойник. Ах, как ты мне делал больно! Много раз, Кола, я готова была помереть.

— Жenuшка ты моя, говорю, ведь я же не люблю воды.

— Вот ты опять смеешься, мошенник!.. Что ж, это хорошо. Смех согревает. Вот сейчас, когда земляной холод поднимается у меня по ногам, я чувствую всю цену твоему смеху; ссуди меня твоим плащом. Смейся вволю, милый мой; я на тебя больше не сержусь; а ты, Кола, прости меня.

— Ты была хорошая жена,— сказал я,— честная, стойкая и верная. Может быть, не каждый день ты была так уж мила. Но никто не совершенен; это было бы неуважением к тому, там, в небесах, кто один совершенен, говорят (сам я не видал). И в черные часы (не в ночные часы, когда все кошки серы, а в годы бед и тощих коров) ты была совсем уж не так безобразна. Ты была храброй, ты ни разу не отфыркнулась от работы; и твоя урюмость казалась мне почти прекрасной, когда ты обращала ее против злой судьбы, не отступая ни на шаг. Но не будем больше мучиться прошлым. Достаточно того, что мы его раз снесли, не споткнувшись, не крикнув, не заклеив себя стыдом. Что сделано, то сделано, и этого не переделаешь: Ноша сложена наземь. И теперь дело хозяина взвесить ее, если ему угодно. Нас это уже не касается. Уф! Передохнем, старина! Нам теперь остается отстегнуть ремни, натрудившие

нам спину, растереть онемевшие пальцы, затекшие плечи и вырыть себе яму в земле, чтобы уснуть, разинув рот и храпя, как орган,— *Requiescat!*¹ Мир тем, кто поработал! — великим сном Вечности.

Она слушала меня, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я кончил, она открыла глаза, протянула мне руку.

— Мой друг, покойной ночи. Завтра ты меня разбудишь. И уронила руку.

Затем, как женщина порядливая, она вытянулась на кровати во весь рост, натянула на себя простыню до самого подбородка, так чтобы не оставалось ни единой складки, прижала распятие к пустым грудям; затем, как женщина решительная, с заостренным носом, с неподвижным взглядом, готовая в дорогу, стала ждать.

Но, видно, ее старым костям, прежде чем изведать покой, суждено было еще в последний раз пройти, чтоб очиститься, сквозь беду, этот земной огонь (таков наш жребий). Ибо в эту самую минуту отворилась дверь, и хозяйка, вбежав в комнату, крикнула, задыхаясь:

— Скорее! Идите сюда, мэтр Кола!

Я спросил, недоумеая:

— В чем дело? Говорите потише.

Но она, на своей кровати, уже собравшаяся в дальний путь,— словно ей с высоты ее повозки видно было поверх наших голов то, чего не было видно мне,— она приподнялась на смертном ложе, оцепенелая, как тот, которого разбудил Иисус, протянула к нам руки и воскликнула:

— Моя Глоди!

Тут понял и я, пронзенный этим криком и хриплым кашлем, донесшимся из-за стены. Я бросился туда и застал мою бедную ласточку, которая, со сдавленным горлом, силясь разжать ручонками душивший ее узел, вся красная и горячая, взывала о помощи растерянными глазами и билась, как раненая птичка.

Что это была за ночь, я не могу рассказать. Еще и сейчас, когда меня от нее отделяют пять полных дней, стоит мне вспомнить, как у меня ноги подкашиваются; я должен сесть. Ух, дайте перевести дух... Неужели же есть в небе хозяин, которому нравится медленно мучить эти маленькие создания, чувствовать, как под его пальцами хрустят эти хрупкие шейки, видеть, как они мечутся, и сносить их удивленно-укоризненные взгляды! Я понимаю, что можно дубасить старых ослов, вроде меня, делать больно тому, кто способен защититься, здоровенным дядям, коренастым теткам. Если

¹ «Да упокоится» (лат.)— католическая молитва по умершим.

тебе приятно, когда мы орем, изволь, господи боже, попробуй! Человек — твое подобие. Что ты, как и он, не всякий день бываешь добр, что ты взбалмошен, коварен, любишь иной раз навредить из желания разрушить, испытать свою силу, от избытка крови, потому что ты не в духе или просто от нечего делать, — это меня в конце концов не так уж удивляет. В наши годы мы за себя постоим; когда ты нас изводишь, мы это умеем тебе сказать. Но выбирать себе мишенью этих бедных ягнят, у которых, пожми им нос, закаплет молоко, это, брат, ни-ни! Это уж слишком, этого мы не допустим! Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. Мы тебя предупреждаем, всевышний, если ты вздумаешь продолжать, мы очень скоро будем вынуждены, к великому нашему сожалению, тебя развенчать... Но только я не хочу верить, чтобы это было делом твоих рук, я слишком тебя уважаю. Если возможны такие злодеяния, отец наш, то одно из двух: или у тебя нет глаз, или ты не существуешь... Ай, вот неуместное слово, беру его назад! Что ты существуешь, доказывается уже тем, что вот мы с тобой сейчас беседуем. Сколько у нас с тобой бывало споров! И, между нами говоря, сударь мой, сколько раз я принуждал тебя умолкнуть! А в эту зловещую ночь, как я тебя звал, поносил, страдал, отвергал, просил, умолял! Как я воздевал к тебе сложенные руки и грозил тебе стиснутым кулаком! Это ничему не помогло, ты глазом не моргнул. Во всяком случае, ты не станешь отрицать, что я всячески старался тебя тронуть! Но раз ты не желаешь, черт возьми, раз тебе не угодно меня услышать, покорнейший слуга, тем хуже для тебя, господи мой боже! Мы знаем и других, обратимся в другое место...

Мы со старой хозяйкой были одни при больной. Мартина, у которой начались в дороге родовые схватки, осталась в Дорнеси, поручив Глоди бабушке. Когда мы увидели наутро, что наша маленькая мученица кончается, мы прибегли к крайним средствам. Я взял на руки ее разбитое тельце, легче перышка (оно уже не билось даже и, свесив голову, только порывисто вздрагивало, как воробышек). Я взглянул в окно. Ветер и дождь. Роза на стебле свешивалась к стеклу, словно войти хотела. Предвестие смерти. Я перекрестился и, несмотря ни на что, вышел. Сырой, резкий ветер так и вломился в дверь. Я прикрыл рукой голову моей касатки, боясь, как бы вихрь не задул лампадки. Мы пошли. Впереди шагала хозяйка, неся дары. Мы вступили в придорожный лес и вскоре увидели, на краю болота, дрожащую осину. Над полчищами диких камышей она царила, высокая и прямая, как башня. Мы обошли ее кругом раз, другой, третий. Малютка стонала, и ветер в листве стучал зубами, как она. Ручонку

девочки мы обязали лентой, другой конец прикрепили к ветви старого, дрожащего дерева, и мы с беззубой хозяйкой принялись повторять:

Дрожи вся, дрожи сплошь,
Перейми мою дрожь.
Прошу тебя об этом
Перед целым светом
И пресвятою троицей,
А если не устроится,
О чем тебя молю,
Берегись, срублю!

Затем старуха вырыла посреди корней яму, вылила туда кружку вина, положила две головки чесноку, ломоть сала, а сверху грош. Еще три раза обошли мы вокруг моей шапки, положенной наземь и набитой камышом. При третьем разе мы в нее плюнули, твердя:

— Жабы болотные, жирные, плотные, жаба вас удави!

Потом, на обратном пути, у лесной опушки, мы опустились на колени перед кустом боярышника; к его ногам положили ребенка и, во имя святого терновника, помолились сыну божьему.

Когда мы, наконец, вернулись домой, малютка казалась мертвой. Во всяком случае мы сделали все, что могли.

Меж тем моя жена не желала помирать. Любовь к Глоди привязывала ее к жизни. Она металась, крича:

— Нет, я не уйду, господи Иисусе, Мария дева, пока не узнаю, что вы с ней решили сделать и должна она или не должна поправиться. А только она поправится, ей-же-ей, я этого хочу. Я этого хочу, хочу и хочу; сказано, и конец.

Но, по-видимому, это не совсем еще было сказано; потому что, сказав, она начинала сызнава. Ну и духу же в ней было! А я-то думал, что она вот-вот испустит последний! Если это был последний, то и здоровенный же он был... Брюньон, скверный человек, ты смеешься, тебе не стыдно? Что ж делать, милые друзья? Таков уж я. Я могу смеяться и все-таки страдать; зато французу для смеха и страданье не помеха. И, плачет он или хохочет, он прежде всего видеть хочет. Да здравствует Janus bifrons¹ с вечно открытыми глазами!..

Итак, мне было вовсе не легко слышать, как она надсаживается и надрывается, бедная старушка; и хоть я и томился не меньше ее, мне хотелось ее успокоить, я говорил ей такие слова, какие говорят детишкам малым, и ласково кутал ее одеялом. На она яростно отбивалась, крича:

¹ Двуликий Янус, древнеримское божество (лат.).

— Дармоед! Если бы ты был мужчина, разве бы ты не нашел средства, как ее спасти? Себя-то ты спасти сумел. На что ты годеи? Это тебе надо было умереть.

Я отвечал:

— Что ж, я с тобой согласен, старуха, ты права. Я бы отдал свою шкуру, если бы кто-нибудь ее пожелал. Но, видно, на том свете она не нужна: поношена, отслужила свое. Я гожусь (это правда), как и ты, только на то, чтобы страдать. Будем же страдать молча. Быть может, это зачтется, и меньше останется на долю невинной крошки.

Тогда ее старая голова прильнула к моей, и соль наших глаз смешалась у нас на щеках. В комнате чувствовалась нависшая тень от крыльев архангела смерти...

И вдруг он исчез. Вернулся свет. Кто сотворил это чудо? Всевышний ли бог, или боги лесов, Иисус, милосердый ко всем несчастным, или грозная земля, которая наводит и отводит недуги, была ли то сила молитв, или страх моей жены, или то, что я задобрил осину? Но этого никогда не узнать; и в неведении моем я возношу благодарения (оно вернее) всей компании, присоединяя к ней и тех, кого я даже и не знаю (они-то, может быть, и есть самые лучшие). Как бы там ни было, достоверно одно, и только оно для меня и важно, — это, что с этой минуты жар спал, дыхание заструилось в хрупкой гортани, как легкий ручеек; и моя маленькая покойница, выскользнув из объятий архангела, воскресла.

Тут мы почувствовали, как тают наши старые сердца. Мы запели: «Nunc dimittis¹, господи!..», и моя старуха, поникнув со слезами радости, уронила голову на подушку, словно камень, который уходит в землю, и вздохнула:

— Теперь я могу идти!..

И сразу взгляд ее потерялся, лицо провалилось, словно разом отлетело дыхание. А я, склонившись над кроватью, где ее уже не было, глядел словно в глубь речного омета, где очертания исчезнувшего тела остаются на миг запечатленными и пропадают, кружась. Я закрыл ей веки, поцеловал ее в восковой лоб, сложил вместе ее трудолюбивые руки, ни разу не отдохнувшие за всю жизнь; и, без печали, покинув угасшую лампаду, где выгорело масло, я подсел к новому огоньку, который должен был отныне озарять дом. Я смотрел, как малютка спит; я стерег ее сон с растроганной улыбкой и думал (как помешать думаи?):

«Не странное ли дело, что так вот привязываешься к такому маленькому существу? Без него словно и нет ничего. А с ним все хорошо, даже самое плохое, все равно. Да, пусть

¹ «Ныне отпускаеши» (лат.).

я умру, бери меня, черт, в свою дыру! Лишь бы она жила, она, на остальных мне наплевать! Однако как же это так? Вот я, живой и здоровый, хозяин своих пяти чувств, и еще нескольких на придачу, и прекраснейшего из всех, его светлости — моего разума; я никогда не брюзжал на жизнь, в утробе у меня десять локтей пустых кишок, всегда готовых ее почествовать, у меня ясная голова, верная рука, сильные ноги и легкий шаг, я работник спорый, бургундец матерый; и вдруг я готов всем этим пожертвовать ради какой-то маленькой твари, которой я даже не знаю? Потому что ведь в сущности что она такое? Славная зверюшка, забавная игрушка, молоденький попугай, существо, которое пока ничто, но которое чем-то *будет*, может быть... И ради этого «может быть» я стану расточать мое: «Я есмь, я есмь я, и мне у себя хорошо внутри, черт побери!» Да ведь в том-то и дело, что это «может быть» — это мой лучший цветок, тот, ради которого я живу. Когда черви обгложут мои кости, когда мое тело истлеет на жирном погосте, я воскресну, господи, в другом «я», которое будет красивее, лучше и счастливее... А почему я знаю? Почему оно будет лучше меня? Потому что оно ногами станет мне на плечи и будет видеть дальше, шагая над моей могилой... О вы, исшедшие из меня, вы, что будете впивать свет, который уже не омоет мои глаза, его любившие, вашими глазами я вбираю урожай грядущих дней и ночей, я вижу смену годов и веков, я наслаждаюсь и тем, что я предчувствую, и тем, что мне неведомо. Все проходит мимо меня; но я сам иду вперед; и иду все дальше, иду все выше, несомый вами. Дальше жизни моей, дальше нивы моей тянутся борозды; они обнимают землю, они охватывают пространство; подобно Млечному Пути, они покрывают сетью весь лазурный свод. Вы — моя надежда, вы — мое желание, вы — мои семена, которые я кидаю в грядущие времена».





Середина августа

тмечать ли нам сегодняшний день? Это черствый кус. Он еще не совсем переварен. Ничего, старина, не унывай! Так он легче пройдет.

Говорят, с летним дождем богатства ждем. Если так, то я должен бы быть богаче Креза: потому что нынче летом на меня так и хлещет; а я меж

тем наг и бос, как Иван Креститель. Не успел я выдержать это двойное испытание,— Глоди исцелилась, и жена моя также, одна от болезни, другая от жизни,— как силы, правящие миром (видно, в небесах какая-то женщина на меня зла; и что я ей сделал?... Она меня любит, не иначе!), обрушились на меня бешеным натиском, из которого я вышел голым, избитым, так что кости ноют, но (в конце концов это главное) все они целы.

Хоть внучка моя совсем уже поправилась, я не торопился к себе домой; я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровлением еще больше, чем она сама. Когда выздоравливает ребенок, то словно созерцаешь сотворение вселенной; весь мир точно свежеснесенный, молочный. Итак, я прохладился, рассеянно прислушиваясь к новостям, которые заносили, идя на рынок, кумушки. Как вдруг однажды я насторожился, старый осел, завидевший дубинку погонщика. Говорили, что в Кламси горит Бевронское предместье и что дома пылают, как хворост. Никаких подробностей мне так и не удалось добыться. С этой минуты я сидел, из симпатии, как на угольях. Как меня ни успокаивали:

— Да ты не волнуйся! Дурные вести не сидят на месте. Если бы дело касалось тебя, ты бы давно уже знал. Причем тут твой дом? Ослов в Бевроне много...

Меня разбирала тревога, я твердил себе:

— Это он... Он горит, я чую гарь...

Я взял палку и пошел. Я думал:

«Какой же я дурак! Ведь это я в первый раз ушел из Кламси, ничего не спрятав! Иначе всегда, когда приближался враг, я уносил за стены, по ту сторону моста, моих ларов, мои деньги, создания моего искусства, которыми я особенно горжусь, мои орудия, и домашний скраб, и всякий хлам,

некрасивый, неудобный, но которого не отдал бы за все золото мира, потому что это священные воспоминания нашего убогого счастья... А тут я все оставил...»

И я слышал, как с того света моя старуха разносит меня за глупость. А я ей отвечал:

— Сама виновата, это из-за тебя я так торопился!

Основательно с ней погрызшись (как-никак, часть пути мне было занятие), я начал убеждать и ее и себя, что тревожиться мне не о чем. Но, несмотря ни на что, все та же мысль, как муха, упорно садилась мне на нос; я видел ее все время; холодный пот струился у меня вдоль спины и ребер. Шел я быстро. Я уже миновал Вилье и начал подниматься вдоль лесистого склона, как вдруг вижу, едет по косогору тележка, а в ней отец Жожо, мельник из Муло, который узнает меня, останавливается, взмахивает кнутом и кричит:

— Бедный ты человек!

Меня словно в живот ударило. Я так и стал, разинув рот, у края дороги. Он продолжает:

— Куда ты идешь? Поворачивай, Кола! Не ходи в город. Только зря расстроишься. Все сожжено, снесено. Ничего у тебя не осталось.

Этот скот каждым своим словом переворачивал во мне кишки. Я решил не распускаться, проглотил слюну, подтянулся, сказал:

— Я это знаю!

— В таком случае,— сказал он обиженно,— что ж ты там думаешь найти?

Я отвечаю:

— Остатки.

— Ничего не осталось, говорю тебе, как есть ничего, ни луковицы.

— Жожо, ты преувеличиваешь; я никогда не поверю, чтобы мои два подмастерья и мои добрые соседи стали смотреть, как горит мой дом, и не попытались вытащить из огня хоть несколько каштанов, хоть кое-какие вещи, побратски...

— Твои соседи, несчастный? Да это они и подожгли!

Это меня доконало. Он сказал, торжествуя:

— Вот видишь, ничего-то ты не знаешь!

Я стоял на своем. Но он, убедившись, что первым сообщает мне злую весть, начал, довольный и сокрушенный, свое повествование о том, как меня изжарили.

— Это все чума,— сказал он.— Они все с ума посходили. И зачем только все эти господа управские и окружные, старшины, прокуроры, нас покинули? Пастухов нет. Бараны взбесились. Когда в Бевроне объявились новые заболевания, стали

кричать: «Спалим зачумленные дома!» Сказано — сделано. Так как тебя не было, то, понятное дело, начали с твоего. Старались усердно, каждый подсоблял, считали, что трудятся на пользу города. И потом один другого раззадоривает. Когда принимаешься разрушать, делается что-то непонятное; пьянеешь, удержи нет, нельзя остановиться... Когда они подождли, они пустились плясать вокруг. Это было сумасшествие какое-то... «На Бевронском мосту люди пляшут, люди пляшут...» Если бы ты их видел... «Посмотри, как пляшут»... Если бы ты их видел, ты, может быть, и сам пустился бы с ними в пляс. Можешь себе представить, как все это дерево у тебя в мастерской пылало, стреляло... Словом, сожгли все.

— Мне бы хотелось на это посмотреть. Должно быть, красиво было,— сказал я.

Я действительно так думал. Но я думал также:

«Я погиб! Они меня убили».

Только этого я ему не стал говорить.

— Так тебе это нипочем? — спросил он с недовольным видом.

(Он меня очень любил, милый человек; но все-таки приятно бывает — такова уже человеческая природа! — увидеть иногда соседа в беде, хотя бы ради удовольствия его утешить.)

Я сказал:

— Жаль, что для такого славного костра не подождали до Ивановой ночи.

Я собрался идти.

— Так ты все-таки идешь?

— Иду. Прощай, Жожо.

— Ну и чудак!

Он стегнул лошадь.

Я шагал, или, скорее, делал вид, что шагаю, пока тележка не скрылась за поворотом. Я бы не прошел дальше и десяти шагов, ноги у меня отнялись, я рухнул на камень, словно сел на горшок.

Минуты, которые затем последовали, были скверные минуты. Мне уже не требовалось хорохориться. Я мог быть несчастным, несчастным всласть. Я в этом себе и не отказывал. Я думал:

«Я все потерял: свой кров и с ним надежду когда-либо его воссоздать; свои сбережения, накопленные день за днем, грош за грошом, медленным трудом, который есть лучшее из наслаждений; воспоминания моей жизни, вьевшиеся в стены, тени прошлого, подобные светочам. И я потерял гораздо большее, я потерял свою свободу. Куда мне теперь деваться? Мне придется поселиться у кого-нибудь из моих детей. А ведь

я клялся, что меня никогда не постигнет такая беда! Я их люблю, само собой; они меня любят, конечно. Но я не настолько глуп, чтобы не знать, что всякая птица должна сидеть в своем гнезде и что старшие стесняют младших и сами стеснены. Всякий заботится о своих яйцах, о тех, которые он снес, а до тех, откуда он выщел сам, ему больше нет дела. Старик, который упорно продолжает жить, становится помехой, если он суется в молодой выводок; и сколько бы он ни старался держаться в стороне, ему подобает уважение! К черту уважение! Это причина всех бед: из-за него равенства нет. Я делал все возможное, чтобы моих пятерых детей не душило уважение ко мне; и это мне, я бы сказал, удалось; но что бы вы ни делали и как бы они вас ни любили, они всегда будут смотреть на вас слегка как на чужого: вы пришли из краев, где они не родились, а вы не узнаете тех стран, куда они идут; так как же вам вполне понять друг друга? Вы друг друга стесняете, и вас это сердит. И потом страшно сказать: человек, которого больше всего любят, должен меньше всего подвергать испытанию любовь своих близких: это значило бы insultовать бога. Нельзя слишком многого требовать от нашей человеческой природы. Хорошие дети хороши; мне жаловаться не на что. И они еще лучше, если не приходится к ним обращаться. Я бы мог многое рассказать на этот счет, если бы хотел. Словом, у меня есть гордость. Я не люблю отнимать пирог у тех, кому я его дал. Я словно говорю им: «Платите!» Куски, которые я не заработал сам, застревают у меня в горле; мне кажется, будто чьи-то глаза считают каждый мой глоток. Я желаю быть обязанным только моим трудам. Мне надо быть свободным, быть хозяином в своем доме, входить, выходить, когда вздумается. Я никуда не гожусь, когда чувствую себя униженным. О, горе быть старым, зависеть от милости близких; это еще хуже, чем зависеть от сограждан: потому что близкие вынуждены оказывать вам милость; никогда не знаешь, по доброй ли воле они это делают; и предпочел бы околоть, лишь бы не стеснять их».

Так я стонал, уязвленный в своей гордости, в своих привязанностях, в своей независимости, во всем любимом, в воспоминаниях былого, рассеявшихся дымом, во всем, что во мне было и лучшего и худшего; и я знал, что все равно, как бы я ни возмущался, мне придется пойти этим единственным путем. Должен сознаться, что вел я себя отнюдь не как философ. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, срубленное под корень и рассеченное на куски.

Сидя на своем горшке и отыскивая по сторонам, за что бы зацепиться, я увидел невдалеке застланную кудрями деревьев, окаймлявших въезд, зубчатую башенку замка Кенси.

И мне сразу вспомнились все чудесные работы, которые я за четверть века там разместил, мебель, панели, резная лестница, все, что этот добрый сеньор Фильбер мне заказывал... Удивительный чудак! Иной раз он меня бесил чертовски. Ведь взбрендило же ему в один прекрасный день, чтобы я изваял его любовниц в костюме Евы, а его самого в одеянии Адама, Адама игривого, предприимчивого, уже после явления змея! А в оружейной палате,—ведь вздумалось же ему, чтобы олени головы, изваянные в виде трофея, изображали физиономии честных местных рогачей? Поохотали мы с ним вдоволь... Но угодить этому черту было нелегко... Бывало, кончишь — и начинай сначала. А что до денег, то видать их было редко... Да это неважно! Он умел любить все красивое, будь оно из дерева или из плоти, и почти что одинаковым образом (и это правильно: создание искусства надо любить, как любишь свою милую, страстно, душой и телом). И если он, воруга, мне и не доплатил, то зато он меня спас! Потому что, хоть там я и погиб, здесь я уцелел. Дерево моего прошлого разрушено; но у меня остались его плоды; они защищены от холода и огня. И мне захотелось снова их увидеть и впитаться в них зубами тотчас же, чтобы вернуть себе вкус к жизни.

Я вошел в замок. Там меня хорошо знали. Хозяина не было дома; но, сославшись на то, что мне якобы нужно сделать обмеры для новых работ, я направился туда, где знал, что найду свои детища. Я уже несколько лет их не видал. Пока художник чувствует силу в чреслах, он родит и не вспоминает о рожденном. К тому же последний раз, что я хотел войти, господин де Кенси с каким-то странным смешком меня не впустил. Я решил, что у него, должно быть, спрятана какая-нибудь особа, какая-нибудь замужняя женщина, и так как я был вполне уверен, что это не моя жена, то я и не стал волноваться. И потом с причудами этих вельможных скотов не спорят; оно благоразумнее. В Кенси никто и не старается понять хозяина: у него мозги не совсем в порядке.

Итак, я смело пошел по главной лестнице. Но не сделал я и десяти шагов, как остолбенел, подобно Лотовой жене. Виноградные гроздья, персиковые ветви и цветущие лианы, обвившиеся вокруг резных перил,— все это было грубо искромсано ножом. Я не верил своим глазам, я обхватил ладонями несчастных калек; я ощутил пальцами начертания их ран. Со стоном, задыхаясь, я бросился наверх: я страшился того, что увижу!.. Но это превзошло мои ожидания.

В столовой, в оружейной, в спальне, у всех фигур на мебели и на панелях были отрезаны то нос, то рука, то нога, то фиговый листок. На стенках сундуков, на каминах, на стройных бедрах резных колонн виднелись, как раны, глубо-

кие надписи ножом, имя владельца, какая-нибудь идиотская мысль или же день и час этой Геркулесовой работы. В глубине большой галереи моя красивая Ионнская нимфа, опирающаяся коленом на шею мохнатой львицы, послужила мишенью, ее живот был продырявлен аркебузными выстрелами. И повсюду, куда ни взглянешь, все изломано и изрезано, настроганные стружки, чернильные и винные пятна, намалеванные усы или грязные шутки. Словом, все, что скука, все, что одиночество, все, что гаерство и тупость могут подсказать несуразного мозгам богатого идиота, который сам не знает, что придумать, сидя у себя в замке, и, ни на что не способный, умеет только разрушать... Будь он здесь, мне кажется, я бы его убил. Я стонал, я глухо сипел. Я долго не мог ничего вымолвить. Шея у меня стала вся багровая, и жилы на лбу вздулись; я вылупил глаза, как рак. Наконец, несколько ругательств вырвалось—таки наружу. Пора было! Еще немного, и я бы задохся... Раз пробку выбило, уж я дал себе волю, бог мой! Десять минут кряду, не переводя духа, я поминал всех богов и изливал свою ненависть:

— У, собака,—кричал я,—на то ли я привел в твою берлогу моих чудесных детей, чтобы ты их замучил, изуродовал, изнасиловал, перепачкал и запакостил! Увы, мои дорогие малютки, рожденные в радости, вы, в ком я видел своих наследников, кого я создал здоровыми, сильными и крепкими, с мясистыми телами, где все было на месте, вы, сработанные из такого дерева, что жить бы вам тысячу лет, в каком виде я вас застаю, изувеченными, искалеченными, сверху, снизу, спереди и сзади, с носа и с кормы, с погреба и с чердака, исполосованными, как шайка старых громил, вернувшихся с войны! И неужто я отец всей этой богадельни!.. Великий боже, услышь меня, даруй мне милость (быть может, мою молитву ты считаешь излишней) попасть после смерти не в рай твой, а в ад, к самому вертелу, где Люцифер поджаривает проклятые души, чтобы моя рука ворочала и так и этак палача моих детей, проткнутого через задний проход!

Но тут старый Андош, знакомый мне лакей, попросил меня прервать мои вопли... Подталкивая меня к дверям, этот почтенный человек пытался меня утешить.

— Виданное ли дело,—говорил он,—приходить в такое состояние из-за каких-то деревяшек! Что бы ты сказал, если бы тебе пришлось жить, как нам, с этим сумасшедшим? Не лучше ли, чтобы он потешался (это его право) над досками, за которые он тебе заплатил, чем над добрыми христианами, как мы с тобой?

— Эх,—отвечал я,—пусть он тебя лупит на здоровье! Ты думаешь, я бы не дал себя выпороть за любую из этих

деревяшек, оживленных моими пальцами? Человек — ничто; свято его создание. Трижды убийца — убивающий мысль!..

Я бы еще многое мог сказать, и не менее красноречиво; но я увидел, что мои слушатели ничего не поняли и что я для Андоша едва ли не такой же сумасшедший, как его хозяин. И когда я при этом еще раз обернулся на пороге, чтобы окинуть последним взглядом поле сечи, вдруг мысль о том, как все это смешно: и мои бедные безносые боги, и их Аттила, и Андош с его спокойными глазами, жалеющими меня, и я сам, старый дурак, даром тратящий слюну на стоны и на монолог, который слышит только потолок,— вдруг мысль о том, как все это смешно, пронеслась у меня в голове... ффррт... как ракета; так что, сразу позабыв и гнев и горе, я рассмеялся в лицо опешившему Андошу и вышел вон.

Я был снова на дороге. Я думал:

«На этот раз они отняли у меня все. Меня можно закапывать в землю. У меня ничего не осталось, кроме моей шкуры... Да, черт возьми, но осталось и то, что в ней. Как у того осажденного, который, на угрозу убить его детей, если он не сдастся, отвечал: «Изволь! У меня здесь при себе орудие, чтобы наделать новых»,— мое орудие со мной, черт подери, его у меня не отняли, его у меня не отнять... Мир — бесплодная равнина, где, местами, колосятся нивы, засеянные нами, художниками. Звери земные и небесные клюют их, жуют и топчут. Бессильные творить, они умеют только убивать. Грызите и уничтожайте, скоты, попирайте ногами мою рожь, я выращу новую. Колос зрелый, колос мертвый, что мне жатва? Во чреве земли бродят новые семена. Я то, что будет, а не то, что было. И в день, когда моя сила угаснет, когда у меня не будет больше моих глаз, моих мясистых ноздрей и глотки под ними, куда спускаешь вино и где так хорошо подвешен мой неугомонный язык, когда у меня не будет больше моих рук, ловкости моих пальцев и моей свежей мощи, когда я буду очень стар, бескровен и бестолков... в этот день, Брюньон, меня уже не будет. Да ты не беспокойся! Разве можно себе представить Брюньона, который перестал бы чувствовать, Брюньона, который перестал бы творить, Брюньона, который перестал бы смеяться, у которого не летели бы искры из-под копыт? Нельзя: это будет значить, что от него остались одни штаны. Можете их спалить. Берите мои обноски...»

И с этими словами я зашагал в Кламси. Когда я взобрался на перевал, этаким петушком, играя посошком (скажу, не требуя похвал, уже я меньше горевал), я вижу вдруг — бежит мне навстречу белокуроый человечек, бежит и плачет; это был Робине, он же Бине, мой ученичок. Мальчуган тринадцати лет, который за работой обращал больше внимания на мух, чем на

урок, и время проводил не столько в доме, сколько на дворе, кидая камешки в воду или заглядываясь на девичьи икры. Я потчевал его подзатыльниками раз двадцать в день. Но ловок он был, как обезьяна, хитер; пальцы у него были шустрые, как он сам, отличные работники; и мне нравились, несмотря ни на что, его вечно разинутый рот, его зубы, как у маленького грызуна, его худые щеки, его острые глаза и вздернутый носик. И он это знал, шельмец! Я мог сколько угодно поднимать кулак и метать грозу; он чувствовал улыбку в Юпитеровом глазу. И когда я, бывало, дам ему подзатыльник, он встряхнетя невозмутимо, как ослик, и опять за свое. Это был сущий бездельник.

Поэтому я был немало удивлен, когда увидел его во образе фонтанного тритона, заливающимся крупными слезами, которые, как спелые груши, падали у него из глаз и из носу. И вдруг он кидается ко мне и обхватывает меня поперек живота, орошая мне пах слезами и мыча. Я ничего не понимаю, я говорю ему:

— Эй, как тебя? Что это с тобой? Да отпусти же меня! Надо, черт возьми, сперва высморкаться, а потом уже целоваться.

Но он, вместо того чтобы перестать, все так же обхватив меня, сползает вдоль моих ног, как с дерева, наземь и ревет еще пуще. Я начинаю беспокоиться:

— Послушай, мальчонка! Да встань же ты! Что такое с тобой?

Я беру его под локти, поднимаю... гоп-ля!.. и вижу, что у него одна рука обмотана и сквозь тряпки сочится кровь, одежда в клочьях и брови опалены. Я говорю (я уже и забыл про свои дела):

— Пострел, ты опять что-нибудь набедокурил?

Он стонет:

— Ах, хозяин, мне так тяжело!

Я усаживаю его рядом с собой, на откос. Говорю:

— Да рассказывай же!

Он кричит:

— Все сгорело!

И опять забили фонтаны. Тут я понял, что все это великое горе — из-за меня, из-за пожара; и не могу сказать, как мне стало отрадно.

— Бедный ты мой мальчик, — говорю я, — так ты из-за этого плачешь?

Он опять (он решил, что я не понял):

— Мастерская сгорела!

— Ну да, это уже старо; я твою новость знаю! Вот десятый раз, за какой-нибудь час, что мне трубят об этом в уши. Что же делать? Это несчастье.

Он взглянул на меня спокойнее. Но все-таки ему было тяжело.

— Так ты любил свою клетку, дрозд ты этакий, который только и думал, как бы из нее выскочить? Знаешь,— говорю,— я подозреваю, что и ты, жулик, плясал со всеми вокруг костра.

(Я этого и в мыслях не имел.)

Он возмутился.

— Это неправда,— воскликнул он,— неправда! Я дрался. Все, что можно было сделать, чтобы остановить огонь, хозяин, мы все сделали: но нас было только двое. И Канья, совсем больной (это другой мой подмастерье), вскочил с постели, хотя его и трясла лихорадка, и стал перед дверью в дом. Но попробуйте-ка остановить стадо свиней! Нас сбили, повалили, смяли, затоптали. Мы дрались и лягались, как ошалелые; но они прокатились над нами, словно река, когда спустят шлюзы. Канья встал, побежал им вслед; они его чуть не убили. А я, пока они боролись, прокрался в горевшую мастерскую... Боже ты мой, что за огонь! Все занялось разом; это был как бы факел с вьющимся языком, белым, красным и свистящим, плюющий вам в лицо искрами и дымом. Я плакал, кашлял, меня начало подпекать, я говорил себе: «Смотри, Бине, изжаришься, как колбаса!..» Что ж делать, посмотрим! Гоп-ля! Я разбегаюсь, прыгаю, как в Иванову ночь, штаны на мне вспыхивают, и кожа у меня подгорает. Я падаю в кучу стреляющих стружек. Я тоже стрельнул, вскочил опять, споткнулся и растянулся, ударившись головой о верстак. Меня оглушило. Но ненадолго. Я слышал, как вокруг гудит огонь и как эти звери за стеной пляшут себе да пляшут. Я пытаюсь встать, падаю снова; я, оказывается, расшибся; я становлюсь на четвереньки и вижу в десяти шагах вашу маленькую святую Магдалину и что ее голое тельце, окутанное волосами, пухленькое, миленькое, уже лижет огонь. Я крикнул: «Стой!» Я подбежал, схватил ее, загасил ладонями ее пылавшие чудесные ноги, обнял ее; я уж и сам не знаю, сам не знаю, что я делал; я целовал ее, плакал, я говорил: «Сокровище мое, ты со мной, ты со мной, не бойся, ты моя, ты не сторишь, даю тебе слово! И ты тоже мне помощи! Магдалинушка, мы спасемся...» Времени нельзя было терять... бум!.. обрушился потолок! Вернуться тем же путем невозможно. Мы были совсем близко от круглого окошка, выходящего на реку; я высаживаю стекло кулаком, мы выскакиваем наружу, как сквозь обруч, как раз хватало места для нас двоих. Я лечу кубарем, шлепаюсь на самое дно Беврона. Хорошо, что дно недалеко от поверхности; и так как оно было жирное и вязкое, то Магдалина, падая, не насадила себе шишки. Мне не

так повезло; я не выпускал ее из рук и барахтался, увязнув рылом в горшке; напился я и наелся через силу. Наконец, я выбрался; и вот, без дальних слов, мы тут! Хозяин, простите меня, что я так мало сделал.

И, благоговейно размотав свой сверток, он вынул из скатанной куртки Магдалинку, которая, улыбаясь невинными и кокетливыми глазками, показывала свои обгорелые ножки. И я был так взволнован, что случилось то, к чему меня не привели ни смерть моей старухи, ни болезнь моей Глоди, ни мое разорение и разгром моих работ,—я заплакал.

И, целуя Магдалину и Робине, я вспомнил про второго и спросил:

— А что Канья?

Робине ответил:

— Он от горя умер.

Я опустился на колени посреди дороги, поцеловал землю и сказал:

— Спасибо, мальчик.

И, взглянув на Робине, сжимавшего статую в своих раненых руках, я сказал небесам, указывая на него:

— Вот лучшая из моих работ: души, изваянные мною. Их у меня не отнимут. Сожгите все дотла! Душа цела.





Конец августа

огда волнение улеглось, я сказал Робине:

— Хватит! Что сделано, то сделано. Посмотрим, что остается сделать.

Я попросил его рассказать мне все, что произошло в городе за те две-три недели, что меня там не было, но коротко и ясно, без болтовни, ибо

история вчерашнего дня уже древняя история, а важно знать, как обстоят дела сейчас. Я узнал, что в Кламси царят чума и страх, и больше страх, чем чума: ибо она как будто отправилась уже на дальнейшие поиски, уступая место всяким бродягам, которые, почуяв запах, стекались со всех сторон, чтобы вырвать у нее добычу из рук. Они-то и владели полем. Сплавщики, изголодавшиеся и ошалевшие от страха перед поветрием, не мешали им или же следовали их примеру. Что до законов, то они бездействовали. Те, кто был призван их блюсти, разъехались стеречь свои поля. Из четырех наших старшин один умер, двое бежали; а прокурор дал стрекача. Капитан замка, старик храбрый, но с подагрой, однорукый, пухлоногий и с телячьими мозгами, дал себя изрубить на куски. Остался один старшина, Ракен, который, очутившись лицом к лицу с этими сорвавшимися с цепи зверями, по трусости, по слабости, из лукавства, вместо того чтобы дать им отпор, счел более благоразумным смириться и уступить огню его долю. Заодно, сам себе не признаваясь в этом (я его знаю, я догадываюсь), он давал удовлетворение своей злопамятной душе, натравливая стаю поджигателей на тех, чья удача его огорчала или кому он хотел отомстить. Теперь мне понятно, почему выбрали мой дом!.. Но я сказал:

— Ну, а остальные, а горожане, что они делают?

— Они делают: «бя-я!» — отвечал Бине. — Это бараны. Они сидят по домам и ждут, когда их придут резать. У них больше нет ни пастуха, ни собак.

— Позволь, Бине, а я! Мы еще посмотрим, мальш, целы ли у меня клыки. За дело, дружок!

— Хозяин, один человек ничего не может.

— Он может попробовать!

— А если эта сволочь схватит вас?

— У меня ничего нет, мне на них наплевать. Поди причеши-ка лысого черта!

Он пустился в пляс:

— Вот весело-то будет! Фрульфинфан, шпин, шпун, шпан, трамплимплот, ход вперед, ход вперед.

И на обожженной руке прошелся колесом по дороге, причем чуть не растянулся. Я напустил на себя строгий вид.

— Эй, мартышка! — сказал я. — Так мы далеко не уйдем, если ты будешь крутиться, держась за ветку хвостом! Вставай! И будем серьезны! Теперь надо слушать.

Он стал слушать, с горящими глазами.

— Смеяться тут нечего. Дело вот какое: я иду в Кламси, один, сию же минуту.

— А я! А я!

— А тебя я наряжаю послом в Дорнеси, предупредить господина Николая, нашего старшину, человека осторожного, у которого душа хороша, но еще лучше ноги, и который себя любит больше, чем своих сограждан, а еще больше, чем себя, любит свое добро, что завтра утром решено распить его вино. Оттуда ты пройдешь в Сарди и навестишь в его голубятне мэтра Гильома Куртиньона, прокурора, и скажешь ему, что его кламсийский дом сегодня ночью, и не позже, будет сожжен, разграблен и прочее, если он не вернется. Он вернется. Этого с тебя довольно. Ты и сам найдешь, что сказать. И не тебя учить вранью.

Мальш, почесывая за ухом, сказал:

— Это-то нетрудно. Да я не хочу с вами расставаться.

Я отвечаю:

— А кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Так хочу я. И так ты и сделаешь.

Он начал спорить. Я сказал:

— Довольно!

И так как этого малыша беспокоила моя судьба:

— Тебе,— говорю,— никто не запрещает бежать бегом. Когда управишься, можешь вернуться ко мне. Лучший способ мне помочь — это привести мне подкрепление.

— Я,— говорит,— их примчу во весь опор, в поту и в мыле и в туче пыли, Куртиньона и Николая, и, чтобы не замешкались нигде, привяжу им к пяткам по сковороде...

Он пустился стрелой, потом вдруг остановился:

— Хозяин, скажите мне по крайней мере, что вы собираетесь делать!

С видом важным и таинственным я ответил:

— Там видно будет.

(Сказать по правде, я и сам не знал.)

Часам к восьми вечера я дошел до города. Под золотыми облаками красное солнце закатилось. Надвигалась ночь. Что за чудесная летняя ночь! И ни души, чтобы ею насладиться. У Рыночных ворот ни единого зеваки, ни единого сторожа. Входишь, как на мельницу. На большой улице тощий кот грыз краюху хлеба; оцегинился, завидев меня, потом удрал. Дома, закрыв глаза, встречали меня деревянными лицами. Везде тишина. Я подумал:

«Все они вымерли. Я опоздал».

Но вот я заметил, что из-за ставней прислушиваются к гулкому звуку моих шагов. Я стукнул, крикнул:

— Отоприте!

Никто не шевельнулся. Я подошел к другому дому. Опять принялся стучать, ногой и палкой. Никто не отпер. Мне послышался внутри мышинный шорох. Тут я догадался:

«Несчастные, они играют в прятки! Черта с два, я им взгрею пятки!»

Кулаком и каблуком я забарабанил о выставку книготорговца, крича:

— Эй, приятель! Дени Сосуа, черта с два! Я тебе все разнесу. Да отопри же! Отопри, ворона, ипусти Брюньона.

Тотчас же, как по волшебству (словно фея палочкой дотронулась до окон), все ставни распахнулись, и во всю длину Рыночной улицы, вытянувшись в ряд, как луковицы, показались в окнах перепуганные лица и уставились на меня. Уж они на меня глядели, глядели, глядели... Я не знал, что я такой красавец; я даже себя пощупал. Затем их напряженные черты вдруг размякли. У них был довольный вид.

«Милые люди, как они меня любят!» — подумал я, не сознавая себе в том, что они рады, потому что мое присутствие в эту пору и в этих местах слегка рассеяло их страх.

И вот завязалась беседа между мной и луковичной стеной. Все говорили разом; и, один против всех, я отвечивал.

— Откуда ты? Что ты делал? Что ты видел? Чего тебе надо? Как ты вошел? Каким образом ты прошел?

— Тише! Тише! Не волнуйтесь. Я с удовольствием вижу, что язык у вас уцелел, хоть ноги отнялись и сердце смякло. Что вы там делаете, запаерти? Выходите, приятно подышать вечерней прохладой. Или у вас отобрали штаны, что вы сидите по комнатам?

Но, вместо ответа, они стали спрашивать:

— Брюньон, когда ты шел, кого ты встречал на улицах?

— Дурачье,— говорю,— кого вы хотите, чтобы я встретил, когда вы позапирались?

— Разбойников.

— Разбойников?

— Они грабят и жгут все.

— Где это?

— В Бейане.

— Пойдем, перехватаем их! Что это вы торчите в своем курятнике?

— Мы стережем дом.

— Лучший способ стеречь свой дом— это защищать чужой.

— Покорнейше благодарим! Всякий защищает свое.

— Я эту песенку знаю: «Мне дороги соседи, но я на них плюю»... Несчастные! Вы сами работаете на разбойников. Сперва других, потом вас. Всякому придет черед.

— Господин Ракен сказал, что в этой беде самое лучшее сидеть смирно, уступить огню его долю и ждать, пока не восстановится порядок.

— А кто его восстановит?

— Господин де Невер.

— До тех пор много воды утечет. У господина де Невера и своих забот полная мера. Пока он о вас подумает, вас всех сожгут. Ну, ребята, живо! Кто за свою шкуру не хочет драться, тот может с ней и расставаться.

— Их много, они вооружены. — Не так страшен черт, как его малюют.

— У нас нет вождей.

— Будьте ими сами.

Они продолжали стрекотать, из окна в окно, словно птицы на жердочке; спорили друг с другом, но ни один не двигался. Я начал терять терпение.

— Что же я, по-вашему, всю ночь буду так торчать на улице, задрав нос и выворачивая себе шею? Я пришел не серенады петь перед вами да слушать, как вы стучите зубами. То, что мне надобно вам сказать, не поют, и с крыш об этом не орут. Отоприте! Отоприте, черт возьми, или я вас спалю! Ну, выходи, самцы (если таковые еще остались); хватит куриц стеречь насест.

Не то смеясь, не то ругаясь, приотворилась дверь, потом другая; высунулся осторожный нос; за ним показалась и вся скотинка; и как только один баран вышел из загона, повысыпали все. Все наперебой заглядывали мне под нос:

— Ты совсем поправился?

— Здоров, как кочан капусты.

— И никто к тебе не приставал?

— Никто, кроме стада гусей, которые на меня пощипели.

Видя, что я вышел невредим из всех этих опасностей, они облегченно вздохнули и полюбили меня пуще прежнего. Я сказал:

— Смотрите хорошенько. Видите, я целехонек. Всё на месте. Ничего не пропало. Хотите мои очки? Ну, хватит! Завтра будет виднее. Сейчас не время, полно, бросим пустяки. Где бы нам можно поговорить?

Ганньо сказал:

— У меня в кузнице.

В кузнице у Ганньо, где пахло рогом и земля была изрыта конскими копытами, мы столпились в потемках, как стадо. Заперли дверь. В свете огарка, поставленного наземь, на черном от дыма потолке плясали наши большие тени, согнутые у шеи. Все молчали. И вдруг заговорили разом. Ганньо взял молот и ударил по наковальне. Ударом прорвало гул голосов; в прорыв хлынула тишина. Я этим воспользовался и сказал:

— Не будем тратить слов зря. Я все уже знаю. У нас задела разбойники. Хорошо! Выставим их вон.

Те сказали:

— Они слишком сильны. Сплавщики за них.

Я сказал:

— Сплавщикам хочется пить. Когда они видят, как другие пьют, они глядеть не любят. Я их отлично понимаю. Никогда не следует искушать бога, а сплавщика и подавно. Если вы допустите грабеж, то не удивляйтесь, если иной, даже когда он и не вор, предпочтет, чтобы добыча попала в карман к нему, а не к соседу. А потом, всюду есть добрые и злые. Давайте, как учитель, «*ab haedis scindere oves*»¹.

— Но ежели господин Ракен,— отвечали они,— старшина, велел нам не шевелиться! За отсутствием остальных, наместника, прокурора, его дело следить за порядком в городе.

— А он это делает?

— Он говорит...

— Делает он это или нет?

— Это видно и так!

— В таком случае возьмемся за это сами.

— Господин Ракен обещал, что если мы будем сидеть смирно, нас не тронут. Мятеж не выйдет за пределы предметов.

— А откуда он это знает?

— Он, должно быть, заключил с ними договор, вынужденный, невольный!

— Да ведь такой договор — преступление!

— Это, он говорит, чтобы их усыпить.

— Их усыпить или вас?

Гонньо снова ударил по наковальне (это была его привычка, как другой, разговаривая, похлопывает себя по ляжке) и сказал:

¹ отделять овец от козлиц (*лат.*).

— Он прав.

Вид у всех был пристыженный, запуганный и злобный. Дени Сосуа, потупя нос, заметил:

— Если сказать все то, что думаешь, длинный вышел бы рассказ.

— Так чего ж ты не говоришь? — сказал я. — Чего же вы не говорите? Здесь все мы братья. Чего вы боитесь?

— У стен бывают уши.

— Как! Вот до чего вы дошли?.. Ганньо, возьми свой молот и стань перед дверью, приятель! И первому, кто захочет выйти или войти, забей череп в желудок! Есть у стен уши, чтобы подслушивать, или нет, а только я ручаюсь, что языка у них не будет, чтобы доносить. Потому что, когда мы отсюда выйдем, мы выйдем затем, чтобы немедленно исполнить то, что будет постановлено. А теперь говорите! Кто молчит, тот предатель.

Шум поднялся неистовый. Вся затаенная ненависть и боязнь пошли взрываться ракетами. Люди кричали, грозя кулаками:

— Этот жулик Ракен держит нас в руках! Иуда нас продал, нас и наше имущество. Но как быть? Ничего с ним не поделаешь. За ним закон, у него сила, управляет он.

Я сказал:

— А где он засел?

— В ратуше. Он там сидит день и ночь, для большей безопасности, окруженный стражей из мерзавцев, которые его стерегут, а может быть, не столько стерегут, сколько сторожат.

— Так, значит, он в плену? Отлично,—говорю,—мы, первым делом, немедленно его освободим. Ганньо, отоприв дверь!

Они, казалось, всё еще не могли решиться.

— Что вас смущает?

Сосуа сказал, почесывая голову:

— Это не шутка. Драки мы не боимся. А только, Брюньон, как-никак, мы не имеем права. Этот человек — закон. Идти против закона — это значит брать на себя тяжелую...

Я перебил:

— От-вет-ствен-ность? Хорошо, я беру ее на себя. Можешь не беспокоиться. Когда я вижу, Сосуа, что жулик жулит, я первым делом бью его обухом по голове; затем спрашиваю его, как его звать; и если это оказывается прокурор или папа, ладно, пусть так и будет! Друзья, поступите так же. Когда порядок становится беспорядком, то надо, чтобы беспорядок навел порядок и спас закон.

Ганньо сказал:

— Я иду с тобой.

С молотом на плече, с огромными руками (на левой — четыре пальца, расплющенный указательный отсутствовал), косой на один глаз, кожей черной, станом прямой и дюжий, как бочка, он был похож на шагающую башню. И все теснились позади, следуя за оплотом его спины. Всякий побежал к себе домой — захватить аркебузу, резак или молоток. И я, признаться, не поручусь, что всякий вошедший вышел обратно в ту же ночь: видно, иной бедняга не разыскал своих доспехов. Потому что, говоря по правде, когда мы вышли на площадь, нас было маловато. Но кто не отстал, тот всегда молодец.

По счастью, дверь ратуши оказалась незапертой: пастух был так уверен, что его бараны дадут себя остричь до последнего, не заблеяв, что и его псы и он сам спали сладким сном невинности, отлично пообедав. Таким образом, в нашем приступе не было ничего, должен сознаться, героического. Нам оставалось, что называется, вынуть сороку из гнезда. Мы ее оттуда и извлекли, нагишом и без штанов, похожую на ободранного кролика. Ракен был человек жирный, с лицом круглым и румяным, с мясными подушечками на лбу, над глазами, вида слащавого, недобрый и неглупый. Он это нам и показал. Он сразу же понял, в чем дело. Испуг и злоба мелькнули в его серых глазенках, запрятанных в складки век. Но он тотчас же оправился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы проникли в дом закона.

Я ему сказал:

— Чтобы ты в нем больше не спал.

Он рассвирепел. Сосуа ему сказал:

— Мэтр Ракен, теперь грозить не время. Здесь вы обвиняемый. Мы пришли требовать у вас отчета. Защищайтесь.

Он subito¹ переменил тон.

— Но, дорогие сограждане, — сказал он, — я не понимаю, чего вы от меня хотите. Кто из вас жалуется? И на что? Разве я не остался здесь, рискуя жизнью, чтобы вас охранять? Когда все другие бежали, мне одному пришлось бороться с мятежом и чумой. В чем меня упрекают? Разве я повинен в язвах, которые я пытаюсь уврачевать?

Я сказал:

— Говорят: «Опытный врач дает ране загнить». Так поступаешь и ты, Ракен, целитель города. Ты утучняешь мятеж и кормишь чуму, а потом доишь обе свои скотинки. Ты стакнулсся с ворами. Ты поджигаеть наши дома. Ты предаешь тех, кого ты должен охранять. Ты руководишь теми, кого должен карать. Скажи нам, изменник, это ты из тру-

¹ тотчас (лат.).

сости или из алчности занялся этим гнусным ремеслом? Что ты хочешь, чтобы тебе повесили на шею? Какую надпись? «Вот человек, продавший свой город за тридцать сребреников»... За тридцать сребреников? Не так мы глупы! Цены возросли со времен Искарриота. Или: «Вот старшина, который чтобы спасти свою шкуру, продавал сограждан с молотка»?

Он рассвирепел и сказал:

— Я делал то, что должен был делать, то, на что я имел право. Зачумленные дома я жгу. Таков закон.

— И ты называешь зачумленными, ты метишь крестом дома всех тех, кто не за тебя! «Кто хочет утопить свою собаку...»¹ Это ты тоже, чтобы бороться с чумой, позволяешь грабить зараженные дома?

— Помешать этому я не в силах. А вам-то что за беда, если потом эти грабители сами мрут, как крысы? Сразу два зайца убиты. Вдвое легче!

— Он будет нам рассказывать, что истребляет чуму громилами, а громиль — чумой! И так, понемножку, он останется победителем в разрушенном городе. Разве я не говорил? Помрет больной, помрет болезнь, и останется один врач. Так вот, мэтр Ракен, начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не станем, мы сами себя будем лечить; а так как за всякий труд полагается плата, то мы можем тебе дать...

Ганньо сказал:

— На кладбище кровать.

Это было, как если бы собакам швырнули кость. Они ринулись на добычу, рыча; кто-то крикнул:

— Уложим малютку спать!

К счастью, дичь спряталась в альков и, прислонясь к стене, растерянно смотрела на оскаленные морды. Я отозвал собак:

— Ту-бо! Предоставьте действовать мне!

Они не спускали с него глаз. Бедняга, голый, розовый, как поросенок, дрожал, от страха и холода. Я сжалился. Я ему сказал:

— Ну, натягивай штаны! С нас довольно, милый брат, любоваться на твой зад.

Они расхохотались до слез. Я воспользовался затишьем, чтобы их урезонить. Тем временем этот скот вползал в свою шкуру, скрежеща зубами и меча недобрые взгляды, потому что чувствовал, что гроза удаляется. Одевшись и поняв, что зайца изловят еще не сегодня, он осмелел и стал нам дерзить:

¹ «...обвиняет ее в бешенстве». Французский стих (по старинной пословице), который произносит Кола, принадлежит Герену де Бускалю (комедия «Правление Санчо Пансы», 1641 г.) и повторен Мольером в его «Ученых женщинах». — *Прим. перев.*

он назвал нас мятежниками и пригрозил нам судом за оскорбление должностного лица. Я ему сказал:

— Ты больше не должностное лицо. Старшина, я тебя смещаю.

Тогда его гнев обратился против меня. Желание отомстить взяло верх над осторожностью. Он сказал, что знает меня хорошо, что это я моими советами вскружил глупые головы этим бунтарям, что он обрушит на меня бремя их вины, что я негодей. Объятый неистовством, запинаясь, с присвистом, он закидал меня, щедрой дланью, самой отборной бранью. Ганньо спросил:

— Убить его, что ли?

Я сказал:

— Ты поступил догадливо, Ракен, что разорил меня. Ты знаешь, мерзавец, что я не могу велеть тебя повесить, не навлекая на себя подозрения в том, что действую из мести за мой сожженный дом. А пеньковый воротник был бы тебе к лицу. Но пусть другие тебя им украшают. Тебя не убудет, если ты и подождешь. Главное то, что ты попался. Ты теперь ничто. Мы с тебя срываем твой пышный старшинский наряд. Мы сами берем в руки кормило и весло.

Он пролепетал:

— А ты знаешь, Брюньон, чем ты рискуешь?

Я ему ответил:

— Знаю, милый мой, рисковую головой. Что ж, я ею готов сыграть хоть в поддавки. Потеряю ее, выиграет город.

Его отвели в тюрьму. Там ему досталось еще теплое место, уступленное ему старым сержантом, которого посадили три дня назад за отказ повиноваться его распоряжениям. Пристава и вратарь ратуши, когда дело было сделано, говорили в один голос, что так и следовало, и они, дескать, всегда думали, что Ракен предатель. Что толку думать сложа руки!

До сих пор все шло гладко, как ровная доска, где рубанок скользит, не встречая сучка. И это меня удивляло. Я спрашивал:

— Куда же девались разбойники?

Как вдруг слышу крик:

— Пожар!

Ясное дело: они грабили не здесь.

На улице запыхавшийся человек сообщил нам, что вся шайка громит склады Пьера Пуллара в Вифлееме, возле ворот башни Лурдо, бьет, жжет, пьет вовсю. Я сказал приятелям:

— Ежели им для пляски нужны музыканты, мы к их услугам!

Мы побежали на Мирандолу. С террасы открывался вид на весь нижний город, откуда доносился во тьме грохот шабаша. На башне святого Мартына прерывисто гудел набат.

— Товарищи,— сказал я,— придется нам спуститься в самое пекло. Будет жарко. Готовы ли мы? Но прежде всего нужен начальник. Кто им будет? Хочешь, Сосуа?

— Нет, нет, нет, нет,— отвечал он, отступая на три шага назад.— Я не хочу. Довольно и того, что я здесь разгуливаю в полночь со старым мушкетом. Что велено будет, что надо будет, я сделаю,—но только не командовать. Избави боже! Я никогда ничего не умел решать...

Я спросил:

— Так кто же хочет?

Но никто не шевельнулся. Я этих голубчиков знаю! Говорить, ходить, это еще куда ни шло. Но когда требуется принять решение, никого нет. Вечная привычка хитрить с жизнью, по-обывательски, мямлить и щупать раз пятьдесят сукно, которое хочешь купить, торговаться и тянуть до тех пор, пока не упустишь или случай, или сукно. Случай представился, я протягиваю руку:

— Если никто не хочет, тогда я.

Они сказали:

— Идет!

— Но только чур: повиноваться мне беспрекословно всю эту ночь! Иначе мы погибли. До утра я один глава. Судить меня будете завтра. Согласны?

Все сказали:

— Согласны.

Мы спустились с холма. Я шел впереди. Слева от меня шагал Ганньо. По правую руку я поместил Барде, городского бирюча и барабанщика. Уже при входе в предместье, на Заставной площади, мы встретили весьма веселую толпу, которая добродушно направлялась целыми семьями, малюток за руку держа, прямо к месту грабежа. Совсем как в праздник. Иные хозяйки захватили с собой корзинки, словно в базарный день. Люди останавливались, глядя на наш отряд; перед нами учтиво расступались; они не понимали, в чем дело, и, следуя за нами, невольно шагали в ногу. Один из них, цирюльник Перрюш, шедший с бумажным фонарем, под самый нос мне его поднес, узнал меня и сказал:

— А, Брюньон, приятель! Так ты вернулся? Что ж, как раз вовремя. Вместе выпьем.

— Все в свое время, Перрюш,— отвечаю я.— Мы с тобой будем пить завтра.

— Стареешь ты, Кола. Жажда времени не знает. До завтра вино разопьют. Они уже начали. Поспешим! Или ты, чего доброго, потерял вкус к благородной влаге?

Я сказал:

— К краденому вину, да.

— Оно не краденое, а спасенное. Когда горит дом, лучше, по-твоему, так и давать по-дурацки гибнуть добру?

Я отстранил его с дороги:

— Вор!

И прошел мимо.

— Вор! — повторили ему Ганньо, Барде, Сосуа, все остальные. И прошли мимо.

Перрюш так и замер на месте; затем яростно заорал; обернувшись, я увидел, что он бежит за нами, грозя кулаком. Мы делали вид, что не слышим его и не видим. Настигнув нас, он вдруг умолк и зашагал вместе с нами. Когда мы вышли на берег Ионны, оказалось невозможным протиснуться к мосту. Такая толпа. Я велел бить в барабан. Первые ряды расступились, сами не зная толком, зачем. Мы вошли клином, но нас зажало. Тут я увидел двух сплавщиков, которых хорошо знал, отца Жоашена, по прозвищу «Калабрийский король», и Гадена, он же Герлю¹. Они мне сказали:

— Что такое, мэтр Брюньон, с чего это вы сюда явились с вашей ослиной кожей и всеми этими навьюченными, важными, как лошаки? Это вы смеха ради или на войну собрались?

— Ты угадал, Калабр, — говорю ему. — Ибо я, перед тобой стоящий, на сегодняшнюю ночь капитан Кламси и иду защищать город от его врагов.

— От его врагов? — сказали они. — Да ты в уме ли? Кто же это такие?

— Те, кто поджигает.

— А тебе не все ли равно, — сказали они, — раз твой-то дом уже сожжен? (О нем жалеют; ошиблись, понимаешь.) Но дом Пуллара, этого висельника, разжиревшего нашими трудами, этого фарисея, который щеголяет в шерсти, снятой с наших же спин, и, обобрав до нитки всех вокруг, презирает нас с высоты своих заслуг! Кто его пограбит, может быть уверен, что попадет прямоком в рай. Это святое дело. Так что ты нам не мешай. Тебе-то что? Не грабить самому, еще куда ни шло. Но мешать другим!.. Никакого убытка, и верный барыш.

Я сказал (потому что мне было бы тяжело отдубасить этих бедных малых, не попытавшись сперва их образумить):

— Убыток великий, Калабр. Надо спасти нашу честь.

— Нашу честь! Твою честь! — сказал Герлю. — Пить ее можно, что ли? Или есть? Завтра нас, чего доброго, и в

¹ Cueurlu — бездельник, шалопаи. — Прим. перев.

живых-то не будет. Что от нас останется? Ничего не останется. Что об нас будут думать? Ничего не будут думать. Честь — это роскошь для богачей, для дураков, которых хоронят с эпитафиями. А мы будем лежать все вместе, в общей яме, как ломти трески. Поди разбери, какая из них смердит честью и какая дермом!

Ничего не ответив Герлю, я сказал Жоашену:

— Порознь, в одиночку, мы все ничто, это правда, Калабрийский ты мой король; но все вместе мы уже многое. Сто малых — это один большой. Когда исчезнут нынешние богачи, когда позабудутся, вместе с их эпитафиями, ложь их гробниц и родовые их имена, всё еще будут помнить кламсийских сплавщиков; они будут в истории города его знатью, с жесткими руками, с головою, твердой, как их кулак; и я не желаю, чтобы их прозвали шайкой бродяг.

Герлю сказал:

— Мне наплевать.

Но Калабрийский король, сплюнув, воскликнул:

— Если тебе наплевать, так ты паршивец. Брюньон прав. Мне тоже было бы досадно, если бы так стали говорить. И, вот те крест, этого не скажут. Честь — не вотчина богачей. Мы это им покажем. Будь он «сир» или «мессир», ни один из них нас не стоит!

Герлю сказал:

— Чего нам церемониться? Они-то разве церемонятся? Есть ли ббльшие обжоры, чем все эти принцы да герцоги, Конде, Суассон и наш Невер, и толстый Эпернон, которые, набив себе брюхо и щеки, уписывают, свиньи, еще столько миллионов, что лопнуть можно, и, когда помрет король, грабят его казну? Вот какова их честь! Дураки мы будем, если не станем брать с них пример!

Калабрийский король выругался:

— Все они сволочи. Когда-нибудь наш Генрих еще встанет из гроба, чтобы их вырвало, или мы сами их изжарим, нашпиговав их собственным их золотом. Если знатные ведут себя как свиньи, черт возьми, их зарежут, но в свинстве ихнем подражать им не будет. Пример подаем мы. В ляжке у сплавщика больше чести, чем в дворянском сердце.

— Так ты идешь, король?

— Иду; и этот тоже, Герлю тоже пойдет.

— Нет, к черту!

— Пойдешь, говорю тебе. Или — видишь реку: отправишься туда. Ну, живо, марш! А вы, елки-палки, дорогу, колбасе, я иду!

Он шел, раздвигая толпу ручищами. А мы, в этом водовороте, следовали за ним, как мелюзга, за крупной рыбиной. Те, кто теперь попадались нам настречу, были слишком «на взводе», чтобы стоило с ними спорить. Всему

свой черед: сперва доводы языком, а затем кулаком. Только их старались усаживать наземь, не слишком уж помаяв: питух — вещь священная!

Наконец, добрались до дверей склада мэтра Пьера Пуллара. Туча громил кишела в доме, как клопы в соломе. Одни тащили сундуки, токи; другие вырядились в краденое старье; иные весельчаки кидали, ради шутки, посуду и горшки из окон верхнего жилья. На двор выкатывали бочки. Я видел одного, который, пил, прижав губами к дыре, пока не рухнул, задрал ноги, под хлещущей струей. Вино разливалось лужами, и его лакали дети. Чтобы было светлей, свалили мебель кучами во дворе и подожгли. Из глубины погребов доносился стук молотков, которыми высаживали донья у бочек и бочонков; вопли, крики, хриплый кашель; дом под землей урчал, словно у него в утробе засело стадо поросят. И уже местами из отдушин вырывались языки пламени и лизали стропила.

Мы проникли во двор. На нас никто не смотрел. Всякий был занят своим. Я сказал:

— Бей, Барде!

Барде забил в барабан. Он возвестил полномочия, возложенные на меня городом; и я, в свой черед возвысив голос, стал увещевать громил удалиться. Заслышав барабан, они сбились в кучу, как стая мух, если колотить по котлу. Но когда мы умолкли, они опять яростно загудели и кинулись на нас, со свистом и гиком, швыряясь камнями. Я попытался вломиться в дверь подвала; но из чердачных окон они сбрасывали черепицы и балки. Мы все ж таки вошли, оттеснив этот сброд. Ганньо при этом лишился еще двух пальцев на руке. Калабрийскому королю вышибли левый глаз. А мне, когда я навалился на захлопнувшуюся дверь, защемило палец, как лису капканом. Батюшки мои! Я чуть не сомлел, как баба, и не выблюнул всего, что у меня было в желудке. На мое счастье, я заметил вскрытый бочонок (это была крепкая водка), всполохнул утробу и смочил палец, после чего, даю вам слово, у меня пропала охота обмирать. Но зато и я тоже рассвирепел. Горчица ударила мне в нос.

Теперь мы сражались на ступенях лестницы. Пора было кончать. Потому что эти черти рогатые палили нам в лицо из своих мушкетов и на таком расстоянии, что у Сосу загорелись усы. Герлю затушил их своими мозолистыми руками. На наше счастье, у этих пьяниц, когда они целились, двоилось в глазах; иначе никто из нас живым бы не вышел. Нам пришлось подняться по лестнице вспять и отступить. Но когда мы расположились у входа, — а я заметил, что пожар тайком подкрадывается от боковых крыльев дома к среднему жилью, где помещался погреб, — я велел загородить вход забором из камней и обломков, высотой по пояс; а над ним торчали,

преграждая доступ, наши рогатины и багры, подобно щетинистой спине свернувшегося в комок дикобраза. И я крикнул:

— А, разбойники! Вы любите огонь? Так нате же, ешьте!

Большинство поняло опасность слишком поздно, перепившись в глубине подвалов. Но когда от сильного пламени затрещали стены и в его челюстях хрустнули балки, из-под земли взметнулся ад; волна оборванцев, из которых иные пылали, хлынула на поверхность, словно пенистое вино, выбившее втулку. Они ударились об нашу стену; а напиравшие сзади образовали пробку, запрудившую выход. За ними, в глубине ямы, слышался рев огня и рев горящих. Сами понимаете, что от этой музыки нам было не очень-то уютно! Невесело слушать, как терзаемое мясо страдает и орет от боли. И будь я просто частное лицо, обыденный Брюньон, я бы сказал:

— Спасем их!

Но когда ты начальник, ты уже не вправе иметь ни сердца, ни ушей. Глаз и разум. Видеть, и хотеть, и делать, не слабая, то, что надо. Спасти этих бандитов значило погубить город: потому что, вырвись они на волю, они оказались бы многочисленнее и сильнее нас, их стороживших, и, созрев для виселицы, они бы не дали себя взять голыми руками. Осы — в гнезде; пусть там и остаются!..

И я видел, как оба огненных крыла сблизились и сомкнулись над средним зданием, треща и рассыпая кругом дымовые перья...

И вдруг в эту самую минуту я вижу над передними рядами, которые набились в жерле лестницы, слипшись в кучу и шевеля только бровями, глазами, ртами воющих, моего старого приятеля Элуа, он же Гамби¹, бездельника, славного малого, но пьяницу (и как это он попал, боже милостивый, в это осиное гнездо?), который смеялся и плакал, ничего не понимая, совсем одурев. Подделом ему, лодырю, дармоеду! Однако нельзя же ему дать этак изжариться... В детстве мы играли вместе и вместе вкусили, в церкви святого Мартина, тела господня: мы с ним братья по первому причастию...

Я раздвигаю рогатины, перескакиваю через ограду, шагаю по бешеным головам (они кусались!) и сквозь это дымящееся людское месиво добираюсь до моего Гамби и хватаю его за шиворот. «Тысяча богов! Как теперь вырвать его из тисков? — подумал я, вцепившись в него. — Придется его разрубить, чтобы достать хоть кусок...» Но быть же такому счастьем (я бы сказал, есть бог для пьяниц, хоть и не ко всем он

¹ Gambi — хромоногий. — Прим. перев.

был столь же милостив), что как раз когда мой Гамби оказался на ребре ступени и качнулся назад, поднимавшиеся кверху приподняли его на плечах, так что он уже не касался земли и повис посередке, как плодовая косточка, зажатая между пальцев. Расдвигая пятками, вправо и влево, человеческие плечи, стиснувшие ему бока, я все-таки ухитрился вытащить, хоть и не без труда, из пасти толпы эту косточку, которую так и выперло наружу. Пора было! Пламя смерчем подымалось, как в трубе, вдоль жерла лестницы. Я слышал, как шипели тела в недрах печи; и, согнувшись, шагая большими шагами, не глядя, во что ступают мои подошвы, я пошел обратно, таща Гамби за сальные волосы. Мы выбрались из пропасти и отошли от нее подальше, предоставив огню довершать свое дело. И, чтобы подавить в себе волнение, мы наминали Гамби бока, этому скоту, который, почти уже околевая, держал и не выпускал, прижав к сердцу, два финифтяных блюда и расписную миску, бог весть где стибренные! И Гамби, протрезвев и плача, расхаживал, побросав свои миски, останавливался, где попало, мочась, как фонтан, и кричал:

— Не надо мне того, что я украл!

На рассвете явился прокурор, мэтр Гильом Куртиньон, сопровождаемый Робине, который вел его с барабанным боем. Его сопровождали тридцать человек ратников и отряд крестьян. За день подошли еще другие, приведенные господином старшиной. На следующий день — еще новые, присланные нашим добрым герцогом. Они потрогали горячий пепел, составили опись убиткам, подвели им счет, прибавили к нему свои путевые и харчевые издержки, а затем вернулись туда, откуда пришли.

Хочешь знать, какова здесь мораль, изволь:

«Подсоби себе сам, подсобит король».





Конец сентября

ернулась тишина, остыла и зола, как будто и чума в былое отошла. Но город на первых порах был точно раздавлен. Обыватели переваривали свой испуг. Они с опаской нащупывали почву; им еще плохо верилось, что они на ней, а не под ней. Большею частью они прятались, а то шмыгали по улицам, вдоль стен, понунив голову и поджав хвост. Да, чваниться было нечем, люди избегали смотреть друг другу в лицо, да и на самого себя радости было мало глядеть в зеркало: больно уж хорошо все себя разглядели, узнали себя досконально; природа человеческая предстала без сорочки: зрелище не из красивых! Царили стыд и недоверие. Мне тоже было не по себе: бойня и запах жареного не давали мне покою; а главное — воспоминание о подлости, о жестокости, которые я прочел на знакомых лицах. Те это знали и втайне злобствовали на меня. Я их понимаю; мне самому было еще более неловко; я бы охотно сказал им, если бы мог: «Друзья мои, простите. Я ничего не видел...» А над угнетенным городом нависло тяжелое сентябрьское солнце. Зной и истома лета на исходе.

Наш Ракен отправился под надежной охраной в Невер, где герцог и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этой распрей, он рассчитывал выскользнуть у них из рук. Что же касается меня, то наши господа из округа были так добры, что соблаговолили закрыть глаза на мое поведение. Оказывается, я учинил, спасая Кламси, два или три тяжелых преступления, за которые мне грозила по меньшей мере каторга. Но так как в сущности они не были бы учинены, если бы эти господа не удрали, а остались нами править, то ни они не настаивали, ни я. Я не любитель путаться с судами. Можно сколько угодно чувствовать себя невинным; почем знать? Сунешь палец в эту проклятую машину — прощай рука! Режьте, режьте, недолго думая, не то втянет целиком... Таким образом, ничего друг другу не сказав, мы с ними условились, что я ничего не сделал, и что они ничего не видели, и что все, случившееся в ту ночь под моим

капитанством, совершено ими. Но, сколько ни желай, того, что было, сразу не изгладишь. Люди помнят, а это стеснительно. Я это видел по глазам у всех: меня боялись; и я сам себя боялся, своих подвигов, этого незнакомого, несуразного Кола Брюньона, каким я был вчера. Ну его к черту, этого Цезаря, этого Аттилу, этого героя! Герой бутылки, это я понимаю. Но военное геройство, нет уж, увольте!.. Словом, мы чувствовали себя пристыженными, разбитыми и усталыми; у нас ныло на сердце и в животе.

Все мы с остервенением принялись за работу. Работа вбирает и стыд и боль, как губка. Работа обновляет и кожу и кровь души. Дела было немало: столько развалин кругом! Но кто нам больше всех помог, так это земля. Никогда не было видано такого урожая плодов и хлебов; а венцом всего явился напоследок сбор винограда. Поистине казалось, будто эта добрая мать хотела выпитую кровь вернуть нам вином. Почему бы и нет в конце концов? Ничто не пропадает, не должно пропадать. Если бы кровь пропадала, куда бы она девалась? Вода нисходит с неба и туда же возвращается. Отчего бы и вину точно так же не совершать кругооборот между землей и нашей кровью? Это тот же сок. Я — виноградный куст, или был им, или буду. Мне бы хотелось этому верить; и я хочу им быть, и всякое иное бессмертие я отдам за то, чтобы стать виноградником или плодовым садом, и чувствовать, как моя плоть взбухает и наливается красивыми ягодами, круглыми, полными, черного и бархатистого грозда, и напрягать их кожу так, чтобы она готова была треснуть под летним солнцем, и (лучше всего) быть съеденным. Как бы там ни было, а только в этом году виноградный сок так и хлынул, и земля сквозь все свои поры исходила кровью. Дошло до того, что не хватило бочек; и, за неимением посуды, виноград оставляли в чанах, а то и просто в бельевых корытах, и его даже не давили! Мало того, случилось такое неслыханное дело, что некий старый андрийский житель, отец Кульмар, не в силах управиться, стал продавать по тридцать су бочку винограда, с тем только, чтобы его снимали сами. Можете посудить, как мы всполошились, мы-то, которые не в силах видеть хладнокровно, как гибнет божья кровь! Чтобы ее не бросать, пришлось ее распивать. Думали недолго, все мы люди долга. Но это была Геркулесова работа; и частенько не Антей, а Геркулес касался земли. Во всяком случае хорошего в этом было то, что мысли наши перерядились; чело их прояснилось, и лица посветлели.

И все ж таки что-то еще оставалось на дне стакана, словно осадок, привкус какой-то; люди все еще сторонились друг друга, следили друг за другом. Немножко, правда, приободри-

лись (пошатываясь); но с соседом не сходились; пили в одиночку, смеялись в одиночку; это очень вредно. Так могло бы тянуться долго, и не знали, как из этого выпутаться. Но случай хитер. Он всегда сыщет верный способ, единственный, который сплачивает людей: объединить их против кого-нибудь. Любовь тоже сближает; но что всех сливает воедино, так это враг. А враг — это наш хозяин.

И вот случилось так, что этой самой осенью герцог Карл решил запретить нам водить хороводы. Это уж слишком! Черта с два! Не было подагрика, или хромого, или безногого, у которого сразу же не зачесались бы пятки. Как всегда, поводом к распре послужил Графский луг. Дело с ним темное, вовеки не распутать. В этот красивый луг, расположенный у подножья горы Крок-Пенсон, у городских ворот, и окаймленный, словно небрежно брошенным серпом, излучистым Бевроном, уже триста лет как вцепились и тянут каждая к себе — широкая пасть господина де Невера и наша, которая не так широка, но, что в нее попало, того не выпустит. Ни с той, ни с другой стороны ни малейшей злобы; улыбаются, учтивы, говорят: «Мой друг, мои вернолюбезные, ваша светлость...» Но каждый стоит на своем и не желает уступить ни пяди. Сказать по правде, сколько мы ни судились, мы всякий раз оказывались неправы. Суды, палаты, Мраморный стол выносили постановление за постановлением, из которых явствовало, что наш луг не наш. Как известно давно, правосудие на то и заведено, чтобы за деньги называть белым то, что черно. Мы не очень и беспокоились. Присудить — это вздор, важно иметь. Черна твоя корова или бела, береги свою корову, милый человек. Мы ее и берегли, и луга нашего не уступали. Ведь как удобно! Вы подумайте только! Это единственный луг в Кламси, который ни одному из нас не принадлежит. Принадлежит герцогу, он принадлежит всем. Поэтому мы с чистой совестью можем его портить. И видит бог, чего только с ним не вытворают! Все, чего нельзя сделать дома, делают на нем: работают, чистят, набивают тюфяки, выколачивают старые ковры, кидают мусор, играют, гуляют, пасут коз, пляшут под рыли, упражняются из аркебузы и на барабане; а по ночам предаются любви, в траве, расцвеченной бумажками, у шепчущих струй Беврона, которого ничем не удивишь (и не такое видывал!).

Пока жив был герцог Людовик, все шло хорошо, потому что он делал вид, будто ничего не замечает. Это был человек, который знал, что лошадаками легче править, если не слишком натягивать вожжи. Какой ему был убыток от того, что нам казалось, будто мы люди свободные и умеем за себя постоять, если на самом деле хозяином был он? Но сын его — человек

тщеславный, ему важно не то, что он есть, а то, каким он кажется (оно и понятно: сам-то он ничто), и он задирает башку, чуть запоешь кукареку. А между тем надо, чтобы француз пел и над хозяевами своими издевался. Если он не издевается, он восстает; он не охотник подчиняться тем, кто желает, чтобы их всегда принимали всерьез. Мы любим от души только то, над чем мы можем от души посмеяться. Потому что смех равняет всех. А этому гусенку вздумалось запретить нам играть, гулять, мять и портить траву на Графском лугу. Нашел тоже время! После всех наших несчастий, когда ему следовало бы, скорее, сложить с нас подати!.. Да, но зато мы ему и показали, что кламсийцы не из того дерева, которое идет на хворост, а из крепкого дуба, куда топор входит с трудом, а ежели вошел, то вытащить его еще труднее. Не пришлось и стовариваться. Единодушие было полное. Отобрать у нас наш луг! Отобрать подарок, который нам поднесли,— или который мы сами себе присвоили (это все равно: добро, которое украл и хранил триста лет, становится собственностью, трижды священной), добро тем более драгоценное, что оно было не нашим, и мы его сделали нашим, пядь за пядью, день за днем, медленным захватом и долгим упорством, единственное добро, которое нам ничего не стоило, кроме труда его забрать! Это отбивало охоту что бы то ни было забирать! К чему тогда и жить? Да ведь если бы мы уступили, наши покойники встали бы из могил! Честь города сплотила всех.

В тот же день, когда городской барабанщик заунывным голосом (словно он сопровождал на Самбер приговоренного к виселице) прокричал нам роковой указ, вечером все видные люди, главы братств и цехов и знаменосцы, собрались под сводами Рынка. Был там и я и представлял, как и полагается, мою покровительницу, Иоакимову супругу, бабушку, святую Анну. О том, как именно действовать, мнения расходились; но что действовать надо, с этим все были согласны. Ганньо за святого Элигия, а за святого Николу Калабр заявили себя сторонниками действий решительных: и хотели немедленно поджечь ворота, разбить заставы, а страже головы и скосить луг, наголо, дочиста. Но, за святого Гонория, пекарь Флоримон и Маклу-садовник, за святого Фиакра, люди кроткие, как и их святые, были благодущнее и предпочитали ограничиться пергаменной войной: платоническими пожеланиями и челобитиями герцогине (сопровожаемыми, надо полагать, небесплатными подношениями из печи и сада). К счастью, трое нас—я, Жан Бобен за святого Криспина и Эмон Пуафу за святого Викентия—не собирались, для того чтобы проучить герцога, ни лобызать, ни взгrevать ему зад. Добродетель

in medio stat¹. Истый галл, когда желает подшутить над людьми, умеет делать это спокойно, под самым их носом, но его не задевая, а главное, не навлекая на себя неприятностей. Мало отомстить: надо еще и повеселиться. Так вот что мы изобрели... Но не рассказывать же мне, какую я придумал славную шутку, когда пьеса еще не сыграна? Нет, нет, разбалтывать нельзя. Достаточно сказать, к чести всех нас, что нашу великую тайну целых две недели знал и хранил весь город. И хоть первая мысль и моя (я этим горжусь), но всякий ее чем-нибудь приукрасил: один подправил ухо, другой прибавил сюда локон, туда ленточку, так что дитя оказалось щедро наделено; отцов было вдоволь. Старшины, голова, осторожно и потихоньку, ежедневно осведомлялись, как растет младенец; а мэтр Делаво, по ночам, укутав нос плащом, являлся побеседовать с нами об этом деле, научая нас способам нарушить закон, в то же время его соблюдая, и торжественно извлекал из карманов какую-нибудь хитроумную латинскую надпись, которая прославляла герцога и нашу покорность, но могла означать как раз и обратное.

Наконец, настал великий день. На площади святого Мартына мы ждали старшин, мастера и подмастерья, гладко выбритые, расфуфыренные, смиренно выстроившись под нашими знаменами. Ровно в десять зазвонили колокола. Тотчас же, по обе стороны площади, обе двери, и ратуши и святого Мартына, распахнулись настежь, и на ступенях, тут и там (словно шествие часовых фигурок), показались с одной стороны белые стихари священников, а с другой — желтые и зеленые, как айвы, старшины. При виде друг друга они обменялись, поверх наших голов, глубокими поклонами. Затем спустились на площадь, в предшестве одни — ярких служек, в красных одеяниях, с красными носами, а другие — городских приставов, затянутых, звякающих шейными цепями и брякающих о мостовую длинными палашами. Мы, выстроенные вокруг площади, вдоль домов, изображали круг; а начальство, расположенное по самой середине, изображало пуп. Все были налицо. Никто не опоздал. Стряпчие, писцы и нотариус, под хоругвью святого Ива, поверенного господа бога, и аптекаря, лекаря и врачи, тонкие знатоки мочи (всякому по вкусу свое винцо) и клистирных дел мастера, под заступничеством святого Кузьмы, освежителя райских кишков, образовали вокруг головы и старого настоятеля священную гвардию пера и клизмы. Из уважаемых граждан отсутствовал как будто только один: а именно прокурор, представитель герцога, но женатый на дочери господина старшины,

¹ посредине стоит (лат.).

добрый кламсиец и местный владелец, который, узнав о затеянном и пуще всего боясь стать на чью-либо сторону, благоразумно ухитрился отлучиться накануне.

Некоторое время бурлили на месте. Словно чан с бродящим суслом. Что за веселый гомон! Говор, смех, настройка скрипок и собачий лай. Ждали... Чего? Потерпите! Сюрприз... Да вот и он! Он еще не показался, а уже волна голосов его опережает, возвещая; и все шеи разом поворачиваются, как флюгера на ветру. На площадь выплывает из Рыночной улицы, несомое на плечах восемью дюжими молодцами и покачиваясь над толпой, деревянное сооружение в виде пирамиды, три стола разной величины, поставленные друг на дружку, разубранные светлыми шелками; ножки обвиты лентами, обшиты позументами, а на вершине, под балдахином с плюмажами и развевающимся каскадом пестрых лент, завешенная статуя. Никто даже не удивился: все были посвящены в тайну. Всякий весьма учтиво снял перед ней шляпу; но мы, старые шутники, посмеивались в колпаки.

Как только эту штуку вынесли на площадь, в самую середину, промеж головы и юбре, цехи двинулись с музыкаой, описав сперва вокруг неподвижной оси полный круг, а затем вступили в переулоч, который, мимо церковного входа, ведет вниз, к Бевронским воротам.

Первым, как полагается, шагал святой Никола. Калабрыйский король, облаченный в церковную мантию, с вышитым на спине золотым солнцем, похожий на жука, держал в своих черных и узлистых руках знамя речного святителя в виде загнутой с обоих концов лодки, на которой Никола благословляет посохом трех малюток, сидящих в кадке. Его сопровождали четыре старых судовщика, несших четыре желтых свечи, толстых, как окорока, и твердых, как дубины, которые они были готовы при первой надобности пустить в ход. И Калабр, хмуря брови и воздевая к святителю свой единственный глаз, шагал, расставив ноги и выпячивая то, что служило ему животом.

Далее следовали приятели оловянной кружки, сыны святого Элигия, ножовщики, слесаря, тележники и кузнецы, в предшестве Ганньо с изувеченной рукой, который высоко держал в своей двупалой клешне крест с изваянными на древе молотом и наковальней. А гобой играл «Штаны короля Дагобера».

Затем шли виноградари, бочары, поющие гимн вину и его святому, Викентию, который, взгромоздясь на древко, в одной руке держал жбан, а в другой виноградную гроздь. Мы, столяры и плотники, святой Иосиф и святая Анна, зять и теща, добрые питухи, шагали следом за кабацким угодником,

прищелкивая языком и косясь на винцо. А святые Гонории, тучные и белые от муки, несли на багре, словно римский трофей, круглый хлеб в светло-русом венке. За белыми — черные, варом измазанные сапожники, которые плясали вокруг святого Криспина, щелкая шпандырями. И, наконец, на сладкое, святой Фиакр, весь в цветах. Садовники и садовницы, убрав гирляндами роз шляпы, заступы и грабли, несли на носилках груды гвоздик и левкоев. Их красная шелковая хоругвь, изображающая голоногого Фиакра, подоткнувшегося под самый зад и нажимающего ступней на лопату, плескалась на осеннем ветру.

А напоследок тронулось занавешенное сооружение. Девочки в белом, семенившие впереди, мяукали песнопения. Городской голова и трое старшин шли по обе стороны, держа толстые кисти лент, ниспадавших с балдахина. Вокруг них двигались цепью святой Ив и святой Кузьма. Сзади, выпятив зоб, петухом выступал швейцар; и кюре, с двумя аббатами по бокам, из которых один был длинный, как день без хлеба, а другой — круглый и плоский, как хлеб без дрожжей, затягивал, через каждые десять шагов, низким басом обрывки литании, но себя не утруждая, попеть и другим предоставляя, шевеля губами, сложа руки на животе и засыпая на ходу. А дальше валил остальной народ, целым куском, плотным, упругим месивом, как густой поток. Мы же служили запрудой.

Мы вышли из города. Мы двинулись прямо к лугу. Ветер срывал с платанов листья. Их легкий взвод скакал по солнечной дороге. И медленная река уносила их золотые кольчуги. У заставы три сержанта и новый капитан замка сделали вид, что не хотят нас пропустить. Но, не считая капитана, только что назначенного, новичка в нашем городе и принимавшего все за чистую монету (бедняга прибежал со всех ног, запыхался и яростно вращал глазами), все мы, как воры на базаре, были в стачке. Тем не менее поругались, почертыхались, вступили в драку; это полагалось по роли, играли на совесть; но большого труда стоило не прыснуть со смеху. Однако нельзя было особенно тянуть комедию, потому что Калабр с товарищами начали играть уж слишком хорошо; святой Никола на своем древке становился грозен, а свечи колыхались в кулаках, привлекаемые сержантскими спинами. Тогда выступил городской голова, снял шляпу и крикнул:

— Шапки долой!

В тот же миг упала завеса, покрывавшая статую под балдахином, и городские пристава возгласили:

— Дорогу герцогу!

Шум мгновенно умолк. Святой Никола, святой Элигий, святой Викентий, святой Иосиф со святой Анной, святой

Гонорий, святой Фиакр, выстроившись по сторонам, взяли на караул; сержанты и толстый капитан, совсем растерявшийся, обнажив головы, расступились; и вот, гарцуя на плечах у носильщиков, увенчанный лаврами, в токе набекрень и со шпагой у пояса, предстал изваянный герцог. Во всяком случае так возвещала *urbi et orbi*¹ надпись мэтра Делаво; но, говоря по правде,— и это особенно забавно,— так как у нас не было ни времени, ни возможности сделать схожее изображение, мы просто достали с чердака ратуши какую-то старую статую (никто не знал толком, ни кого она изображает, ни чьей она работы; единственно, на подножье можно было разобрать полустертое имя «Балтазар», впоследствии ее прозвали «Балдюк»). Но не все ли равно? Спасает вера. Разве портреты святого Элигия, святого Николы или Иисуса более похожи? Ежели веришь, всюду увидишь, кого хочешь. Требуется бог? Да мне достаточно, если угодно, полена, чтобы вместить и его и мою веру. На этот раз требовался герцог. Его и нашли.

Герцог проследовал мимо склонившихся знамен. Так как луг был его, то он на него и вступил. А мы, дабы оказать ему честь, ему сопутствовали, все до одного, военным строем, с барабанным боем, с трубами и рогами и со святыми дарами. Кто бы мог найти в этом что-нибудь плохое? Разве только плохой верноподданный, человек угрюмый. Волей-неволей пришлось это одобрить и капитану. Ему оставалось одно из двух: или арестовать герцога, или примкнуть к шествию. Он и зашагал в ногу.

Все шло как нельзя лучше, и вдруг у самой пристани чуть не произошло крушение. У входа святой Элигий задел святого Николу, а святой Иосиф сцепился с тещей. Всякий норовил пролезть первым, не считаясь ни с возрастом, ни с приличиями, ни с уважением к дамам. А так как в этот день все собрались готовые к бою и в настроении воинственном, то у всех чесались кулаки. К счастью, я, который зараз и с Николой по имени, и с Иосифом и Анной по ремеслу, не говоря уже о моем молочном братце, святом Викентии, вскормленном на виноградце, я, который за всех святых, лишь бы они были за меня, я заметил тележку, проезжавшую мимо с виноградника, и Гамби, моего приятеля, ковьялявшего рядом, и крикнул:

— Друзья! Среди нас нет первых. Обнимемся! Вот кто всех нас помирит, наш властелин, единственный (после герцога, само собой). Он явился. Привет ему! Да здравствует Бахус!

¹ всему свету (*лат.*).

И, подхватив Гамби под ляджи, я водружаю его на карафашке, где он скользит и шлепается в чан с давленным виноградом. Затем хватаю вожжи, и мы первыми въезжаем на Графский луг; Бахус, полоща свой пьедестал в алом соку, увенчанный виноградными листьями, дрыгал ногами и хохотал. Взявшись под ручку, все святые угодники и угодницы шли вприпляску позади зада торжествующего Бахуса. Славно было на травке! Танцевали, ели, играли, прохлаждались целый день вокруг доброго герцога... А к утру луг был похож на свиной хлѐв. Ни травинки. Наши подошвы, запечатленные в нежной земле, свидетельствовали о том усердии, с каким город чувствовал герцога. Я думаю, он остался доволен. А о нас и говорить нечего!.. Надо, впрочем, сказать, что на следующий день прокурор, вернувшись, счел нужным возмутиться, протестовать, грозить. Но он ничего не предпринял, остерегся. Правда, он начал следствие, но так его и не кончил: конец не всегда делу венец. Никому не было охоты доискиваться.

Вот как мы показали, что кламсийцы умеют быть покорными подданными своего герцога и короля и в то же время поступать всегда так, как им втемяшится в голову: она у них деревянная. И этот удачный опыт вернул веселость исстрадавшемуся городу. Люди ожили. Встречались подмигивая, обнимались смеясь и думали про себя:

«Есть еще крошки в нашем лукошке. самого лучшего у нас не отняли. Все в порядке».

И память о наших бедствиях улетучилась.





Октябрь

не нужно было все-таки, наконец, решить, где мне жить. Пока можно было, я откладывал. Чтобы лучше прыгнуть, берешь разгон. С тех пор как мой очаг превратился в пепелище, я гостил день тут, день там, то у одного приятеля, то у другого; народу было довольно, чтобы приютить меня на ночь-другую, до поры. Пока воспоминание об общей беде еще тяготело надо всеми, все были как стадо и всякий чувствовал себя у чужих вроде как бы дома. Но долго так тянуться не могло. Опасность удалялась. Всякий понемногу вбирал тело в ракушку. Кроме тех, у кого тела уже не было, да меня, у которого не было больше ракушки. А поселиться в гостинице я не мог. Двое моих сыновей и дочь — кламсийские граждане, они бы мне не позволили. Не то чтобы молодых людей это очень уязвило в их сыновних чувствах. Но что стали бы говорить!.. Однако они не так уж торопились меня залучить. Сам я тоже не спешил. Слишком уж мои вольные речи плохо вяжутся с их ханжеством. Кому из них принести себя в жертву отцу? Бедняги! Они были не в меньшем затруднении, чем я. На их счастье, Мартина, славная моя дочка, как будто в самом деле меня любит. Она требовала меня к себе во что бы то ни стало... Да, но имеется мой зять. Я знаю сам, у этого человека нет оснований желать меня видеть у себя. И вот все они принялись следить друг за другом, следить за мной сердитыми глазами. А я от них бежал; мне казалось, будто мое старое тело продают с молотка.

Временно я устроился в моем кута, на Бомонском склоне. Это там я, в июле месяце, старый повеса, переспал с чумой. Ведь всего забавнее, что эти болваны, которые, оздоровления ради, сожгли мой чистый дом, не тронули лачуги, где побывала смерть. Я, который уже не боюсь госпожи безносой, был очень рад опять очутиться в хижине с земляным полом, где валялись сосуды предсмертной вечери. Говоря откровенно, я знал, что зазимовать в этой дыре я не смогу. Дверь расселась, окно выбито, а крыша каплет изо всех дыр, словно над вами подвешен сыр. Но сейчас дождя не было, а завтра

успеется подумать о завтрашнем. Я не любитель терзаться неведомым будущим. А потом, когда мне не удастся распутать, с удобством для себя, какое-нибудь затруднение, я помогаю себе тем, что перестаю думать об этом деле до следующей недели. Мне говорят: «Много ты выиграл? Все равно придется проглотить пилюлю». — «Это смотря как, — отвечаю я. — Почему знать, может быть, через неделю и мира-то не будет. Вот-то я буду огорчен, что поторопился, если пилюлю я проглочу, а тут затрубят господни трубы! Мой друг, счастья не откладывай ни на час! Счастье надо пить свежим. А неприятность может и подождать. Если бутылка и выдохнется, то это только лучше».

Итак, я ждал или, вернее, заставлял дожидаться то неприятное решение, которое рано или поздно мне предстояло принять. А чтобы тем временем ничто мне не мешало, я запер дверь на засов и забаррикадировался. Мысли мои меня не тяготили. Я копался в своем саду, расчищал дорожки, окучивал сеянцы под опавшей листвой, подрезал артишоки, лечил болячки и раны старых деревьев: словом, обряжал сударыню-землю, собиравшуюся уснуть под зимним пуховиком. Затем, чтобы себя вознаградить, я отправлялся пощупать бока какой-нибудь хорошенькой дуле, рыжей или желто-мраморной, забытой на ветке... Господи, до чего приятно, когда набьешь рот и у тебя, тая, ходит в глотке вверх и вниз, во всю ее длину, душистый сок! В город я навещался, только когда нужно было возобновить запасы (я разумею не только харч и питье, но и новости). Я боялся встретиться со своим потомством. Я им сообщил, что я в отъезде. Не поручусь, что они этому поверили; но, как почтительные сыновья, опровергать этого они не хотели. Таким образом, мы словно играли в прятки, как мальчишки, которые кричат: «Волк, ты здесь?»; и мы могли бы еще некоторое время, чтобы тянуть игру, отвечать: «Волка нет...» — если бы не Мартина. Женщина, когда играет, всегда плутует. Мартина не верила. Мартина меня знает; Мартина быстро разгадала мои хитрости. Она шутить не любит, когда дело касается взаимных обязанностей отцов и детей, братьев, сестер и прочих.

Однажды вечером, выйдя из кута, я увидел, что она взбирается по козогору. Я вернулся и запер вход. Затем присел под оградой и замер. Она подошла к калитке, стук, крик, свист. Я был недвижим, как мертвый лист. Я затаил дыхание (как назло, меня разбирал кашель). Она, не переставая, кричала:

— Да отопри же! Я знаю, что ты тут.

И кулаком и каблуком колотила калитку. Я думал: «Ну и бабенка! Если дверь не выдержит, мне каюк». Я уже готов был

отворить, чтобы расцеловать ее. Но так не играют. А я, когда играю, всегда хочу выиграть. Я заупрямился. Мартина покричала, затем перестала. Я слышал, как она удаляется неуверенным шагом. Я покинул свой тайничок и ну хохотать... хохотать и кашлять... Я давился от смеха. Нахохотавшись всласть и вытирая глаза, вдруг я слышу за собой, с ограды, голос:

— И тебе не стыдно?

Я чуть не грохнулся. Вздрагиваю, оборачиваюсь и вижу Мартину, которая, уцепившись за ограду, смотрит на меня. Со строгим взглядом она говорит:

— Попался, старый фокусник!

Я отвечаю растерянно:

— Попался.

Тут мы оба прыснули со смеху. Я смиренно пошел отворить. Она вошла, как Цезарь, стала передо мной и, взяв меня за бороду, сказала:

— Проси прощения.

Я сказал:

— Mea culpa.

(Но это как на исповеди: про себя знаешь, что завтра начнешь опять.)

Она не выпускала моей бороденки, подергивала ее и поваркивала:

— Срам! Срам! Старый старичок, отрастил седой клочок, а в голове умишки, как у малого мальчишки!

Раз, другой, третий, потянула она ее, как колокол, вправо, влево, вверх, вниз, потом похлопала меня по щекам и поцеловала.

— Почему ты не шел, гадкий? — сказала она. — Гадкий, ты же знал, что я тебя жду!

— Доченька моя, — говорю, — я все тебе объясню...

— Объяснишь у меня. Ну, живо, идем!

— Позволь! Да я не готов! Дай мне собрать мои пожитки!

— Твои пожитки! Господи боже! Я их тебе соберу.

Она накинула мне на плечи мой старый плащ, нахлобучила мне на голову мою потертую поярковую шляпу, застегнула меня, отряхнула и сказала:

— Готово! Теперь в путь!

— Одну минутку, — говорю.

И присел на ступеньку.

— Как? — возмутилась она. — Ты сопротивляешься? Ты не хочешь идти ко мне?

— Я не сопротивляюсь, — говорю, — придется к тебе идти, раз уж нельзя иначе.

— Ты очень любезен! — сказала она. — Так вот твоя любовь!

— Я тебя очень люблю, дорогая ты моя дочка, — отвечаю я ей, — я тебя очень люблю. Но мне было бы приятнее видеть тебя у себя, чем жить у чужого человека.

— Так я чужой человек! — сказала она.

— Ты его половина.

— Ну, нет! — воскликнула она. — Не половина и не четверть. Я — я, целиком я, от головы до ног. Я его жена: это возможно. Но он мой муж. И я хочу того же, что и он, если он хочет того же, что и я. Ты можешь быть спокоен: он будет в восторге, что ты поселился у меня. Ха-ха! Хотела бы я посмотреть, как бы это он не был в восторге!

Я сказал:

— Охотно верю! Это как когда господин де Невер ставит к нам постой. У меня их много стояло. Но я-то не привык жить на постое.

— Привыкнешь! — сказала она. — Никаких возражений больше! Идем.

— Ладно. Только с одним условием.

— Сразу же и условия? Ты быстро привык.

— Что меня устроят так, как я пожелаю.

— Ты, я вижу, намерен изображать тирана? Ну хорошо, будь по-твоему.

— Даешь слово?

— Даю слово.

— И затем...

— Довольно, болтун. Да идешь ли ты?

Она схватила меня за локоть, ой-ой-ой, ну и клешня! Пришлось двинуться в путь.

Когда мы пришли к ней в дом, она показала мне комнату, которую отвела для меня: рядом с лавкой; очень теплую, и у нее под крылышком. Моя добрая дочь обращалась со мной, словно я был младенец грудной. Чисто убранная кровать: мягкие перины, сладко спать. А рядом, на столе, пучок вереска в хрустале. Я улыбался про себя, меня это и забавляло, и трогало; чтобы отблагодарить ее, я решил:

«Милая Мартина, я тебя позлю».

И заявил без дальних слов:

— Это мне не подходит.

Она показала мне, с обиженным видом, все остальные комнаты нижнего жилья. Я ни одной из них не пожелал и остановил свой выбор на маленьком чуланчике под крышей. Она подняла крик, но я ей сказал:

— Милая моя, это как тебе будет угодно. Одно из двух. Или я устраиваюсь здесь, или я возвращаюсь в кута.

Ей пришлось уступить. Но с тех пор, что ни день, и каждый божий час, она принималась за свое:

— Тебе нельзя там оставаться, тебе лучше будет внизу; скажи мне, чем ты недоволен; да почему ты не хочешь, деревянная твоя голова?

Я отвечал, посмеиваясь:

— А потому что не хочу.

— Ты меня бесишь,— кричала она, негодуя. — Но я знаю, почему... Гордец! Гордец, который не желает быть чем-либо обязан своим детям, мне! Мне! Я тебя отколотить готова!

— Этим способом,— говорю,— ты бы меня заставила принять от тебя хоть колотушки.

— Ты бессердечный человек,— сказала она.

— Доченька ты моя!

— Ишь, какой сладкий. Прочь лапы, гадкий!

— Милая ты моя, большая ты моя, хорошая ты моя, красавица!

— Ты еще ухаживать, подлипало этакий? Лъстец, пусто-меля, врун! Да перестанешь ли ты смеяться мне в глаза кривым своим ртищем?

— Посмотри на меня. Ты тоже смеешься.

— Нет.

— Смеешься.

— Нет! Нет! Нет!

— А я вижу... вот.

И я ткнул пальцем в ее вздувшуюся от смеха щеку, которая так и прыснула.

— Это просто глупо,— сказала она. — Я на тебя зла, я тебя ненавижу, и я даже не имею права сердиться! Я должна, хочу не хочу, смеяться ужимкам этой старой обезьяны!.. А только так и знай, я терпеть тебя не могу. Злой, нищий, разоренный, а корчит Артабана, разыгрывает гордеца перед родными детьми! Ты не имеешь права.

— Это единственное право, которое у меня осталось.

Она наговорила мне еще много резких слов. Я ей отвечал не менее колкими. У нас с нею, у обоих, языки точильщиков, мы вострим слова на кремневом колесе. К счастью, когда мы разозлимся вконец, мы всякий раз отпустим, она или я, какую-нибудь уморительную шутку и хохочем, нет сил удержаться. И все начинай сначала.

Когда она достаточно потрезвонила языком (я уже давно и слушать-то перестал), я ей сказал:

— На сегодня хватит. Продолжим завтра.

Она мне говорит:

— Покойной ночи. Так ты не хочешь?..

Молчание.

— Гордец! Гордец! — повторяет она.

— Послушай, милая моя. Я гордец, Артабан, павлин, все, что хочешь. Но скажи мне откровенно: если бы ты была на моем месте, как бы ты поступила?

Она подумала и сказала:

— Я поступила бы так же.

— Ну, вот видишь! А теперь поцелуй меня, и покойной ночи.

Она угрюмо поцеловала меня и ушла, ворча:

— И пошлет же бог в подарок этаких две головушки!

— Вот, вот, — говорю, — проучи его, душа моя, его, но не меня.

— И проучу, — отвечала она. — Но только ты этим не отделаешься.

Я и не отделался. На следующее утро она начала сначала. И уже не знаю, сколько пришлось на долю бога, а только мне досталось много.

Я как сыр в масле катался первые дни. Всякий меня лелеял и баловал; сам Флоримон за мной ухаживал и был ко мне внимательнее, чем даже требовалось. Мартина за ним следила, ревнуя обо мне больше, нежели я сам. Глоди меня угощала своей милой белтовней. Сажали меня в самое лучшее кресло. За столом подавали первому. Когда я говорил, слушали. Мне было очень хорошо, очень хорошо... Уф! Просто сил не было! Я не мог выдержать; мне не сиделось на месте; каждые три минуты я путешествовал то вниз, то вверх по лестнице, которая вела на мой чердак. Это изводило всех. Мартина, не из терпеливых, всякий раз вздрагивала и молча ежилась, слышав скрип моих шагов. Будь это еще хоть летом, я бы пускался странствовать. Я и странствовал, но только дома. Осень была студеная; густой туман застилал поля; а дождь лил да лил, день и ночь. Я был пригвожден к месту. А место было не мое, чтоб его! У этого бедняги Флоримона был дурацкий вкус, с претензиями; Мартина на это не смотрела; и все в доме — мебель, вещи — меня корбило; я страдал; мне хотелось все переменить и переставить, так руки и чесались. Но владелец следил зорко: стоило мне до чего-нибудь дотронуться, подымалась целая история. Был там в столовой в особенности один кувшин, украшенный парой целующихся голубков и слащавой девицей с жеманным обожателем. Меня от него тошнило; я умолял Флоримона хотя бы убрать его со стола, когда я ем; у меня куски в горле застревали, я давился. Но этот скотина (это было его право) не желал. Он гордился этим лакомым кусочком: если вещь была сборная, он видел в ней верх искусства. И мои гримасы всех только веселили.

Что тут делать? Смеяться над самим собой; ясное дело, я был дурак. Но по ночам я ворочался в постели, как котлета, в то время как на сковороде, то есть на крыше у меня над головой, безостановочно потрескивал дождь. А рассказывать на чердаке у себя я не решался, потому что от моей тяжелой поступи он сотрясался. И вот однажды, сидя в раздумье на постели и свесив голые ноги, я сказал себе: «Кола Брюньон, не знаю когда и как, но я отстрою свой дом». С этой минуты я повеселел: у меня был тайный замысел. Я, разумеется, не стал говорить о нем детям: они бы мне ответили, что в смысле жилища для меня всего пригоднее сумасшедший дом. Но где достать денег? Прошли Орфеевы века, не Амфионы пастыри народов, не водят камни хороводов, схватив друг дружку под бока, и не возводят стен и сводов, иначе как под песню кошелька. А мой кошелек и совсем онемел, хоть, правда, и раньше скверно пел.

Я, не колеблясь, воззвал к кошельку моего приятеля Пайара. Откровенно говоря, этот почтенный человек мне его не предлагал. Но так как мне бывает просто приятно обратиться к другу за услугой, то я думаю, что и ему должно быть не менее приятно мне ее оказать. Я воспользовался затишьем на небеси, чтобы сходить в Дорнеси. Висели низкие серые тучи. Влажный и усталый ветер налетал, как большая мокрая птица. Земля прилипала к ногам; а на поля осыпались, рея, желтые листья орешников. Не успел я раскрыть рот, как Пайар встревоженно меня перебил и начал жаловаться на застой в делах, на скудные поступления, на безденежье, на своих клиентов, так что я ему сказал:

— Пайар, моя душа, хочешь в долг полгроша?

Я был обижен. Он еще того больше. И мы продолжали хмуро беседовать, с холодными лицами, о том о сем, я — озлобленный, он — сконфуженный. Он раскаивался в своей скарденности. Бедный старик — человек неплохой; он меня любит, я это знаю, еще бы; он бы с удовольствием отдал мне свои деньги, если бы это ему ничего не стоило; и даже, прояви я настойчивость, я бы добился от него того, чего я хотел; но не его вина, если в нем сидят три столетия ростовщиков. Можно быть обывателем и в то же время щедрым, конечно; это случается иной раз или случалось, говорят; но всякий добрый обыватель, если дотронуться до его кошелька, первым делом невольно скажет «нет». Мой приятель дорого бы дал теперь, чтобы сказать «да»; но для этого требовалось, чтобы я вернулся к прежнему; а я не желал. Я человек гордый; когда я обращаюсь к приятелю с просьбой, я считаю, что доставляю ему большое удовольствие; и если он колеблется, я больше не хочу, ему же хуже! Итак, мы беседовали о вещах посторонних, сердитым голосом и с тяжестью на душе. Я отказался от

завтрака (это его окончательно расстроило). Я встал. Понурился, он проводил меня до порога. Но, берясь уже за ручку двери, я не выдержал, обвил рукой его старую шею и молча поцеловал его. Он от души ответил мне тем же. Потом робко спросил:

— Кола, Кола, хочешь?..

Я сказал:

— Об этом не будем больше говорить.

(Я упрямя.)

— Кола,— продолжал он с виноватым видом,— останься хоть позавтракать.

— Это,— говорю,— другое дело. Позавтракаем, друг Пайар.

Мы поели за четверых; но я остался твердокаменным и от своего решения не отступил. Конечно, я сам себя наказывал. Но и его тоже.

Я вернулся к Кламси. Предстояло отстроить заново мое жилище, без рабочих и без денег. Остановить меня это не могло. Что я себе ввинтил в голову, ввинчено, черт возьми, не в каблук. Я начал с того, что внимательно осмотрел пожарище, отбирая все, что могло пригодиться: обгорелые балки, почерневшие кирпичи, старое железо, четыре шаткие стены, черные, как шапка трубочиста. Затем я повадился ходить тайком в Шеврош, в каменоломни, ковырять, скоблить, глодать земные кости, славный камень, красивый и кровавый, у которого в прожилках словно запекается кровь. И весьма возможно также, что, идучи лесом, я иной раз помог какому-нибудь престарелому дубу, доживавшему свой век, обрести покой. Быть может, это запрещено; возможно и это. Но если делать только то, что разрешено, слишком уж трудно было бы жить. Леса принадлежат городу, и для того, чтобы ими пользовались. Ими и пользуются, не подымая шума, само собой. И пользуются в меру, потому что помнят: «Надо оставить и другим». Но взять — это еще пустяки. Требовалось унести. Благодаря соседям я управился и с этим: кто ссудил повозкой, кто волами или инструментом, а кто и просто подсобил, благо это ничего не стоит. У ближнего своего можно попросить все что угодно, даже его жену, но только не денег. Я его понимаю: деньги — это то, что может еще быть, то, что будет, то, что могло бы быть за деньги, все, о чем мечтаешь; а остальное уже есть: это все равно, как если бы его и не было.

К тому времени, когда мы с Робине, а не же Бине, смогли, наконец, приступить к установке первых лесов, настали холода. Меня называли сумасшедшим. Дети мои ежедневно устраивали мне сцены; а наиболее снисходительные советовали мне подождать хотя бы до весны. Но я и слышать не желал; я ничего так не люблю, как злить людей или их

вождей. Слов нет, я отлично знал, что не смогу своими силами, да еще зимой, выстроить дом! Но с меня довольно было бы шалаша, крыши, кроличьей будки. Я человек общительный, это верно, но я желаю быть им, когда захочу, а если мне не угодно, то и не быть. Я словоохотлив, я люблю побеседовать с людьми, это верно, но я хочу иметь возможность беседовать и с собой, наедине, когда мне вздумается; из всех моих собеседников это наилучший, и я им дорожу; чтобы с ним повидаться, я готов пройти босиком по морозу, без штанов. И вот именно для того, чтобы без всякой помехи вести разговоры с самим собой, я и строил с таким упорством, невзирая ни на какие пересуды, свой дом и посмеивался над нравами моих детей.

Увы! Последним посмеялся не я... Однажды утром, в конце октября, когда город весь закутался в иней, а на мостовой поблескивала серебряная слюна гололедицы, я, взбираясь на леса, поскользнулся на перекладине и — трах! — очутился внизу скорее, нежели снизу взобрался наверх. Бине кричал:

— Он убилися!

Сбежался народ, поднял меня. Мне было досадно. Я сказал:

— Да это я нарочно...

Я хотел встать сам. Ай, циколютка, циколюточка моя! Я упал опять... Шиколюточка оказалась сломана. Меня уложили на носилки. Мартина, идя рядом, вздымала руки; а соседки шли следом, причитая и обсуждая случившееся; мы напоминали картину, сошедшую с холста: положение во гроб Иисуса Христа. Мои Марии всласть кричали, махали руками и топотали. Мертвый бы проснулся. Я-то не был мертв; но притворялся таковым: иначе весь этот дождь обрушился бы на меня. И, благолепный, недвижимый, с торчащим к небу тычком бородаки, я злобствовал в душе, хоть вид имел прекроткий...





Конец октября

от я и пойман за лапку... За лапку! Господи, уж сломал бы ты мне, если это тебе так нравится, ребро или руку и оставил бы мне мои подпорки! Я бы, разумеется, тоже стонал, но не стонал поверженный. Ах, неладный, проклятый! (Благословенно его святое имя!)

Он как будто только и думает, чем бы вас извести. Он знает, что для меня дороже всех земных благ, дороже труда, кутежа, любви и дружбы та, кого я завоевал, дочь не богов, а людей, моя свобода. Вот поэтому-то (ему небось смешно, шельмецу) он и привязал меня за ногу в моей конуре. И вот я созерцаю, лежа на спине, как жук, паутину, чердачные балки. Вот моя свобода!.. А все ж таки я еще не попался, милый ты мой. Вяжи мой костяк, привязывай, обматывай, затягивай, ну-ка, еще разок, как вяжут цыплят, когда сажают их на вертел!.. Ну что, поймал как будто? А дух! Что с ним ты сделаешь? Глядишь, он и упорхнул, и с ним моя фантазия. Попробуй-ка их поймать! Для этого нужны здоровые ноги. У моей кумы-фантазии они не переломаны. Ну-ка, догоняй, приятель!

Должен сказать, что поначалу я был сильно не в духах. Язык у меня остался, и я им пользовался, для того чтобы ругаться. Все эти дни ко мне лучше было не подходить. Между тем я знал, что в моем падении мне некого винить, кроме самого себя. Знал я это отлично. Все, кто меня навещал, трубили мне в уши:

— Ведь говорили тебе! Выдумал тоже лазить, как кошка! Старый бородач! Тебя предостерегали. Но ты никогда не желаешь слушать. Вечно тебе надо бегать. Ну вот и бегай теперь! Сам виноват...

Хорошее утешение! Когда ты несчастен, доказывать тебе всячески, чтобы тебя подбодрить, что ты к тому же еще дурак! Мартина, мой зять, друзья, посторонние — все, кто меня навещал, словно сговорились. А я должен был выносить их разносы, не шевелясь, с ногой в капкане, лопаюсь от злости. Даже плутовка Глоди, и та ведь сказала, поди:

— Ты плохо себя вел, дедушка, поделом тебе!

Я швырнул в нее колпаком и крикнул:

— Чтoб вам всем провалиться!

И вот я остался один, и веселей от этого не стало. Мартина, славная дочка, настаивала на том, чтобы мою постель перенести вниз, в комнату рядом с лавкой. Но я (говоря по совести, я был бы этому очень рад), но я если раз сказал «нет», черта с два, так это уж «нет»! А потом, неприятно, когда ты калека, показываться людям. Мартина неутомимо возвращалась все к тому же: назойливая, как бывают только мужи и женщины. Если бы она меньше говорила, мне кажется, я уступил бы. Но она чересчур уж упорствовала: согласись я, она бы с утра до ночи трубила победу. И я отправил ее прогуляться подальше. Понятное дело, все и прогуливались, кроме меня, разумеется; меня оставили валяться на чердаке. Жаловаться тебе не на что, Кола, ты сам этого хотел!..

Но истинной причины, почему я упрявился, я не говорил никому. Когда ты не дома, когда ты у чужих, то боишься стеснить, не хочешь перед ними обзывать. Это расчет неверный, если хочешь, чтобы тебя любили. Худшая из глупостей—это дать себя забыть. Забывали меня легко. Я никуда не показывался. Не показывались и ко мне. Даже Глоди меня забрасывала. Мне слышно было, как она смеется внизу; и, слыша ее, я и сам в душе смеялся; но при этом вздыхал: потому что мне очень хотелось бы знать, чему она смеется... «Неблагодарная!» Я обвинял ее, но понимал, что на ее месте я поступал бы точно так же... «Веселись, моя красотка!..» Но только, когда не можешь шевельнуться, надо же, чтобы себя чем-нибудь занять, чуточку разыгрывать Иова, изрыгающего хулу на своем гноище.

Однажды, когда я угрюмо лежал на этом самом гноище, пришел Пайар. Признаться, встретил я его не очень-то ласково. Он сидел передо мной, в ногах кровати. В руках он бережно держал завернутую книгу. Он пытался вести беседу и безуспешно затрагивал то одну тему, то другую. Всем им я сворачивал шею, с первого же слова, с видом свирепым. Он не знал, что и сказать, покашливал, похлопывал рукой по краю кровати. Я попросил его перестать. Тогда он совсем затих и не смел шелохнуться. Я в душе посмеивался и думал:

«Милый мой, теперь тебя мучит совесть. Если бы ты дал мне займы, когда я тебя просил, мне бы не пришлось изображать из себя каменщика. Я сломал себе ногу: вот тебе! Сам виноват! Это из-за твоей скупости я теперь в таком виде».

Итак, он не решался со мной заговорить; я тоже силился сдерживать язык, но мне до смерти хотелось им пошевелить, и я не выдержал.

— Да говори же ты! — сказал я ему. — Или ты у изголовья умирающего? Чтo это такое: прийти и молчать! Ну, говори или

убирайся! Да не ворочай глазами. Не тереби книгу. Что это у тебя такое?

Бедняга встал:

— Я вижу, что я тебя раздражаю, Кола. И я уйду. Я принес было эту книгу... Это, видишь ли, Плутарх, «Жизнеописания знаменитых людей», переложенные на французский язык мессиром Жаком Амио, епископом Оксеррским. Я думал...

(Он все еще не мог решиться окончательно.)

— ...что, может быть, тебе доставит...

(Боже, чего это ему стоило!)

— ...удовольствие, вернее утешение, ее общество...

Зная, до чего этот старый стяжатель, обожающий книги еще больше, чем деньги, не любит их никому давать (когда, бывало, дотронешься до одной из них в шкафу, он строил рожу страдающего любовника, который видит, как грубый нахал тискает грудь его возлюбленной), я был тронут величием жертвы. Я сказал:

— Старый друг, ты лучше меня, я скотина; я обошелся с тобой нехорошо. Приди поцелуй меня.

Мы поцеловались. Я взял книгу. Он был бы рад ее у меня отобрать.

— Ты будешь ее очень беречь?

— Не беспокойся,— ответил я,— это будет моя подушка.

Он ушел нехотя, видимо, не очень успокоенный.

И я остался вдвоем с Плутархом Херонейским, маленьким пузатым томиком, поперек себя толще, в тысячу триста страниц, убористых и плотных, напичканных словами, как мелким зерном. Я подумал:

«Тут хватит корму на три года, без передышки, для трех ослов».

Сперва я принялся разглядывать, в начале каждой главы, в круглых медальонах, головы всех этих знаменитых, отрезанные и завернутые в лавровые листья. Им не хватало только пучка петрушки в носу. Я думал:

«Какое мне дело до этих греков и римлян? Они умерли и мертвы, а мы живы. Что они могут мне рассказать, чего бы я не знал не хуже их? Что человек весьма дрянной, хоть и занятный, скот, что вино хорошеет с течением лет, а женщина нет, что во всех странах, и там, и тут, большие маленьких грызут, а когда беда стряется и с ними, маленькие смеются над большими? Все эти римские вральи витийствуют пространно. Я красноречие люблю, но я их предупреждаю заранее: говорить будут не только они; я им позатыкаю клювы...»

Затем я снисходительно начал перелистывать книгу, рассеянно закидывая в нее скучающий взгляд, словно удочку

в реку. И так и замер, друзья мои... Друзья мои, ну и улов!.. Не успевал поплавок подержаться на воде, как он нырнул, и я вытягивал — таких карпов, таких щук! Неведомых рыб, золотых, серебряных, радужных, усеянных самоцветными камнями и рассыпавших вокруг целый дождь искр... И они жили, плясали, извивались, прыгали, шевелили жабрами и били хвостом! А я-то считал их мертвыми!.. Если бы теперь рухнул мир, я бы, кажется, не заметил; я следил за удочкой: вот уж клевало, вот уж клевало! Ну-ка, что за чудище вылезет из воды на этот раз?.. И трах — чудесная рыбина взлетает на лёсе, с белым брюхом и в кольчуге, зеленой, как колос, или синей, как слива, сверкающей на солнце!.. Дни, которые я за этим провел (дни или недели?), — перл моей жизни. Благословенна моя болезнь!

И благословенны мои глаза, сквозь которые проникают в меня чудесные видения, замкнутые в книгах! Мои колдовские глаза, которые из-под узора жирных и узких значков, бредущих черным стадом по странице, меж двух канав ее полей, воскрешают исчезнувшие воинства, рухнувшие города, римских витий и суровых вояк, героев и красавиц, водивших их за нос, широкий ветер равнин, лучезарное море, и синь восточных небес, и мир, который исчез!..

Передо мной проходит Цезарь, бледный, хрупкий и маленький, возлежащий на носилках, посреди рубак, которые идут за ним, ворча, и этот обжора Антоний, который путешествует со своими поставцами, посудой и блудницами, объедается у опушки зеленой рощи, пьет, блюет и снова пьет, съедает за обедом восемь жареных кабанов и удит соленую рыбу, и размеренный Помпей, которого Флора кусает от любви, и Полиоркет, в широкой шляпе и золотой мантии, на которой изображены земля и небесные круги, и великий Артаксеркс, царящий, как бык, над черно-белым стадом своих четырехсот жен, и одетый Вакхом красавец Александр, который возвращается из Индии на колеснице, влекомой восемью конями, разубранной свежими ветками и пурпурными коврами, под звуки скрипок, свирелей и гобоев, который пьет и пирует со своими полководцами, украсив шляпы цветами, а его войско следует за ним с чашами в руках и женщины скачут, как козы... Ну, разве это не чудесно? Царицу Клеопатру, флейтистку Ламию и Статиру, до того прекрасную, что больно глазам, тут же под носом у Антония, Алекса или Артаксеркса я беру, если хочу, я ими наслаждаюсь, я ими обладаю. Я вступаю в Экбатану, я пью с Фаидой, я сплю с Роксаной, я уношу на спине, в котомке, увязанную Клеопатру; вместе с Антиохом, багровеющим и пламенеющим страстью к Стратонике, я томлюсь по своей мачехе (забавное дело!),

опустошаю Галлию, прихожу, вижу, побеждаю, и (что очень приятно) все это не стоит мне ни капли крови.

Я богат. Каждая повесть — каравелла, привозящая из Индии или Бербери драгоценные металлы, старые вина в мехах, диких зверей, пленных рабов... что за молодцы! Какая грудь! Какие бедра! Все это мое. Царства жили, росли и умирали на забаву мне...

Что это за карнавал такой? Я словно становлюсь по очереди каждой из этих масок. Я забираюсь в их кожу; облекаюсь в их тело, в их страсти; и пляшу. При этом я и балетмейстер, я дирижирую музыкой, я старик Плутарх; это я, и не иначе, это я написал (ведь такая мне счастливая мысль пришла!) все эти побасенки... Какое наслаждение чувствовать, как музыка слов и пляска фраз, кружа и смеясь, уносят тебя на простор, свободного от телесных уз, от мук, от старости!.. Дух — ведь это же господь бог! Хвала святому духу!

Иной раз, остановившись посредине рассказа, я присочиняю конец; затем сличаю создание моей фантазии с тем, которое изваяно жизнью или искусством. Когда его ваяло искусство, я нередко разгадываю загадку: ведь я же старая лиса, знаю всякие хитрости и посмеиваюсь в бороду, что их пронюхал. Но когда ваяла жизнь, я подчас плошаю. Она лукавее нас, и ее выдумки почище наших. Вот уж буйная особа!.. И только в одном она никогда не разнообразит свой рассказ: это когда надо поставить точку. Войны, любовные страсти, веселые шутки — все кончается известным вам прыжком туда, в яму. Тут она повторяется всякий раз. Словно капризный ребенок, который, наигравшись, ломает свои игрушки. Я здесь, я кричу ей: «Грубое создание, да оставь же мне ее!» Отнимаю... Поздно! Игрушка сломана... И мне сладостно бывает баюкать, как делает Глоди, обломки моей куклы. И эта смерть, возникающая, как бой часов, при каждом обороте стрелки, приобретает прелесть припева. Звоните, колокола, гуди, трезвон: динь-динь-дон!

«Я — Кир, покоривший Азию, властитель персов, и я прошу тебя, друг, не завидуй этой малости земли, прикрывающей мое бедное тело...»

Я перечитываю это надгробие, стоя рядом с Александром, который содрогается в плоти своей, готовой его покинуть, ибо ему чудится уже собственный его голос, поднимающийся из-под земли. О Кир, Александр, насколько вы мне ближе, когда я вижу вас мертвыми!

Виджу я их, или это мне снится?.. Я щиплю себя, говорю: «Эй, Кола, ты не спишь?» Тогда я беру со столика, возле кровати, обе медали (я их откопал у себя на винограднике в прошлом году), волосатого Коммода, одетого Геркулесом, и

Криспину Августу, с жирным подбородком, с хищным носом. Я говорю: «Я не сплю, глаза мои открыты, я держу Рим на ладони...»

До чего приятно бывает теряться в размышлениях нравственного порядка, спорить с самим собой, пересматривать заново мировые вопросы, разрешенные силой, переходить через Рубикон... нет, оставаться на берегу... переходить нам или нет? Сражаться с Брутом или с Цезарем, соглашаться с ним, потом не соглашаться, да еще так красноречиво, и до того запутываться, что под конец забываешь вполне, на чьей ты стороне! Это занятнее всего: ты весь полон темой, раздражаешься речами, доказываешь, вот-вот докажешь, отвечаешь, возражаешь; грудь с грудью, выпад, взмах, ну-ка, отрази!.. А в конце концов ты же и проткнут... Быть побитым самим собою! Это уж обидно... Виноват Плутарх. У него такой золотой слог, и он так добродушно говорит вам: «Милый мой друг», что всегда оказываешься одного с ним мнения; а у него их столько, сколько самих рассказов. Словом, из всех его героев я всякий раз предпочитаю того, о котором только что прочел. Да и сами они, как и мы, все подчинены единой героине, впряжены в ее колесницу... Триумфы Помпея, что вы в сравнении с этим? Она правит историей. Я разумею Фортуны, чье колесо крутится, крутится и никогда не пребывает «в одном положении, подобно луне», как говорит у Софокла рогач Менелай. И это весьма утешительно, раз она такая шалунья,— особенно для тех, кто не вышел из новолунья.

Временами я говорю себе: «Послушай, Брюньон, мой друг, и какого черта ты всем этим интересуешься? Какое тебе дело, скажи ты мне, пожалуйста, до римской славы? Или до сумасбродств всех этих великих разбойников? С тебя хватит и твоих, они тебе по росту. Видно, досужий ты человек, что занимаешься пороками и невзгодами людей, умерших тысячу восемьсот лет назад! Потому что ведь, милый ты мой (это проповедует господин Брюньон, чинный, степенный кламсийский обыватель), согласись сам: твой Цезарь, твой Антоний и шлюха их Клео, твои персидские цари, которые режут родных сыновей и женятся на родных дочерях,— сущие прохвосты. Они умерли; это лучшее из всего, что они сделали за всю свою жизнь. Оставь их прах в покое. Как это может взрослый человек находить удовольствие в подобных безумствах? Посмотри на своего Александра, разве тебя не возмущает, когда на погребение Гестигона, своего смазливого любимчика, он тратит сокровища целого народа? Добро бы еще убивать! Человеческое племя—неважное семя. Но сорить деньгами! Сразу видно, что эти уроды не сами их выращивали. И ты находишь это занятным? Ты таращишь глаза, ты торжествуешь, словно эти монеты ты роздал сам!

Если бы ты их роздал, ты был бы дурак. И ты сугубый дурак, раз тебя радуют дурости, которые учинили другие, а не ты сам».

Я отвечаю: «Брюньон, золотые твои слова, ты прав всегда. А я все-таки дал бы себя высечь ради всех этих глупостей, и все-таки в этих тенях, бесплотных уже две тысячи лет, больше крови, чем в живых. Я их знаю, и я их люблю. Если бы Александр прослезился надо мной, как над Клитом, я бы с радостью дал ему убить и себя. У меня горло сжимается, когда я вижу, как Цезарь в сенате мечется среди кинжалов, словно зверь, затравленный псами и ловчими. Я стою, разинув рот, когда мимо плывет Клеопатра в своей золотой ладье, посреди нерейд, прислонившихся к снастям, и красивых маленьких пажей, голых, как амуры; и я раздуваю свой длинный нос, вдыхая благовонный ветер. Я плачу, как теленок, когда под конец Антония, окровавленного, умирающего, связанного, поднимает на канате его красавица, свесившись из башенного окна, и тянет к себе изо всех сил (только бы... он такой тяжелый... только бы она его не выпустила!) несчастного, который простирает к ней руки...»

Что же волнует меня, что же привязывает меня к ним, как к родным? А то, что они мне родные, они — я, они — Человек.

Как мне жаль обездоленных бедняг, которым незнакомо наслаждение книгами! Ведь есть такие, которые высокомерно гнушаются прошлым и довольствуются настоящим. Глупее глупых утят, дальше собственного носа видеть не хотят! Да, настоящее — это хорошо. Но все хорошо, черт возьми, я загребая обеими руками и не морщусь перед накрытым столом. Вы бы на него не клепали, если бы отведали сами. Или же, друзья мои, у вас плохой желудок. Я понимаю, что то, что обнял, держишь в объятиях. Но вы и обнимать не умеете, и милая ваша тоща. Вкусно и мало, в этом вкусу мало. Я предпочитаю много и вкусно... Довольствоваться настоящим можно было, друзья мои, во времена старика Адама, который ходил нагишом, за неимением платья, и, никогда ничего не выдав, только и мог любить свое ребро. Но мы, которые имели счастье явиться после него в полный дом, куда наши отцы, деды и прадеды свалили и нагромодили все то, что они скопили, мы были бы глупы весьма, если бы сожгли свои закрома, под тем предлогом, что наша земля родит и сама!.. Старик Адам был дитя! Это я — старик Адам: потому что я тот же человек и за это время вырос. Мы одно с ним дерево, но только я выше. Всякий взмах топора, ранящий одну из ветвей, отдается в моей листве. Горе и радость мира — мои. Если кто страдает, — мне больно; если кто счастлив, — я смеюсь. И еще яснее, чем в жизни, я ощущаю в книгах это братство, которое нас связует, всех нас, и торбонос-

цев и венценосцев; ибо и от тех и от других ничего не остается, кроме пепла да пламени, которое, вобрав в себя лучшее, что есть в наших душах, возносится к небу, единое и многообразное, воспевая несчетными языками своих кровавых уст славу всемогущему...

Так я мечтаю у себя на чердаке. Ветер угасает. Меркнет свет. Снег шуршит крылом по окну. Крадетя тень. В глазах у меня мутнеет. Я наклоняюсь к книге и слежу за рассказом, убегающим во тьме. Я вожу носом по бумаге: как собака на следу, я вбираю человеческий запах. Ночь надвигается. Надвинулась ночь. Моя дичь ускользает и мчится прочь. Тогда я останавливаюсь посреди леса и с сердцем, бьющимся от погони, прислушиваюсь к убегающему звуку. Чтобы лучше видеть впотьмах, я закрываю глаза. Я мечтаю, лежа на постели, не шевелясь. Я не сплю, я перебираю свои мысли; временами гляжу на небо, в окно. Когда я протягиваю руку, я касаюсь стекла; я вижу эбеновый купол, перечеркнутый кровавой каплей падучей звезды... Еще и еще... Огненный дождь озаряет ноябрьскую ночь... И мне вспоминается комета Цезаря. Быть может, это его кровь струится в небе...

Опять светло. Я все еще мечтаю. Воскресенье. Поют колокола. Моя фантазия опьянена их гулом. Она заполняет весь дом, от погреба до чердака. Она испещряет книгу (ах, бедный Пайар!) моими надписями. Моя комната оглашена грохотом колесниц, звоном труб, конским ржанием и шумом войск. Стекла дрожат, в ушах у меня звенит, сердце колотится, я сейчас крикну:

— Ave, Caesar, imperator!¹

А мой зять Флоримон, зашедший меня проведать, смотрит в окошко, шумно зевает и говорит:

— Сегодня на улице хоть бы кошка!



¹ Привет тебе, Цезарь, император! (лат.)



Мартынов день (11 ноября)

егодня с утра во всем была какая-то удивительная нега. Она пронесилась в воздухе, теплая, как ласка атласной кожи. Она ластилась к вам, как пушистая кошка. Она стекала по окну, как золотой мускат. Небо приподняло свое облачное веко и голубым, спокойным оком смотрело на меня; а на крыше у

меня смеялся светло-русый солнечный луч.

Я чувствовал себя томным, старый дурак, и мечтательным, как юноша. (Я перестал стареться, я молодею; если так будет и дальше, я скоро превращусь в мальчишку.) Итак, сердце мое было полно химерических ожиданий, словно добрый Роже, глазеющий на Альсину. Я на все смотрел растроганным взглядом. Я в этот день не обидел бы мужи. Я истощил запас моих былых проказ.

И вот когда мне казалось, что я один, я вдруг увидел Мартину, сидевшую в углу. Я не заметил, как она вошла. Вопреки своему обыкновению, она ничего мне не сказала; она уселась с рукоделием в руках и на меня не глядела. Я чувствовал потребность поделиться с другими моим блаженным состоянием. И я сказал, наобум (чтобы завязать разговор, все годится):

— Почему это сегодня звонили в большой колокол?

Она пожала плечами и ответила:

— Да ведь Мартынов день.

Я упал с облаков. В своих мечтаниях — мыслимое ли дело! — я забыл про божество моего города! Я сказал:

— Сегодня Мартынов день?

И перед моим взором тотчас возник, в толпе Плутарховых судариков и сударынь, среди моих новых друзей, старый друг (он им под стать), возник всадник, рассекающий мечом свой плащ.

— Ах, Мартынушка, мой старый куманек, как же это я забыл, что нынче твой денек!

— Ты этому удивляешься? — сказала Мартина. — Давно пора! Ты все на свете забыл, господу бога, семью, и бесов, и святых, Мартынушку и Мартину, для тебя ничего не существует, кроме твоих проклятых книжищ.

Я смеюсь: я давно приметил ее недобрый взгляд, когда она приходила по утрам и видела, что я сплю с Плутархом. Женщина никогда не любит книг бескорыстной любовью: она видит в них или соперниц, или любовников. Когда девица или женщина читает, она предается любви и обманывает мужчину. Поэтому, заставая нас за чтением, она вопит об измене.

— Это Мартын сам виноват,— говорю я,— он что-то не показывается больше. А ведь у него осталась половина плаща. Он ее бережет, это нехорошо. Что поделаешь, доченька? Нельзя давать забыть себя. Если дать себя забыть, тебя забудут. Запомни этот урок.

— Я в нем не нуждаюсь,— сказала она.— Где бы я ни была, все обо мне помнят.

— Это верно, тебя всегда видно, а еще больше слышно. Кроме сегодняшнего утра, когда я ждал обычной взбучки. Почему ты меня ее лишила? Мне ее недостает. Задай-ка мне ее.

Но она, не поворачивая головы, сказала:

— Тебя ничем не проймешь. И я молчу.

Я смотрел на ее упрямое лицо, на то, как она закусила губу, подрубая шитье. Вид у нее был грустный и подавленный; и моя победа была мне в тягость. Я сказал:

— Приходи хоть поцеловать меня. Если Мартына я и забыл, то Мартину нет. Сегодня твой праздник, и у меня припасен для тебя подарок. Приди за ним.

Она нахмурилась и сказала:

— Злой шутник!

— Я не шучу,— сказал я.— Подойди, подойди, вот увидишь.

— Мне некогда.

— О бесчеловечная дочь, как, тебе некогда подойти меня поцеловать?

Она нехотя встала; она недоверчиво подошла:

— Какую еще виллоновщину¹, какую выходку ты для меня припас?

Я протянул к ней руки.

— Ну,— говорю,— поцелуй меня.

— А подарок? — говорит.

— Да вот он, вот он,— это я.

— Нечего сказать! Хорош подарок!

— Хорош или плох, все, что у меня есть, я тебе дарю, я сдаюсь, без всяких условий, на твою милость. Делай со мной, что хочешь.

— Ты согласен перебраться вниз?

— Я отдаю себя связанным по рукам и ногам.

¹ В подлиннике: *tour de Villon*, то есть выходка во вкусе Виллона, поэта XV века, прославившегося своей беспутной жизнью и своими причудами.— *Прим. перев.*

— И ты согласен меня слушаться, согласен, чтобы тебя любили, наставляли, бранили, баловали, берегли, унижали?

— Я отрекся от собственной воли.

— Ну, и отомщу же я! Ах ты, мой милый старичишка! Злой мальчишка! Какой ты хороший! Старый упрямец! И злил же ты меня!

Она целовала меня, трясла, как мешок, и прижимала к себе, как младенца.

Она не стала ждать ни минуты. Меня упаковали. И Флоримон с пекарями, украшенные белыми колпаками, уpekли меня по узкой лестнице, пятками вперед, затылком вспять, вниз, в широкую кровать, в светлую комнату, где Мартина и Глюди меня опекали, распекали, допекали без конца:

— Теперь попался, попался, не уйдешь, бродяга!

И это великое благо!

И вот я в плену, я выкинул мою гордость на помойку; старый хрыч отныне подчинен Мартине... И в доме, незаметно, всем правлю я.

Теперь Мартина нередко устраивается возле меня. И мы беседуем. Мы вспоминаем, как однажды, уже давно, мы вот так же сидели друг возле дружки. Но только тогда за лапку была привязана она, потому что повредила себе ногу, прыгая ночью из окошка (влюбленная кошка!), чтобы бежать на свидание со своим любезным другом. Невзирая на увечье, я порядком ее взгрел. Теперь это ей смешно, и она говорит, что я еще мало ее отколотил. Но в ту пору, сколько я ни колотил и сколько ни стерег,— а ведь я человек хитрый,— она оказывалась в десять раз хитрее моего, мошенница, и выскользала у меня из рук. В конечном счете она была не так глупа, как мне казалось. Голову она не потеряла, не знаю, как остальное; а потерял ее, надо полагать, любезный друг, потому что теперь он ее супруг.

Мы с ней смеемся над этими проказами, и она, с тяжким вздохом, молвит, что кончен смех, что лавры срезаны и в лес мы больше не пойдем. И мы беседуем об ее муже. Как женщина разумная, она считает его честным малым, в общем пригодным, хоть и не удалым. Супружество создано не для забавы.

— Всякий это знает,— говорит она,— и ты лучше всех. Так уж оно есть. Приходится мириться. Искать любви в муже— черпать воду в луже. Я не дура, зря слез не трачу, о том, чего нет, я и не плачу. Я довольствуюсь тем, что у меня есть; и то, что есть, хорошо и так. Жалеть не о чем... А все ж таки я теперь вижу, как мало похоже то, чего хочешь, на то,

что можешь, то, о чем мечтаешь в юности, на то, чему бываешь рад, когда состаришься или готов состариться. И это трогательно, а может быть, и смешно: не знаю, что из двух. Все эти чаяния, все эти отчаяния, эти стремления, эти томления, эти желания и эти пылания,— чтобы потом подогревать на них кастрюлю и находить похлебку вкусной!.. И она вкусна, право же, вкусна; как раз для нас; большего мы не заслуживаем. Если бы мне это когда-нибудь сказали!.. И потом, на худой конец, чтобы было вкуснее, у нас есть смех; а это изрядная приправа, с ней съешь и камень. Великая подмога,— мы с тобой хорошо это знаем,— уметь смеяться над самим собой, когда сглупил и видишь это.

Мы себе в этом и не отказываем,— а в том, чтобы посмеяться над другими, и подавно. Иной раз мы молчим, мечтаем, размышляем, я— уткнувшись в книгу, она— в шитье; но языки втихомолку продолжают свою работу, словно два ручейка, которые движутся под землей и вдруг выбегают на солнышке вприпрыжку. Мартина, посреди тишины, раздражается хохотом; и пошли плясать языки!

Я пытался было ввести в наше общество Плутарха. Мне хотелось приохотить Мартину к его чудесным рассказам и к моей патетической манере читать. Но мы не имели никакого успеха. Ей были так же нужны Греция и Рим, как корове налим. Даже когда она, из вежливости, старалась слушать, через минуту она была уже далеко, и мысль ее витала неведомо где или, вернее, обходила дозором, сверху донизу, дом. На самом животрепещущем месте, когда я мудро прибежал регал волнение и подготавливал, с дрожью в голосе, заключительный эффект, она вдруг перебивала меня и кричала что-нибудь Глоди или Флоримону, на другом конце дома. Я был обижен. Я перестал. Нельзя требовать от женщин, чтобы они делили с нами наши мечтания. Женщина — наша половина. Да, но только которая? Верхняя? Или другая? Во всяком случае общий у нас — не мозг; у каждого свой, своя копилка глупостей. Как два побега одного ствола, общаемся мы сердцем...

Общаюсь я отлично. Хоть я и старый черт, увечен, нищ, потерт, я все ж таки ухитряюсь напоследок окружать себя чуть ли не каждый день лейб-гвардией хорошеньких соседок, которые, расположась вокруг моей постели, заводят веселые трели. Они приходят якобы затем, чтобы сообщить какую-нибудь важную весть, или попросить о какой-нибудь услуге, или занять что-нибудь из утвари. Для них хорош любой предлог, о котором можно забыть, переступив порог. Оказавшись все в сборе, как на рынке, они рассаживаются, Гильемина с веселыми глазами, Югетта с хорошеньким носиком, шустрая Жакотта, Маргерон, Ализон, и Жилетта, и Масетта, вокруг теляти на кровати; и шу-шу-шу, пошли щебетать,

кумушки мои, кумушки, на губах у всех трескотня и смех, со всех сторон гудит трезвон! А большой колокол—это я. В котомке у меня всегда имеется какая-нибудь забористая повестушка, которая щекочет, где надо: любо смотреть, как они млеют! Их смех на улице слышать. И Флоримон, задетый моим успехом, просит меня, подтрунивая, открыть ему мой секрет. Я отвечаю:

— Мой секрет? Я молод, старина.

— И потом,—говорит он обиженно,—твоя дурная слава. За старыми бабниками бабы всегда бегают.

— Еще бы,—говорю.—Разве не внушает почтения старый вояка? Всем хочется на него взглянуть, все думают: «Он вернулся из страны славы». А эти думают: «Кола побывал в походах, в стране любви. Он ее знает, и нас он знает... А потом, кто поручится? Быть может, он еще и повоюет».

— Старый проказник!—воскликает Мартина.—Как это вам нравится? Он еще вздумает влюбиться!

— А почему бы и нет? Ведь это мысль! Раз уж на то пошло, то, чтобы вас позлить, я возьму да и женюсь.

— Что ж, женись, мой милый, тебе как раз к лицу красавица жена. На что же нам и молодость дана?

Николин день (6 декабря)

На Николин день меня подняли с постели и подкатали в кресле к окну, возле стола. Под ногами у меня грелка. А спереди—деревянный попиптр с дыркой для свечки.

В десять часов братство судовщиков, «плотильщики» и рабочие, «речные подручные», во главе со скрипками, прошло перед нашим домом, взявшись под руки и приплясывая вслед за своим знаменем. По дороге в церковь они обходили кабаки. Увидя меня, они приветствовали меня кликами. Я встал, поклонился моему святителю, который ответил мне тем же. Я пожимал, через окно, их почернелые лапы и лил, как в воронку, в их зияющие глотки по стаканчику водки (с таким же проком лей вино среди полей!).

В полдень ко мне явились с поздравлениями мои четыре сына. Как плохо ни ладишь, раз в год приходится ладить; именины отца святы; это стержень, вокруг которого, всем роem, держится семья; справляя этот день, она сплачивается, она принуждает себя к этому. И я считаю это нужным.

Итак, в этот день мои четыре молодца встретились у меня. Радость эта для них была невеликая. Они друг друга недолбливают, и, мне кажется, единственная связь между ними—это я. В наше время распадается все, что когда-то объединяло людей: дом, семья, вера; всякий считает, что прав он один, и всякий живет сам по себе. Я не намерен изображать старика, который возмущается, и брюзжит, и считает, что с ним

кончится и мир. Мир-то сумеет выпутаться; и, по-моему, молодежь лучше стариков знает, что ей нужно. А только стариковское дело — дело трудное. Мир вокруг тебя меняется; и если ты сам не меняешься тоже, то места тебе нет! Но меня это не пугает. Я сижу себе в кресле. Мне в нем хорошо. И если для того, чтобы тебя не согноли, требуется переменить мысли, что же, я и переменю, я сумею переменить их так, что останусь (это само собой) прежним. А покамест я наблюдаю из моего кресла, как мир меняется и молодежь спорит; я им дивлюсь и жду тихонько, потом минуту улучу и поведу их, куда хочу...

Мои молодцы расположились передо мной, вокруг стола: направо — Жан-Франсуа, церковник; налево — Антуан, гугенот, тот, что живет в Лионе. Оба сидели, не глядя друг на друга, сутулясь, не поворачивая головы и приросши к стулу. Жан-Франсуа, цветущий, толстощекий, с жестким взглядом и улыбкой на губах, говорил, не умолкая, о своих делах, хвастал, кичился своими деньгами, своими успехами, хвалил свои сукна и господа бога, помогающего ему их сбывать. Антуан, с бритыми губами и острой бородкой, хмурый, прямой и холодный, говорил, словно сам с собой, о своей книжной торговле, о своих путешествиях в Женеву, о своих деловых и вероисповедных связях и тоже хвалил бога; но уже другого. Говорили они по очереди, не слушая, что поет другой, и продолжая каждый тянуть свое. Но под конец и тот и другой, задетые за живое, повели речь о таких вещах, которые могли собеседника вывести из себя, один — о процветании истинной веры, другой — о преуспейнии веры истинной. При этом они по-прежнему не обращали друг на друга внимания; и не шевелясь, словно у них свело шею, со свирепым видом, резким голосом, кудахтали о своем презрении к богу противника.

Посредине их стоял и смотрел на них, пожимая плечом и прыская со смеху, мой сын Эмон-Мишель, головорез, сержант Сасерморского полка (это малый неплохой). Ему не стоялось на месте, он вертелся, как волк в клетке, барабанил по окну или напевал: «ну-ну, ну-ну», останавливался, глядя на обоих старших, занятых спором, хохотал им в лицо или резко обрывал их, заявляя, что два барана, мечены они или не мечены красным или синим крестом, если только они жирны, всегда годны и что это им еще покажут... «Мы едали и не таких!..»

Анис, мой младший сын, взирал на них с ужасом. Анис, удачно прозванный, который пороха не выдумает. Споры его тревожат. Ко всему на свете он равнодушен. Он счастлив, когда может мирно зевать и скучать весь день-деньской. Он считает дьявольским наваждением всякую политику и религию, которые придуманы для того, чтобы смущать сладкий сон разумных людей или разум людей сонных... «Худо или хорошо то, что у меня есть, раз оно у меня есть, к чему менять?»

Постель, которую мы облежали, облежали мы, облежали для себя. Мне новых простынь не надо...» Но его не спрашивали и перетряхивали его тюфяк. И, чтобы обеспечить себе покой, этот кроткий человек, в своем негодовании, рад был бы выдать всех смутьянов палачу. Сейчас он с растерянным видом слушал чужие речи; и как только они становились громче, втягивал голову в плечи.

Я, превратившись в слух и зрение, забавлялся тем, что старался разобрать, в чем эти четверо — мои, что у них моего. Как-никак, это мои сыновья; в этом я ручаюсь. А если они произошли от меня, то, стало быть, они из меня вышли; но каким же, черт, путем они в меня вошли? Я ощущаю себя: как же это я выносил в своей утробе этого проповедника, этого, пустосвята и этого бешеного ягненка? (Авантюрист — еще куда ни шло...) О, коварная природа! Так они пребывали во мне? Да, я таил в себе их семена; я узнаю некоторые жесты, некоторые обороты речи и даже мысли; я узнаю себя в них под маской; маска удивляет, но под нею — тот же человек. Тот же, единый и многообразный. В каждом из нас сидят двадцать разных людей: и хохотун, и плакса, и такой, как пень, которому все равно, что ночь, что день, и волк, и овца, и собака, и потихоня, и забияка; но один из двадцати сильнее всех и, присваивая себе одному право говорить, остальным девятнадцати затыкает рты. Поэтому они стараются удрать, как только видят, что дверь открыта. Мои четыре сына так и удрали. Бедняги! Меа culpa. Такие далекие, они мне так близки!.. Что ни говори, они все-таки мои детеныши. Когда они говорят глупости, мне хочется попросить у них прощения за то, что я создал их глупыми. Хорошо еще, что сами они довольны и считают себя красавцами!.. Что они собой любят, этому я очень рад; но чего я не выношу, так это того, что они не терпят, чтобы у ближнего было рыло, хотя ему оно и мило.

Наохлившись, грозя глазами и клювом, все четверо имели вид сердитых петухов, готовых кинуться друг на друга. Я спокойно созерцал, затем сказал:

— Bravo! Bravo, мои овечки, я вижу, вы бы не дали себя остричь. Кровь хороша (еще бы, ведь это моя!), а голос и того лучше. Вас мы послушали, теперь мой черед! У меня чешется язык. А вы передохните.

Но они не очень-то спешили повиноваться. Чье-то слово пробудило грозу. Жан-Франсуа, вскочив, схватил стул. Эмон-Мишель обнажил свою длинную шпагу, Антуан — свой нож; а Анис (глотка у него, чтобы мычать, телячья) вопил: «Пожар! Тонем!» Я видел, вот-вот эти звери перережутся. Я схватил первый подвернувшийся под руку предмет (это как раз оказался кувшин с голубками, предмет моего отчаяния и Флоримоновой гордости) и, сам того не желая, вдребезги

разбил его о стол. А Мартина, прибежав, размахивала дымящимся котлом и грозилась окатить их. Они голосили, как стадо ослят; но когда кричу я, то нет длинноухого, который не спустил бы флага. Я сказал:

— Здесь я хозяин, и приказываю. Замолчите. Что это вы, с ума сошли? Или мы собрались, чтобы препираться о никейском символе веры? Я припирательства люблю; но сделайте милость, друзья мои, изберите предмет поновее. От этих я устал, они мне неважно. Спорьте, черт возьми, если это вам прописано для здоровья, об этом бургундском или об этой колбасе, о чем-нибудь таком, что можно видеть, выпить, тронуть, съесть: мы поедим, попьем, чтобы проверить. Но спорить о боге — боже правый! — о святом духе, это значит показывать, друзья мои, что дух у вас помутился!.. Я ничего не говорю плохого про тех, кто верит: я верю, мы верим, вы верите... чему вам угодно. Но поговорим о чем-нибудь другом: неужели ничего такого не найдется на свете? Всякий из вас уверен, что создан для райских врат. Что ж, и отлично, я очень рад. Вас там ждут, каждому избраннику уготовано место, остальные — пожалуйста обратно: само собой понятно... Да предоставьте вы господу богу самому размещать своих постояльцев; это его обязанность, и вы в его распоряжения не вмешивайтесь. Всякому свое царство. Богу — небо, нам — земля. Наше дело устроить ее, если возможно, поуютнее. Для такой работы никто не лишний. Или, по-вашему, можно обойтись и без вас? Вы все четверо полезны стране. Ей так же нужна твоя вера, Жан-Франсуа, в то, что было, как и твоя, Антуан, в то, чему следовало бы быть, так же нужна твоя непоседливость, Эмон-Мишель, как и твоя, Анис, неподвижность. Вы — четыре столпа. Стоит податься одному, и рухнет дом. Вы бы остались торчать бесполезной развалиной. Или вы этого добиваетесь? Недурно, нечего сказать! Что бы вы сказали про четырех моряков, которые на волнах, в непогоду, вместо того чтобы управлять кораблем, помышляли бы только о спорах?.. Мне вспоминается разговор, который мне некогда передавали, короля Генриха с герцогом Неверским. Они жаловались на своих французов, что у тех страсть истреблять друг друга. Король говорил: «*Ventresaintgris*!»¹ Мне бы хотелось, чтобы их успокоить, взять этих бешеных монахов и неистовых евангельских проповедников, зашить в мешки, по паре, и утопить в Луаре, как помет котят». А Невер говорил, смеясь: «Что до меня, я бы удовольствовался тем, что отправил бы эти мешки на те островки, куда, как говорят, господа бернцы высаживают сварливых мужей и жен, которых месяц спустя, когда за ними возвращается лодка, находят

¹ «Черт возьми!» — излюбленное восклицание Генриха IV. — *Прим. перев.*

воркующими нежно и кротко, как голубки». Вам бы тоже не мешало прописать такое лечение. Вы огрызаетесь, уродцы вы такие? Поворачиваетесь друг к другу спиной?.. Полно, посмотрите лучше на себя, дети! Напрасно вы воображаете, что сделаны каждый из особого теста и много лучше, чем ваши братья; вы четыре помола *eiusdem farinae*¹, Брюньонова семени, бургундского племени. Посмотрите на этот нахальный носище, который расположился поперек лица, на этот рот, широко высеченный в коре, воронку, чтобы лить пойло, на эти кустами заросшие глаза, которые хотели бы казаться злыми и смеются! Да ведь все вы меченье! Разве вы не видите, что, вредя друг другу, вы сами себя разрушаете? И разве не лучше бы было, если бы вы протянули друг другу руку? Вы мыслите по-разному? Ну так что же? Тем лучше! Или всем вам хотелось бы возделывать одно и то же поле? Чем больше у семьи будет полей и мыслей, тем мы будем счастливее и сильнее. Распространяйтесь, размножайтесь, охватывайте как можно больше земли и мысли. Каждый свою и все заодно (ну, сыны мои, обнимемся!), чтобы длинный брюньоновский нос расстилал по полям свою тень и вдыхал восхитительный земной день!

Они молчали, с хмурыми лицами, поджав губы; но видно было, что они с трудом удерживаются от смеха. И вдруг Эмон-Мишель, разразившись громким хохотом, протянул руку Жану-Франсуа, говоря: «Ну, старший нос, решен вопрос. Выводок ос, помирился!» Они поцеловались.

— Эй, Мартина! За наше здоровье!

Тут я заметил, что, когда, рассердясь, я стукнул кувшином, я порезал себе руку. На столе была кровь. Антуан, торжественный, как всегда, приподнял мою руку, подставил под нее стакан, собрал в него альпий сок из моей жилы и высокопарно заявил:

— Чтобы скрепить наш союз, выпьем все четверо из этого стакана!

— Что ты, что ты,— говорю,— Антуан, портить господне вино! Фу, противно даже! Выплесни эту микстуру. Кто хочет пить мою кровь без примеси, пусть выпьет досуха и без примеси свое вино!

Затем мы пили и гуторили, и о вкусе вина не спорили. Когда они ушли, Мартина, перевязывая мне руку, сказала:

— Старый злодей, ты, наконец, достиг своей цели, на этот раз?

— О какой это цели ты говоришь? Помирить их?

— Я говорю о другом.

— О чем же тогда?

Она указала на разбитый кувшин.

¹ той же муки (лат.).

— Ты меня прекрасно понимаешь. Не изображай невинность... Сознайся... Все равно сознаешься... Ну, скажи мне на ухо! Он не узнает.

Я разыгрывал удивление, негодование, непонимание, отрицал; но я давился смехом... пфф... и подавился.

Она повторила мне:

— Злодей! Злодей!

Я сказал:

— Слишком уж он был безобразен. Знаешь, дочка: один из нас, он или я, должен был исчезнуть.

Мартина сказала:

— Тот, что остался, ничуть не красивее.

— Ну, эта птица может быть безобразна, сколько ей угодно! Мне все равно. Я ее не вижу.

Рождественский сочельник

На смазанных петлях вращается год. Дверь затворяется и отворяется вновь. Как складываемая ткань, падают дни в бархатистый сундук ночей. Они входят с одной стороны, выходят с другой и, со дня святой Люции уже не такие куцые, вырастают на блошинный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год.

Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дна колодца, звездное небо над собой. его ресницы мигающие, его сердечки замирающие; и я слышу, как налетают колокола и в ровном воздухе машут, машут, звоня к полуночной обедне. Я рад, что он родился, младенец, в этот ночной час, в этот самый темный час, когда мир словно кончается. Его голосок поет: «О день, ты возвратишься! Уже ты наступаешь. Ты близок, Новый год!» И Надежда своими теплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает ее нежной.

Во всем доме я один; дети мои в церкви; это первый раз, что я не пошел туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котенком Патапоном. Мы с ними мечтаем и глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок; я рассказывал Глоди, таращившей глазки, старые сказки, и про фей, и про Утенка, и про Ощипанного цыпленка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха возчиком, которые ехали на тележках грузить дечь. Нам было очень весело. Остальные слушали и смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок свое дупло. Ах, славные зимние ночи, тишина, тепло сгрудившегося стада, мечтания поздних часов, когда дух

блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вежи, то только для потехи...

И вот я подвожу счет за целый год и вижу, что за полгода я лишился всего: жены, дома, денег и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше! Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да, нести мне нечего. Что ж, я разгрузился! И никогда еще я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным, никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии... А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду! Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни перед кем за то, что выпью или съем, и никому не давать отчета в том, что я выкинул то-то и то-то! Человек предполагает... А посмотришь — все идет совсем не так, как того он ждет; и это наилучший оборот. И потом в сущности человек — славное животное. Все ему впору. Он одинаково хорошо сживается и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе, сделайте его глухим, слепым, немым, он ухитрится приспособиться и каким-то образом, про себя, видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать; душа плавит его на своем огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями. Поэтому-то чем большего ты лишен, тем ты богаче: ибо дух создает, чего ему недостает; густое дерево, если обрезать лишние ветви, только выше растет. Чем меньше у меня, тем сам я больше...

Полночь. Бьют часы...

Родилось дивное дитя...

Я пою рождественскую песнь...

Играй, свирель, звени, вольнка,
Как он прекрасен, как он мил...

Меня клонит дремота, я засыпаю, плотнее усевшись, чтобы не свалиться в огонь...

Родился...
Играй, свирель, звени, веселая вольнка...
Мессия маленький рожден.

Чем кто бедней, тем больше он...

Крещение

А ведь я ловкач! Чем я бедней, тем больше у меня добра. И я это отлично знаю. Я нашел способ быть богатым, ничего не имея, чужим добром. У меня есть власть, и никаких

обязанностей. Что это рассказывают про стариков отцов, будто, все раздав, все раздарив неблагодарным детям, рубашку и штаны, они оказываются покинутыми, заброшенными и только и видят, как все глазами толкают их в могилу? Это попросту фефелы. Никогда, ей-же-ей, меня так не любили, так не баловали, как в моей бедности. Это потому, что я не такой дурак, чтобы все раздать, ничего себе не оставив. Разве дарится только кошелек? Я, все раздарив, сохраняю лучшее, сохраняю мою веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство, что я скопил за полвека скитаний вдоль и поперек жизни. А запас еще далеко не иссяк. И он открыт для всех; пусть все из него черпают! Разве это ничего не стоит? Если я беру у своих детей, то и им 'я даю; и мы в расчете. А если случается, что один дает немного меньше, чем другой, то любовь восполняет, что нужно; и всегда все обходится дружно.

Кто желает посмотреть на короля без королевства, на Иоанна Безземельного, на счастливого, кто желает посмотреть на Брюньона Галльского, пусть полюбуется, как я сегодня восседаю на троне, возглавляя шумный пир! Сегодня крещение. Днем по нашей улице прошли цари-волхвы и их свита, все как надо, белое стадо, шесть пастушков и шесть пастушек, которые пели во весь рот; а собаки лаляли из-под ворот. И вот вечером мы сидим за столом, все мои дети и дети моих детей. Это будет тридцать человек, все родня, считая меня. И все тридцать кричат разом:

— Король пьет!

Король — это я. На голове у меня корона, пирожная форма. А королева моя — Мартина; как в священном писании, я взял в жены собственную дочь. Всякий раз, когда я подношу к губам стакан, меня приветствуют, я смеюсь, давлось; но, хоть и давясь, глотаю все до капли. Моя королева тоже пьет и, раскрыв грудь, поит из красного соска своего красного сосунка, последнего из моих внучат, который орет, сосет, слонит и кажет голый зад. Пес под столом тьякает и лакает из плошки, вместо кошки. А кошка, мурлыча, спина колесом, удирает с костью, забывгоу псом.

И я думаю (вслух: я не люблю думать молча):

— Жизнь хороша! Друзья мои! Одно лишь худо: коротка. Ах, как хотелось бы побольше! Вы скажете: «Чего ворчать! Твоя ли доля была плоха!» Конечно, так. Но лучше две. И почем знать? Быть может, если я попрошу под шумок, мне и дадут еще кусок... Но грустно то, что я-то тут, а где хорошие ребята, которых я знавал когда-то? Господи, как мимолетно время, и люди тоже! Где король Генрих и добрый герцог Людовик?..

И я пускаюсь, по дорогам былых времен, собирать увядшие цветы воспоминаний; и я рассказываю, я рассказываю,

не устывая и повторяясь. Дети мне не мешают; и если я не могу подыскать слова или путаюсь, они мне подсказывают конец повести; и я пробуждаюсь от грез под их лукавыми взглядами.

— Что, дед? — говорят они мне. — Хорошо было жить в двадцать лет. У женщин, в те времена, грудь была красивей и полней; а у мужчин сердце было там, где нужно, и прочее также. Надо было видеть короля Генриха и его приятеля, герцога Людовика! Теперь из такого дерева людей уж не выделявают...

Я отвечаю:

— Вам смешно, озорникам? Это хорошо, посмеяться полезно. Что вы думаете, я не такой дурак, чтобы считать, что у нас неурожай на виноград и на дюжих людей, чтобы его собрать. Я знаю отлично, что на смену одному ушедшему приходят трое и что лес, из которого вытесывают галльских молодчиков, растет все такой же частый, прямой и пышный? Но выделяют из него уже не прежних. Тысячи и тысячи локтей наруби, никогда, никогда не получишь Генриха, моего короля, или моего Людовика. А их-то я и любил... Полно, полно, Кола, нечего размякать! Слезы на глазах? Ты что, старый дурак, вздумал жалеть, что не можешь до конца своих дней пережевывать все тот же кус? Вино, говоришь, нежнее? Оно от этого не хуже. Выпьем! Да здравствует король, он пьет! Да здравствует его питущечный народ!..

И потом, говоря по душам, дети мои, признаюсь вам: хороший король, конечно, хорош; но лучший король — я сам. Так будем же свободны, французский народ благородный, а наших господ пусть черт заберет! Моя земля да я друг с другом дружны, друг другу нужны. А на что мне царь небесный или земной? Мне не надобно трона ни здесь, ни там. Всякому свое место под солнцем, всякому своя тень! Всякому свой клочок земли да руки, чтобы его копать! Ничего другого мы не требуем. И если бы ко мне пришел король, я бы ему сказал:

«Ты мой гость. За твое здоровье! Садись сюда. Своячок, все короли одинаковы. Всякий француз родился королем. Здесь я хозяин, и здесь мой дом».



«Как,— сказал брат Жан,— вы тоже рифмуете? Видит бог, я зарифмую, как и все прочие, я это чувствую; подождите, и прошу меня извинить, если рифмовать я буду не красно...»

Пантакрюэль, V, 46



задумал эту галльскую поэму в апреле—мае 1913 года. Называлась она тогда «Король пьет», или «Жив курилка». Могу сказать, что я был ею прямо-таки одержим; и мое обращение «К читателю» в мае 1914 года не просто шутка: дед Кола говорил, я сам себе не принадлежал.

Я поселился среди полей, совсем один, возле виноградника. Черные лозы распускались, цвела сирень. Дух мой тоже. Я был весь напоен жизнью земли и всего живого. Во мне били ключи, подобные тем мутным и буйным водам, свежим, тяжелым от перегноя, которые бурлили вокруг меня в лугах. Я смеялся, когда писал. День проносился слишком быстро. Каждое утро я встречал, как Кола, под птичьим деревом; я был в неистовстве от песен раскрывающейся жизни.

Но я поплатился, за все приходится платить,—и это справедливо: я не торгуюсь из-за своих долгов. Недели, месяцы почти сплошной бессонницы. Остановка на полпути, на «Старухиной смерти». Затем вдруг болезнь подалась, запруды распахнулись. В разгаре лета книга была закончена.

Затем, в начале 1914 года, я обратился с предложением напечатать «Кола» к «Ревю де Пари», которая была отчасти и моим домом, будучи домом моих друзей Гандеракса и Лависса; этот последний выступал как главный мой поборник во Французской академии, когда разыгрывались бои из-за литературной премии, которая была затем присуждена «Жан-Кристофу», как раз в те весенние месяцы 1913 года, когда я был занят «Кола». Но, к моему изумлению, мой старый учитель оказался весьма смущен вольностью этого произведения. Он не решался представить непочтительного Кола своей чопорной аудитории. Особенно пугали этого вольнодумца эпизоды с кюре. Я словно с облаков свалился. В наших

¹ «Примечания Брюньонова внука» были написаны Роменом Ролланом для собрания его сочинений на русском языке (изд. «Время», Л. 1932).— *Прим ред.*

краях кюре не скромничали: они смело говорили, не запинаясь, на том пахучем языке, на котором мои деды Кола и Пайар вели беседы со своим Шамайем. Когда мой прадед, брэвский нотариус, отправился однажды в небольшое путешествие по Франции, чтобы проверить в Тулузе одно слово в «Центуриях» Нострадамуса (я когда-нибудь поведаю эту комическую эпопею), то этот старый якобинец, бравший некогда Бастилию и получивший от Фуше, в Кламси, титул «Апостола Свободы», этот попоглот усадил с собой в повозку своего кюре, не для того, чтобы его съесть, а для того, чтобы есть вместе с ним, и смеяться, и спорить. Они не могли обойтись друг без друга за столом и без того, чтобы не сцепиться. Для меня было весьма поучительной новостью, что «порядочная» парижская публика и свободные мыслители из университета в 1914 году куда усерднее требуют уважительного отношения к творцу, в которого они не верят. Ясно было, что приближаются большими шагами времена великой Западной Реакции.

Наступила война, которая не могла не наступить. Еще за несколько лет до того «Жан-Кристоф» ее предсказывал. В Швейцарии, где я жил в июле 1914 года и где я и остался, чтобы иметь (или присвоить себе) право говорить, я правил корректуры «Кола» почти одновременно с корректурами «Над схваткой» (первые месяцы 1915 года). Мой дорогой издатель и друг Эмбло, заведующий издательством Оллендорф, спешил с печатанием, хоть и не собирался выпускать эту книгу до окончания войны. Он был влюблен в «Кола» и так же гордился им, как если бы его родил. Я подозреваю, что этот милый человек потому так торопил меня с чтением корректур, что был не очень-то уверен, что назавтра я буду жив... Увы, он ушел первым, — хоть я и успел, вернувшись в 1919 году в Париж, еще повидаться с ним. И здесь мне хочется еще раз высказать всю мою благодарность искреннему другу, который остался мне верен, когда столько других, в ком я не сомневался, благоразумно от меня бежали во все лопатки. Без твердой и терпеливой поддержки Эмбло, я не знаю, удалось ли бы мне быть услышанным в Париже. На это и рассчитывали мои мужественные враги!

И когда Горький пишет, что «Кола Брюньон», который ему нравится больше всех моих книг, есть галльский вызов войне, то он не так уж ошибается. Потому что хотя этот смех и раздался раньше битвы, но он звучал над нею и наперекор всему... «Je maintiendrai...»¹ «Жив курилка...»

¹ «Не уступлю» — девиз Нидерландов.

Что касается строения книги, то его легко увидеть и без очков. Оно следует ритму Календаря природы, по которому я жил среди полей, промеж двух белых январей. Книга эта питалась кламсийскими летописями, неверскими преданиями, французским фольклором и сборниками галльских пословиц, которые суть мое евангелие и мое «Поэтическое искусство»¹. Я утверждаю и посейчас, что в любом их мизинце больше мудрости, остроумия и фантазии, чем во всем Аруэ, Монтене и Лафонтене. (А я их люблю, этих трех братьев!)

Надо ли добавлять, что, когда я был ребенком, в клетке моей не умолкал старый голос, насмешливый и веселый, Тетки-Утки,—старой Розали из Бевронского предместья,—которая часто мне рассказывала, как Кола своей Глоди, сказку про Утенка и про Ощипанного цыпленка². Ее крутой язык, голый, без фигового листка, с бургундской солью, не многим отличался, в своем свежем архаизме, от языка моего Кола. И я отчасти в ее честь избрал для моей повести как раз рубеж двух столетий, шестнадцатого и семнадцатого³, где новизна и старина делят ложе; ибо от этого сладостного брака родилась речь, крепкая, задорная речь моей старой рассказчицы.

Имя Brugnon (или Breugnon),—а это, как всем известно, название мясистого и крепкого плода, помеси персика и абрикоса,—до сих пор живо в окрестностях Кламси; и я совсем случайно чуть было не купил домишко одного из внуков Кола. Обстановку моей повести нетрудно узнать еще и сегодня. Все эти леса, эти реки, эти селения—друзья моего детства. И хотя мой зеленый канал, окаймлявший старые городские стены и стены моего отчего дома, теперь осушен,—хотя славная горушка Самбер, пузатая и лысая, оперилась еловым париком,—хотя, увы, длинные шеи заводов размазывают свои дымные слюны по моему серо-голубому

¹ Превосходное филологическое исследование о языке «Кола» с привлечением богатых материалов, представленное для соискания докторской степени Марбургскому университету, напечатано Жоржеттой Шюлер в «Romanische Forschungen»; 1927, Erlangen, под заглавием: «Studien zu Romain Rollands Colas Breugnon» (127 страниц).—*P. P.*

² См. стр. 200.—*P. P.*

³ Точное время указано самим Кола в начале и в рассказе о «Чуме» (стр. 12 и 107): он родился в 1566 году, и ему «полвека стукнуло». Действие происходит в 1616 году, под презренным ярмом Кончини, который будет убит год спустя. Кола представляет поколение короля Генриха, который старше его на двенадцать лет.—*P. P.*

небу,— город и край не изменились. И если бы их увидел вновь золотой Катон, деливший одр болезни с зачумленным Кола¹, он, наверное, пролил бы слезу по истребленным виноградникам, но быстро утопил бы ее в пылком вине, обретенном снова на дне погребов, в обществе добрых собутыльников!

О славный град Кламси, чье имя всем известно,
Ты около реки расположен прелестно.
Здесь — вина хорошие, там — злаки нивы мирной,
Окрестные сады ценней страны обширной².

Март 1930



¹ См. стр. 109. — Р.Р.

² П Гроне. «Золотые слова Катона» — Р.Р.

ЛИЛЮЛИ



«Брюньон, скверный человек, ты смеешься, тебе не стыдно? Что ж делать, милые друзья? Таков уж я. Я могу смеяться и все-таки страдать; зато французам для смеха и страдания не помеха. И, плачет он или хохочет, он прежде всего видеть хочет. Да здоровствует Janus bifrons с вечно открытыми глазами!..»

«Кола Брюньон»





Перевод
О. ХОЛМСКОЙ



Лилюли, Иллюзия — маленькая, тоненькая, белокурая; у нее большие голубые глаза, наивные и лукавые, стройные руки подростка, смеющийся рот, открывающий в улыбке мелкие зубы, музыкальный голос, тембр которого берет за душу. Она не ходит, а скользит — кажется, что она парит в воздухе. На ней платье фантазии в духе Боттичелли, серо-голубого цвета, на голове гирлянда из зеленых и золотых листьев.

Чирриди (Чирридикилья, то есть девочка с голосом ласточки), она же Истина. Смуглая цыганочка с огненными глазами, гибкая, живая, страстная; одинаково ловко умеет действовать и языком и кинжалом; одета в костюм Арлекинки, на плечах длинный черный шарф, и когда она откидывает его назад, концы перекрециваются у нее за спиной, как сложенные крылья ласточки.

Богиня Лопп' их (Общественное Мнение) — немая роль. Вид у нее устрашающий; она напоминает древнего индийского идола, грубого и пышно изукрашенного; цвет — черный с золотом; лицо из меди.

Зверь (Дюрера), сопровождающий богиню — немая роль. Дьявол с готического собора. Весь черный, замшелый, как старинное изваяние на раструбах водостоков.

Господь бог — благообразный старец, величественный, но есть в нем нечто от разбогатевшего проходимца; окладистая борода, белая с прозеленью, как бывает у поседевших блондинов, в говоре легкий восточный акцент, благородные жесты, приобретающие, однако, налет вульгарности в те минуты, когда он перестает следить за собой, и тогда его пышные тирады отдают городским предметом.

Полишинель — фигура всем известная: невоспитанный дворняга, который всюду сует свой нос и над любым предметом поднимает заднюю ногу; всегда в прекрасном настроении. Одет в потрепанный костюм из коричневого бархата, обшитый серебряным галуном и бубенчиками.

Альтаир — красивый юноша в стиле итальянского Ренессанса; одно из тех лиц, какие мы встречаем у Перуджино и на ранних картинах Рафаэля; длинные развевающиеся волосы; ему лет восемнадцать.

Антарес — его друг; тот же возраст, та же внешность.

Жано Ланье — французский крестьянин из центральных департаментов; одет в синюю блузу, широкую и длинную, как ночная рубашка; на голове плотно, как привинченная, сидит весьма грязная черная войлочная шляпа.

Гансо — крестьянин баварского типа. Жано худ и сожжен солнцем, как виноградная лоза Гансо — круглый и белесый, как ком масла.

Полоний — член всех академий и Дворца Мира; он при шпаге и в мундире, расшитом золотом; с головы до задницы увешен орденами.

Великий хан

Великий дервиш.

Старик Филемон.

Гильо-мечтатель

Аргус Стоглаз.

Сержанты-вербовщики—типы с Трафальгарской площади.
Ослик Буридан.
Хор юношей и девушек.
Хор детей и педагогов.
Хор интеллигентов.
Пленные Мозги и дирижирующий ими Негр.
Тучные.
Тощие.
Дипломаты.
Рабочие (два полухора).
Охрана.
Торговцы.
Толпа Галлипулетов.
Толпа Урлюберлошей.
Процессия Свободы, Равенства и Братства.
Человек без головы, Амур и Рассудок.
Процессия Вооруженного Мира.
Свита Истины (носильщики, журналисты и прочие).
Свита Общественного Мнения (сатиры, обезьяны, казаки и прочие).

Так как время и место действия произвольны, то так же произвольны могут быть и костюмы действующих лиц. Любые и самые свободные сочетания. Каждому персонажу следует присвоить костюм той эпохи, которая наиболее соответствует его характеру, но в свободной трактовке, так чтобы все в целом составляло яркое и гармоническое зрелище.

Веселая лужайка, заросшая травой и осененная деревьями, на склоне горы; справа открывается вид на широкую, уходящую вдаль равнину.

Сцена разделена на две части узким оврагом, идущим от переднего плана вглубь; через овраг перекинут шаткий мостик.

На переднем плане — дорога, которая сперва вьется в правой части сцены вдоль ramпы, спускаясь к оврагу, затем слева направляется вверх, загибается, исчезает, появляется опять уже выше, на склоне, и, все поднимаясь в гору, окончательно исчезает. Другая дорога поднимается из оврага вправо и вливается в первую перед мостиком. На заднем плане видна третья дорога: она поднимается из глубины, идет вправо, достигает края оврага, проходит через мостик и вливается в первую. На заднем плане и слева высятся большие скалы.

Примечание. Сцена должна иметь глубину, для того чтобы вместить обе толпы, которые во второй части пьесы скопляются на краях оврага одна против другой. Задний план, само собой разумеется, должен быть приподнят, так чтобы зрителю видны были все подробности картины.

Справа по дороге, тянущейся на переднем плане, из глубины долины поднимается толпа, нагруженная мебелью и другими предметами домашнего обихода, подчас весьма неожиданными. Одни из путников тащат или толкают перед собой ручные тележки, другие едут на осликах. Все шумят и суетятся, но без толку, и хотя, видимо, спешат, однако подвигаются довольно медленно, ибо поминутно возвращаются назад — подобрать какой-нибудь из своих бесчисленных и нелепых узлов, оброненных на дороге, или поспорить с соседом, помочь ему делом, а чаще всего советом, как муха в известной басне. Добравшись до лужайки, которая и представляет собой сценическую площадку, большинство останавливается передохнуть и отереть пот. Затем они продолжают путь вверх по дороге. В первой половине пьесы это движение происходит почти непрерывно: однако оно не должно мешать действию.

Главные действующие лица — Полишинель, Жано, Лилюли, Альтаир, Господь бог и прочие — для произнесения своих реплик расположатся на поляне, занимающей три четверти переднего плана слева; эта поляна должна находиться выше, чем дорога, но так, чтобы не заслонять овраг и площадку на другой его стороне.

Хор юношей и девушек. Какое утро! Как весна смеется! Как небо чисто! Яркая лазурь сверкает между голых рук деревьев. Целует солнце под мышками у них осенний рыжий мох. Фиалки пробивают золотой ковер из палых листьев. Благоуханный воздух, свежий, сладкий, как земляника, тает на губах. Друзья, подруги, о, какое счастье идти куда глаза глядят, покинув ветхие дома с подгнившими стенами, забыв о старых городах, набитых хламом прошлого!

Благословенно наводнение за то, что наших стариков сорвало с мест насиженных, отколупнуло их от скорлупы и всех погнало в горы по веселым тропам за нами вслед, грядущему навстречу!

Лилюли (Иллюзия) *(на миг появляется слева, выше всех остальных, на повороте уходящей в гору тропы. Она поет, как птица).*

Лиль лиль лилю лилю!
Счастье я вам сулю!
Лиль лиль люли люли!
В дальних краях земли!
(Исчезает.)

Юноши и девушки *(глазами и губами впивают это видение, простирают к нему руки)*. Вы видели? Это она! Та птичка-малиновка, что нас ведет! Иллюзия! Ах, Лилюли! Постой, постой! Мы за тобой!

Бегут и наталкиваются на Полишинеля, который идет им навстречу своей припрыгивающей, развинченной походкой.

Полишинель. Левей! Левей держи! Потихе, ребятки! Тпру! Да тпру же, кобылки и жеребятки! Шагом! Шагом! Экая прыть! А куда, спрашивается, спешить? Или боитесь, что месяц у вас молодой украдут? Вон он, серебряный голубок, на ниточке на воздушной повис над горами, ждет-пождет, кто из вас схватит его зубами! Видите, как он ловчится свой лук натянуть на той вершине, куда вы держите путь?

Юноши и девушки *(в упоенье, обратив взоры к вершине)*. Куда мы держим путь? Мы будем там? Полишинель! На этих пламенеющих вершинах?

Полишинель. Да, сегодня к вечеру, пожалуй, доберетесь.

Юноши и девушки. Сегодня к вечеру! Уже! И мы увидим за стеною гор сияющий безбрежный кругозор и страны те, что греются во сне — сад Гесперид, и Атлантиду, и Ханаан!

Полишинель. Вот уж на этот счет не скажу. И не поручусь за сегодня. Обетованный край — так ты и знай — всегда сулят на завтра!

Юноши и девушки. Завтра! Завтра! Мы будем там завтра! Мы придем первые! Спешим! Спешим! А ты, Полишинель? Тоже туда? Или уже оттуда?

Полишинель. Я тут за овчарку. Бегаю вдоль стада. Поспеваю всюду, где надо. Отставших подгоняю. На старых лаю. Ягняток терблю. А ярочек молоденьких — щиплю. *(Подкрепляет слова жестом.)*

Девушка, которую он ущипнул *(закатывая ему оплеуху)*. Ай! Ой! Кусачий какой!

Юноши и девушки продолжают путь.

Полишинель (*уже перенес внимание на чету стариков*). А, Филемон! Ну как, старина? Тоже надумал поглядеть на божий свет?

Старик (*горестно указывая на оставшуюся позади долину*). Что мне свет! Родина-то моя там.

Полишинель. Она там, но она и тут. Дело ведь не в земле, а в людях, что на ней живут.

Старик. Я сердцем только там живу.

Полишинель. Да там же ревматизмы, насморки, ломоты! Скорей сюда, на склоны, на высоты! На ярком солнышке погрейся, смолистым воздухом дыши!

Старик. Э, мне милей мой темный угол возле печки дымной и вонючей.

Полишинель (*хохочет*). Не можешь оторваться от своей навозной кучи!

Человек с ручной тележкой. А я свою забрал с собою. Вот везу.

Полишинель (*обращаясь к толпе, которая спешит мимо, изнемогая под тяжестью огромных узлов*). Эй, легче! Легче! Не торопитесь! На себя лучше оборотитесь! По лицам-то у вас пот ручьями уже льет! Чистое наводнение! Стоило бежать из низины, если потоп у каждого с собой в корзине! Дружок, погоди! Ты же сейчас лопнешь! У тебя уже глаза на лоб полезли. А красен-то как! Ну, точно рак, когда его подрумянят кипятком с перцем и лавровым листочком. Сто-ой! Минуту отдыха! Дышите! Воздух тут бесплатно. Да гляньте хоть по сторонам—вид-то какой приятный! Какой нарядный! Как взор пленяет! И можно трогать руками—краска не линяет.

Толпа. Идем! Идем! Некогда отдыхать. Говорят, из соседней деревни тоже туда идут. Нам надо прийти первыми.

Полишинель. Ничего, земля велика.

Толпа. Они все заберут себе!

Полишинель. Хватит и вам тоже.

Толпа. Нет, сперва нам... А им потом... Вперед! Вперед! Нельзя останавливаться. О, господи, какая тяжесть! Ой, я не выдержу... Помру...

Полишинель. Стоило спешить, чтобы в могилу угодить!

Толпа. Мученье какое! И всегда мне хуже, чем другим. Моя ноша самая тяжелая. А посмотри хоть на этого! У него небось вполовину легче!

Полишинель. Ну поменяйся с ним!

Один из толпы. Дурак! Может, еще с тобой поменяться? На твой горб? Хочешь, чтобы я, здорово живешь, подарил ему все свое добро?

Полишинель. А тогда не жалуйся!

Толпа. Хочу и жалуюсь, и никто мне не запретит. Плакаться на свои беды, и завидовать своему соседу, клясть свою жизнь все пуще, ничего не делая, чтобы стало лучше,— это большое облегчение! Вроде промывательного... И этак бы пожить нам лет до ста желательно! *(Проходит мимо.)*

Появляются дети, которых ведут учителя; учителя все в очках; в руках у них пастушьи посохи и на сворках маленькие собачки в попонках. Дети бьют в ладоши.

Дети. Ах! Зеленые ящерики! Цветочки! Баранчики! Еще один! Еще! Он совсем как круглый желтый глазок! А вон птичка! Смотрите, она в красной шапочке! А как свистит! Фью-фью-фью-фью!..

Учители. Идите по середине дороги! Парами! Парами! И опустите глаза! Смотрите в книгу.

Дети. Но нам хочется посмотреть, что тут кругом!

Учители. Незачем. Мы вам всё расскажем. Читайте! Ну, читайте: «Когда Ганнибал перешел Альпы...»

Дети. А мы какие горы будем переходить?

Учители. Не об вас речь. Читайте: «Когда Ганнибал...»

Дети. А мы? А мы? Когда будет речь о нас?

Учители. Лет через двести или триста. Всему свое время.

Девочка с дерзко вздернутым носиком. Когда мы умрем, да?

Дети *(поют на мотив «Мальбрук в поход собрался»)*.

И волей божьей умер,

И стали хоронить...

Учители. Да, когда вы умрете, и вас похоронят. А пока что читайте, читайте! «Когда Ганнибал...»

Дети *(поют)*.

...нибал в поход собрался,

Тарам тарам ти ти,

Куда, дурак, совался,

Обратно нет пути...

(Проходят.)

Полишинель *(обращаясь к человеку, с седinou в волосах, который идет, полузакрыв глаза, чему-то усмекаясь и разговаривая сам с собой)*. А, мечтатель Гильо, который только одного себя знает и никогда не унывает! Что это ты бормочешь себе под нос?

Мечтатель Гильо. Я описываю пейзаж.

Полишинель. Да ведь ты на него не смотришь?

Гильо. Я вижу... вижу...

Полишинель. Уткнув глаза в землю?

Гильо. Я вижу то, что дальше, то, что выше, я вижу вершину, я вижу свет.

Полишинель. Да ты бы для начала кругом себя посмотрел.

Гильо. Меня не интересует, где я сейчас, а только где я буду.

Полишинель. А может, еще и не будешь. И выйдет, что ты нигде не был — ни там, ни тут. И на твоей могиле напишут: «Здесь лежит Гильо, который ничего не видал, словно и на земле не жилал».

Гильо. Я тороплюсь, я обгоняю жизнь.

Полишинель. Обогнать жизнь, мой друг,— это значит уже быть мертвым. Нет, благодарю покорно, я лучше буду отставать. *(Обращаясь к человеку лет под сорок, который смотрит на Полишинеля и на все окружающее светлыми, холодными глазами).* А ты, Аргус Стоглаз, о чем ты размышляешь?

Стоглаз. Я смотрю на тебя, смотрю на него, все вижу, этих и тех, тебя и прочих — и я вижу, что вы все безумны. Смотрю на этот пейзаж и вижу его таким, как он есть, не хуже и не лучше; мне не холодно и не жарко, не весело и не грустно. Я никогда не теряю направления, ни о чем не мечтаю — я только вижу, вижу небо и облака, пыль на дороге и камни, цветы и комья грязи. Я вижу все.

Полишинель. Но ни в чем не участвуешь. Значит, и не живешь. Ты видишь жизнь, да, ну а в тебе самом есть ли хоть что-нибудь живое? Кто один мудр среди безумных, тот сам безумен вдвое.

Справа на повороте дороги появляется Жано верхом на своем осле.

А вот мой куманек Жано и его верный ослик, почтенный Буридан.

Осел. И-ан! И-ан! *(Упирается копытами в землю, не желая двигаться дальше.)*

Полишинель. Один верхом, другой пешком — и оба вместе стоят на месте...

Жано сходит с осла и, приблизив лицо к ослиной морде, начинает задушевно его уговаривать.

Жано. Ну, братец, что ты на самом деле! Ведь мы уже почти у цели. Ну-ка еще копытцами шевельни! А то ведь стыдно будет перед людьми. Смотри-ка, все нас обгоняют... Но! Но! Вперед! Вот наказанье-то, господи прости! Не на себе ж мне тебя нести! Ну, миленький! Ну, мой красавец! *(С внезапной яростью.)* У-у, мерзавец!

Полишинель. Жано предполагает, а осел располагает.

Жано. Ну и что ж такого? Будто уж он глупее всякого другого? Значит, ему тут понравилось. Ну, а я, что ж, я не из упрямых. *(Ослу.)* Ты все обдумал? Взвесил? Обсудил? Ну, смотри! *(Считает.)* Раз... два... три! Решено. А мне что тут, что там, в конце концов все равно.

Полишинель. Не стыдно тебе слушаться своего осла?

Жано. Нет хуже, когда в семье ссоры. Лучше уж уступить без лишнего разговора. *(Ослу.)* Иди поваляйся на травке. А я тут расположусь по-своему. Эге! Землица-то хорошая. И местечко славное, защищено от ветра. Ну, с богом и за работу!

Полишинель. Что ты хочешь делать?

Жано. Копать. И прошу нос ко мне не совать. Теперь это мое поле.

Полишинель. Ты, я вижу, времени не теряешь!

Жано *(показывая)*. Хутор Жано. И Буриданов выгон. *(Натягивает веревку.)*

Полишинель. Ты остаешься? А те-то ведь все уходят! *(Показывает на проходящих по дороге.)*

Жано. Небось воротятся. Земля, говорят, круглая. Куда ни пойдешь, а все придешь обратно. И вообще там видно будет. Пока еще они все пройдут, а я участочек-то и раскопаю.

Полишинель. А зачем, раз ты все равно его бросишь?

Жано. Так я ж не для себя, а для нее.

Полишинель. Для нее? Это для кого же?

Жано. Для той, кто мне всех дороже. *(Показывает на землю)*. Для нее вот, для моей красавицы! Не могу видеть ее заброшенной либо пустой. Сам тогда делаюсь ровно бы не свой, чую, как ей, голубушке, тяжело, ну и спешу облегчить бедняжку.

Полишинель. Ах ты, старый распутник!

Жано. У кого что—у одного земля, у другого девки.

Полишинель. Ну забавляйся, паренек, забавляйся. Трудись, ломай спину! А я посижу да на тебя погляжу. Самое полезное для здоровья—это смотреть, как работают другие. Эх, хорошо в тени! Потейте, добрые люди! Ну, а нам к чему ж лезть из кожи? Полюбоемся лучше на прохожих. Мне сдается, в их веренице прелюбопытные могут встретиться лица.

Усаживается в тени на пригорке, повыше над дорогой. Жано копает, осел щиплет траву, толпа по-прежнему проходит мимо. В отдалении слышна еще солнечная песенка Лилюли:

Лиль люли, лиль люли!..

Стремительно вбегает Альтаир. Он запыхался, так как бегом поднимался в гору.

Альтаир. Вы видели ее? Была тут?

Полишинель. Да кто? Кто?

Альтаир. Волшебная птица.

Полишинель. А! Наша чаровница! Летунья Лилюли?

Альтаир. Я уже с ночи за ней гоняюсь. Слышу, она где-то тут — с куста на куст песенка ее порхает. А то вдруг мелькнет на повороте дорожки легкой одежды край и босая ножка. Я уж совсем было ее настиг, да отвернулся на один миг — увидел в пыли ее серебряную застежку... И потерял след... И с тех пор ее нет... Ах, я пойду хоть на край земли, только скажите, скажите мне, где Лилюли?

Полишинель. Знаешь что, брось-ка ты эту ловлю птичью. А то как бы из охотника не стать тебе дичью.

Альтаир. А я как раз этого и хочу.

Полишинель. Ну, так оставайся на месте. Она у нас такая — гонишься за ней, она убегает. А станешь сам бежать — она следом.

Альтаир. Ах нет, пусти, пусти меня... Я только время с тобой теряю...

Полишинель. Глупец! Сказано тебе: притаись, при-молкни. И я ручаюсь тебе головою, что через пять минут она будет с тобою.

Альтаир. Ты думаешь?

Полишинель. Что за вопрос! Небось уж где-нибудь и сейчас торчит ее лисий нос. Подстерегает тебя, как куренка.

Альтаир. Где? Где?

Полишинель. Да везде, где ты. Хочешь, чтоб она появилась? Скажи о ней что-нибудь дурное!

Альтаир. Никогда!

Полишинель. Эх ты! Да брось, тебе говорят! Раскрой глаза пошире! Сейчас я тебе такое покажу — это вот будет зрелище! Не то что твоя сладенькая блондинка! Смотри!

Альтаир. Что? Эти оборванцы? Толпа, которая спешит, толкается, потеет... Ну уж и зрелище!

Полишинель. Ты, милый мой, просто ревнуешь. Потому что все они, как и ты, гонятся за твоей красоткой. Ну ладно, могу показать тебе кое-что получше. Смотри! Вот шествуют Силы и Власти.

Альтаир. Власти? Над кем?

Полишинель. Над тобой, надо мной, надо всеми. Это те, кто нас ведет.

Альтаир. Никто меня не ведет. Я свободный гражданин свободной республики.

Полишинель. Вот именно. И, стало быть, их имена тебе небезызвестны. Но лица их, ручаюсь, ты никогда не пытался разглядеть. Так пользуйся случаем! Сейчас покажем тебе твоих богов, как говорится, в натуральном виде.

Начинается процессия.

Альтаир. Что это за чудище без головы, что мчится впереди всех огромными шагами?

Полишинель. Великан без головы, что марширует во главе? Ты его знаешь, дружок, это Жизнь. Что, хороша? Какая грудь, а? Что твоя крепость! Руки — как ветви, налитые соком. Бедра прочней колонн. Несется, не удержишь — это буря, ураган, циклон! Смерч из жаркого дыханья и крови. Бей, валяй, круши! И мы туда ж, по ее примеру. А чтоб уж ничто не мешало, облегчим себя самую малость; рецепт для этого очень простой — голову с плеч долой!

Альтаир. Фу! Какое от нее исходит зловонье! Сырой говядиной разит и львиной клеткой!

Полишинель. Скажите, какой неженка! А от тебя, думаешь, амброзией пахнет, ты, зверьеш?

Альтаир. Я — это совсем другое. У меня есть душа.

Полишинель. А что такое душа? Тоже зверь, не лучше иных прочих. И ты ей, пожалуй, верь, да только не очень. У нее тоже есть зубки. И не одним воздухом она питается.

Альтаир. Ах, вот этого я знаю. Видишь, идет, с повязкой на глазах? Она скрывает сияние его очей. Хочу благоговеино поцеловать их. Это мой властелин. Амур! Возлюбленный!

Полишинель. Эх ты, школяр! Жизнь-то только по книгам знаешь! Ошибка, дорогой, грубейшая ошибка! На две, по меньшей мере, тысячи лет опоздал твой портрет — сейчас уже ни чуточки непохоже! Этот слепец с застывшими чертами, которого ты пожираешь глазами, какой же это Амур, помилуй! Это Рассудок.

Альтаир. Что? Рассудок? Прочь! Убирайся! Не хочу тебя! Бесстыжий! По какому праву он завладел повязкою Амура?

Полишинель. А он не может без повязки. Глаза-то ведь ему не нужны, только мешают. Свой путь он наперед расчислил по всем законам логики, ну, стало быть, зажмурься и ступай без колебаний, прямо... Трах! Налетел на дерево... Ой-ой-ой! Расквасил нос... Ну что поделаешь: расчет был верен, это дерево ошиблось. Так! Напролом через кусты... Одежда в клочья... Ничего, он ходок неробкий! А что в прореху видно его... кожу, это его мало заботит. Но как же дальше-то? Ведь там ручей. Идет, идет по краю, словно мул, по самому обрыву... Как-то перешагнет?... Эй, стой! Остерегись! Споткнулся, падает... Нет, устоял... Ну, ловок! Но те, кто следовал за этим канатным плясуном, те бух! — нырнули... Но это их не охладит.... Вперед, ребята! Прямо, только прямо! Нет ничего прекрасней прямой линии. Ох, тупицы! Да здравствует мой горб!

Альтаир. А это еще кто? Уставился на меня и хихикает? Ступай, ступай себе! Шут гороховый!

Полишинель. Вот так так! А знаешь ли ты, кого сейчас гонишь? Это и есть Амур.

Альтаир. Амур? Этот идиотик? Ну вот, нате пожалуйста, теперь он разрюмился... Но, значит, он уже больше не слепой?

Полишинель. Слепой ли, зрячий ли, не велика разница. Он, видишь ли, малость придурковат.

Альтаир. Ну ты, фонтанчик, довольно уже капать... *(Утирает ему слезы.)* Смотрите-ка, смеется! Как радуга после дождя. А глаза у него красивые...

Полишинель. Но не затем они ему нужны, чтобы смотреть. А только чтобы делать глазки.

Альтаир *(пытается поймать взгляд Амура)*. Что видишь ты? О чем ты думаешь? Куда стремишься? Поведай мне мечту свою!

Амур. А, е, и, о, ю! *(Извлекает пронзительное арпеджио из флейты Пана, мимоходом вlepляет поцелуй ослу, который в ответ встряхивает ушами, и убегает в сопровождении прыгающего козленка.)*

Полишинель. Он ничего не видит, ничего не хочет, не думает и не стремится никуда. Он равнодушен ко всему, что происходит. Он проходит...

Альтаир *(глядя в ту сторону, где исчез Амур)*. Как он прекрасен!

Полишинель. Всегда так кажется, когда любовь прошла.

Раздается грохот — тяжелым, мерным шагом проходит вооруженный отряд. Рев труб. Солдаты все обвешаны оружием, за спиной у них походные мешки. Во главе — затаенный в мундир толстяк в каске с перьями, как у воина из оперетки Оффенбаха, с огромным ранцем, саблей и винтовкой. Он весь в поту, отдувается, отирает лицо.

Альтаир. Вот уж придумали — в этакой сбруе тащиться в гору на самом солнцепеке! Да вы с ума сопли! Сбросьте свои доспехи! Что это, Полишинель, каторжные они, что ли? Кто этот солдафон, пузатый и усатый, который, словно Агамемнон, пыхтит и топает впереди всех?

Толстяк спотыкается.

Полишинель. Это Мир. Он идет, как видишь, задом наперед.

Альтаир. Мир? Это Мир?..

Полишинель. Ну да. Вооруженный Мир. Грибуй, спасаясь от дождя, бросился в воду. А эти, из страха перед огнем, подпаливают себя сзади.

Альтаир. Ну и ослы! Глупая вьючная скотинка! Эй, вы! Послушайте! Со всем этим старым железом на спине вы все равно не доберетесь до вершины. Уж лучше сделайте, как тот

мудрец! *(Показывает на ослика Буридана.)* Все четыре копыта в воздух—и валяйтесь себе на травке!

Полишинель. Они только того и хотят.

Альтаир. А кто ж им запрещает?

Полишинель. Погонщик.

Появляется Свобода; это ражий детина, на нем фригийский колпак, рубашка распашнута на волосатой груди, в руке огромный кнут.

Свобода. Но! Но! Какого черта! Вперед, граждане! Шевели ногами! Вперед, осел! Шагай либо издохни! А что еще с этим скотом? Вьюк у него съехал? *(Обращаясь к Равенству.)* Святая шлюха, помоги-ка затянуть на нем подпругу... Ошейник этому свободному человеку!

Полишинель. Приветствуй свое божество, сынок!

Альтаир. Что? Этого ругателя? Да кто он такой?

Полишинель. «Свобода, милая свобода...»

Альтаир. А та, другая?

Полишинель. Его сестрица—Равенство. Милейшая особа!

Равенство *(затягивая ремни на солдате)*. Ты у меня подожмешь брюхо! *(Равенство подбирает с земли какой-то предмет, который она положила на обочину дороги, перед тем как начать затягивать ремни, и продолжает свой путь.)*

Альтаир. Что у нее в руках?

Полишинель. Садовые ножницы. Отойдем-ка подальше. Она стрижет, кромсает, режет... Кыш! Кыш, негодная! Беда тому, кто ей попадется!

Альтаир. Да что ж ее так раздражает?

Полишинель. Все, что выдается.

Равенство сует ему кулаком в бок.

Равенство. Убери свой горб!

Полишинель. Anch'io son aristo!..¹

Равенство. Равняйся! У, дохлые! Смирно! Налево-о!

Свобода. Вперед! Свобода или смерть! *(Щелкает кнутом.)*

Отряд приходит в движение и постепенно удаляется.

Альтаир. А это кто, в самом конце? Черный дикарь, почти что голый, но в цилиндре, с салфеткою на шее, под руку со священником?

¹ Полишинель пародирует восклицание флорентийского художника XIV века Джотто: «Anch'io son artista!», то есть: «И я стал артистом». Полишинель заменяет итальянское слово artista французским aristo—насмешливой кличкой, которую во Франции народ дает аристократам.—*Прим. ред.*

Полишинель. Это Братство. Ты осторожней с ним, он очень зол. Он — людоед, но в руках у него вилка и на устах молитва. Манеры как в самом высшем круге — это цивилизации заслуга. Почтенный капеллан его везде сопровождает, указывая, кто ему не братья, чтоб с чистой совестью он мог сожрать их.

Альтаир (*в отчаянии*). Какая гнусная насмешка! Не хочу больше смотреть... Все, что я люблю и почитаю, предстает мне в уродливом и омерзительном обличье. Братство — людоед, Свобода с кнутом в руках гонит рабов, законных в цепи! Рассудок слеп, а Любовь безмозгла! Зачем же тогда жить? Ради чего?

За его спиной появляется Лилюли. Она неожиданно возникает посреди луга и тихо плывет над землей, едва касаясь ногами белых цветов мака. Приблизившись сзади к Альтаиру, она зажимает ему глаза. Голова его приходится на уровне ее груди.

Лилюли. Ради меня.

Альтаир (*вздрагивает*). Любимая! Ты! Наконец-то! (*Хочет обернуться.*)

Лилюли. Не двигайся! Останься так! (*Не снимая рук, прижимает к себе его голову.*)

Альтаир. Я слышу, как бьется твое сердце, как трепещет твоя грудь... Тут, под моей щекой... Из твоих нежных пальцев, из их прохладных кончиков ты, чувствую, переливаешься в меня, как ручеек, и унимаешь жар в моей крови... Я умираю от счастья... Ты здесь! Ты здесь!

Лилюли. Ну? Теперь все хорошо?

Альтаир. Все хорошо... И мир прекрасен. (*Как бы внезапно пробуждаясь.*) Но эти страшные виденья, эти чудовища, которые сейчас тут проходили?

Лилюли. Тебе приснилось.

Альтаир. Нет, я видел...

По-прежнему зажимая Альтаиру глаза, Лилюли склоняется над ним еще ниже, приближает лицо к его лицу, губы к его губам, почти вплотную, и все же не касается их, так же как ее ножки не касаются белых чашечек мака, над которыми она парит.

Лилюли. Тебе приснилось. Смотри теперь!

Альтаир. О, как все озарилось — каким-то новым светом! Солнце не палит больше... Над дорогой не поднимается уж едкий запах пыли и пота от человеческого стада. Ветерок свеж, как твои пальцы. Воздух благоухает акацией, как твои губы. Радостной поступью, обнявшись, проходят стройные и гармонические люди. Свобода расчищает им путь и убирает тернии, чтоб им не наколоться. И, как Юнона, из чьего соска брызнул когда-то Млечный Путь, так Братство всех любовно поит из материнской своей груди. В листве незримые Рассудок и Любовь воркуют в сладостном согласье, как две голубки.

О Жизнь, я вновь обрел утраченный твой лик. Как он прекрасен! *(Засыпает в объятиях Лилюли.)*

Лилюли. Баю-баюшки-баю, баю деточку мою... *(Целует его глаза, бережно опускает его на землю, окутывает его голову своим покрывалом, затем обращаясь к солдатам Вооруженного Мира, все еще марширующим по дороге, — сейчас это артиллеристы с пушками, — говорит им.)* Ну, теперь забирайте его. Он будет крепко спать на этом лафете.

Солдаты забирают Альтаира и уносят.

Полишинель. Пантера с золотистыми глазами, мурлычь, облизывайся розовым язычком, отведав крови! Что, вкусно?

Лилюли. Очень.

Полишинель. Тигрица гирканская!

Лилюли. Индюк бирманский!

Полишинель. Не стыдно тебе?

Лилюли. Чего мне стыдиться? Того, что я дарю счастье?

Полишинель. Предать такого младенца!

Лилюли. Он своей участью не поменялся б с королем. Спать на пушке, грезя о Братстве! Что слаще в двадцать лет? Тебя не соблазняет? *(Приближается к Полишинелю с завлекающей улыбкой.)*

Полишинель *(отступая)*. Спасибо! Мне уже не двадцать. Стар увлекаться.

Лилюли *(подходит еще ближе)*. Для счастья никогда не поздно!

Полишинель. Благодарю! Но я давно в отставке — без чина.

Лилюли. Как жаль!

Полишинель *(с иронией)*. Еще бы! Такой красавец мужчина!

Лилюли. А что же? Недурен!

Полишинель прыскает со смеху, но позволяет Лилюли подойти немного ближе.

И если хочешь, я могу по дружбе устроить, чтоб тебя признали годным для военной службы.

Полишинель *(поспешно отступает)*. Премного благодарен!

Лилюли. Да что ты скромничаешь? Ноги у тебя, во всяком случае, в порядке. Ну-ка пройдишь, я посмотрю... Подними руки! Шагни! Да из тебя выйдет отличный солдат!

Полишинель. О да! Я отлично сумею удирать!

Лилюли. И то неплохо. Сейчас, мой друг, бежать из одного сраженья — значит попасть в другое. Так что геройство тебе все равно обеспечено. Разве ты не хочешь быть героем?

Полишинель. И получить в брюхо порцию свинца? Нет, дудки! Предпочитаю стаканчик винца. Это полезнее для желудка.

Лилюли. И это будет, в придачу! Сыт будешь, и пьян, и нос в табаке! А какой некролог («О мертвые, сколь ваш завиден жребий!») напишет о тебе какой-нибудь великий академик, которому его величие (ах, жаль беднягу!) мешает устремиться в гущу боя. А может быть, сам Фредерик Массон произнесет над тобой надгробное слово! Ты только скажи, чего тебе хочется. Ни в чем не будет отказа. Ты мне понравился с первого раза.

Полишинель. Я?

Лилюли. Ты, ты! Твой нос, как роза, алый, твой тощий лик с кривой ухмылкой, как месяц в первой четверти, и пуговицы глаз твоих, блестящих, круглых, как у вороны, и твой веселый нрав и поступь грациозная, как будто ты плясун канатный, который бы свой балансир ради удобства проглотил.

Полишинель. Довольно уж надо мной смеяться!

Лилюли. А разве ты не знаешь, что женщина всегда смеется над тем, кого любит? *(Пытается подойти к нему.)*

Полишинель *(отступает)*. Не подольщайся, лиса!

Лилюли. Ты мне не веришь!

Полишинель. Боюсь твоего языка.

Лилюли. А моих губ?

Полишинель. Нет... Да... Ну, беда! Попался Полиши... Э, нет, позволь! *(Отступает в ту минуту, когда она уже готова его коснуться.)*

Лилюли. Фу, какой трус! Ну что мне, руки вверх поднять? Пожалуйста! Изволь! Камарад!

Полишинель. Ох, и ручки! Беленькие, пухленькие...

Лилюли. А ты потрогай. Не бойся, настоящие! Прямо из сада, наивысший сорт — как атлас кожура, и даже пушок не стерт...

Полишинель протягивает руку, отдергивает, протягивает опять. Лилюли тем временем незаметно придвинулась к нему, и его рука касается ее локтя.

Лилюли. Дрожит... Горит... Поджаривается...

Полишинель. Ну что ж... Возьму...

Лилюли. И конец ему!

Полишинель *(ощупывает ее)*. Как персик... душистый... бархатистый... *(Обнимает ее за талию.)* Ого! Кто бы подумал! На вид худышка, а на деле вроде хорошо пропеченной пышки... Жирна, как перепелочка, плотна, как подушечка... Да как же ты ухитрилась, душечка, казаться грезой, тенью, духом без плоти, когда на этого чижика вела охоту!

Лилюли. Моего маленького сонулю? Ну, всякому свое.

Полишинель. Детям — погремушки!

Лилюли. Мечтателю в двадцать лет — душа. А тело ему зачем? Тело — это одна видимость. Ведь так, Полиши?

Полишинель. Э, нет, извините! Жить только духом — другого поищите. У меня слишком хороший аппетит.

Лилюли. Уж я ль тебя не угощаю? А тебе, обжоре, все мало!

Полишинель. Да нет, в самый раз. Чего еще и просить! В твоей харчевне, я вижу, найдется и выпить и закусить.

Лилюли. Только не сейчас.

Полишинель. А почему?

Лилюли. Ну что ты! У всех на глазах! *(Показывает на людей, проходящих по дороге.)*

Полишинель. А я не склонен стесняться.

Лилюли. Зато я очень стыдлива.

Полишинель. Вот хорошо, что предупредила, а то бы никто и не догадался.

Лилюли. Пойдем сюда.

Полишинель. Куда?

Лилюли. Вот в эти кусточки. *(Тянет его к дороге.)*

Полишинель. А нет ли поукромнее уголочка?

Лилюли. Да будет тебе, не трусь! И не верти головой, как гусь. Смотри мне в глаза.

Полишинель. Вижу в них себя, но, увы, далеко не красавцем.

Лилюли. Стоит тебе захотеть, стоит мне захотеть — и будешь хорош, как ангел. Хочешь? Скажи! Я все сделаю.

Полишинель. Ну, а что, например, ты можешь мне предложить?

Лилюли. Да все что угодно. Хочешь, присажу тебе второй горб. А нет — сниму оба. Можно дать тебе стан прямой, как тополь, нос белее лилий и даже пикантную ямочку на подбородок.

Полишинель. Ты все с подковыркою да со смешком!

Лилюли. Да нет же! Клянусь моим соском! Смотри мне в глаза. Ближе! Еще ближе! Ну, видишь себя?

Пятясь, увлекает его к краю обрыва, под которым проходит дорога. Продолжает отступать, паря в воздухе, чего Полишинель не замечает, так как не смотрит себе под ноги. Но в последнюю минуту, когда он уже готов был ступить в пустоту, он вдруг, опомнившись, отскакивает и ускользает от двух ражик молодых с бандитскими физиономиями. — это сержанты-вербовщики, притаившиеся в канаве, чтобы схватить его, когда он свалится.

Полишинель. Вижу бычка на веревочке! Ну да еще посмотрим!

Вербовщики *(выскакивают из канавы, держа над собой плакаты)*. Джентльмены, вас долг зовет!

Полишинель. Авось подождет!

Лилюли. Куда же ты? А я?..

Полишинель. У-у, змея! (*Преследуемый вербовщиками, взбирается на плодовое дерево.*)

Один из вербовщиков (*стоя под деревом и задрав голову вверх*). Спешите, сударь! Только вы один и остались! Другие все давно записались! Списки уже в штаб-квартире! А что вы скажете об этом мундире? И этот кивер будет очень к лицу такому бравому молодцу! Не упускайте случая! Очень редкий! Спускайтесь скорей со своей ветки!

Второй вербовщик. Слазь, сукин сын, а то я не поленюсь, сам к тебе поднимусь! И уж тогда не быть тебе живу!

Полишинель. А не хочешь сливу? (*Обстреливает его сливами.*)

Второй вербовщик. Держите подлеца! Он вольный стрелок!

Первый вербовщик. Послушайте, сударь, это с вашей стороны просто нечестно! Да будет вам раз навсегда известно, что если мужчина холост и не солдат, он не имеет права обороняться! Это уже преступленье!

Полишинель. Ах, быть солдатом какое наслажденье!

Второй вербовщик. Что делать нам, сударыня, с этой рогатой тыквой, с этим огурцом бешеным, на веточке подвешенным? Сорвем этот фрукт, что ли?

Лилюли. Ах нет, дадим ему дозреть. Рано иль поздно он попадет к нам на тарелку. Но он не готов пока. Нужно, чтоб солнце позолотило ему бока.

Полишинель. Жди на здоровье!

Лилюли. Ты будешь мой!

Вербовщики. Он будет наш!

Полишинель. А вот и нет! С Иллюзией бороться может только Смех!

Лилюли. Ох, не превозносись, голубчик! Я-то ведь тебя не врагом считаю, а другом, и даже очень благодарна за твои услуги. Ты говоришь: «Не верю» и, думаешь, этим спасешься? Ты говоришь: «Не верю!» — и смеешься! А делаешь что? То же, что и другие! Так смейся, смейся себе, мой милый. Твой смех помогает быстрее идти тем, кто за мной шагает. Да ты и сам катишь по той же дорожке! Тра-ла-ла-ла-ла! Не обижайся, радость моя!

Полишинель. Ах, негодяйка! Ах, краснобайка! И до чего все ж таки хороша!

Лилюли (*хохочет, глядя на него*). Прощай, моя душа!

Полишинель. Не скаль свои белые зубки, а то так и тянет на них попасться.

Лилюли. Уж я полакомлюсь тобою, дыня!
Вербовщик. И мы! И мы!

Полишинель остается на дереве. Лилюли в сопровождении вербовщиков направляется к Жано, который все это время усердно мотыжил свою пашню.

Один из вербовщиков (*показывая на Жано*). А этот жесткий плод, этот кизильник, корявый и иссушенный солнцем?

Лилюли. А что ж, сорвем! Пренебрегать ничем не стоит. (*Подходит к Жано. Вербовщики стоят поодаль. Лилюли окликает Жано.*) Послушай-ка, любезный!

Жано не оборачивается.

Вербовщики. Эй, ты, мужик!

Лилюли делает им знак молчать и подходит ближе.

Лилюли. Здорово, друг!

Жано еле поднимает голову.

Жано. Ну, здравствуй. (*Поворачивается к ней спиной.*)

Лилюли. Смотрю я на тебя — уж как же ты маешься! Надсаживаешься, надрываешься... И это ведь с самого утра! Уж тебе бы и отдохнуть пора! Солнце палит, тень холодком манит, — день долог, жизнь коротка, все-то дела за сегодня все равно не управить, надо что-нибудь и назавтра оставить! Да и кто тебе велит нести такой крест — ни хозяина, ни семьи, один как перст! К чему же тянуть из себя жилы? Кто землю копает, роет себе могилу. Вот уж подлинно, что работа дураков любит. А то зачем бы тебе эту пашню день-деньской голубить? Скрести, мести, копать, ровнять, навозить и вообще всячески ее тревожить? Ишь как она раскинулась, брюхом вверх, вроде как в истоме... Эх, милый, сидеть бы тебе, старику, дома! А здесь и без тебя найдутся разные прочие, до таких дел охочие. Быстренько все обстряпают, и без затей, и народят тебе отличных детей — синюю капусту, и золотое жито, и кружевной овес, что на ветру дрожит весь, и картошку щекастую, толстоносную и мордастую, а коль захочешь, то и янтарные градины, спелые виноградины, чтоб их ногами в чану давить, красное молочко из них доить и разливать по бочонкам тот сок хмельной, что завещал нам наш прародитель Ной! А сам ты станешь по подвалу ходить-похаживать да кружечку пенную себе налаживать. Хочешь этак-то? Я все устрою. Если согласен — идем со мною! (*Она делает вид, что уходит.*)

Полишинель. Ну язычок! Ну балаболка! Эта, пожалуй, всякого собьет с толку!

Жано (*на минуту поднимает голову и, опершись на лопату, разглядывает Лилюли*). Да чего тебе, девке, надо?

Лилюли. Хочу тебе помочь.

Жано. А! Ну спасибо. Вот раскидай-ка этот навоз.

Лилюли. Фу! Фи! А чем?

Жано. Руками. Чем же еще за него браться? Ради такого дела не грех малость и замараться!

Лилюли. Моими розовыми пальчиками!

Полишинель. Что, Лилюли? Ага! Вот и любезничай с ослами! Ты ему серенаду, а он тебе руладу из своего заду!

Лилюли. Но послушай, земляк, ты, наверное, умираешь от жажды! Легко ли — целый день ворочать, как вол, уткнувшись в землю, облизывая каждую кочку, — небось и язык-то весь потрескался! Признайся, ведь хочется выпить?

Жано. А что ж, и выпью. Вот ужко вечером.

Лилюли. До вечера, дружок, мы успеем состариться. И кто знает, найдется ли тогда вино и под ногами погреб, куда его поставить. Нет, что уж откладывать! Покуда в силах, тут-то и время сердце свое порадовать!

Жано. Ничего, мое от меня не уйдет, не беспокойся. Добрые вина и старику любви. Чтоб всласть напиться, не нужны зубы.

Лилюли. Экой кряж! Его и не сдвинешь. Послушай, Жано! Еще словечко! Скажи, ты любишь землю?

Жано. Я-то?.. Ее-то?..

Лилюли. Ну так вот. Я тебе припасла земельки. Там, наверху.

Жано (*тупо смотрит на небо*). Это где же?

Полишинель. Ох, выдумщица! Интересно, что она еще сочинила! То райские кущи ему сулила, а теперь небесные огороды?

Лилюли. Смотри сюда, Жано! Видишь этих людей на дороге? Видишь, спешат, бегут, валят валом? А потому что знают, что там, за перевалом! Тамошняя земля не здешней чета — чистый чернозем! Красота! Под плугом — масло, в ладони — пух, мягкая да пышная, как девичья грудь! А уж как примется она рожать, так поспевай только косить да жать. Ага, вижу, и у тебя текут слюнки! Ну? Хочешь такое поле? Так беги скорей, получай свою долю! (*Делает вид, что уходит.*) Чего же ты стоишь?

Жано. Да я уж и сам решил, что туда отправлюсь. Только сначала тут управлюсь.

Лилюли. Да там же все разберут!

Жано. А я уже и сейчас беру.

Лилюли. Ну да, какую-нибудь пустяковину! А там-то, подумай, золотого зерна доверху полны амбары и закрома!

Слива там в кулак, и с голову груша — только нагнуть-ся — подбирай да кушай!

Жано. А все верней две ноги, чем три ходули.

Лилюли. Но ведь у тех ноги бегут!

Жано. Зато мои крепко держат.

Лилюли. А соседи твои все пошли. Тебе не завидно?

Жано. Ежели мой сосед пошел топиться, не значит, что и мне надо в омут валиться.

Лилюли. Э, дурачина! С тобой говорить, что горохом о стену! Ну хорошо. Если уж мои над тобой бессильны чары, найдется другая, поддаст тебе жару! Не любишь, когда тебя гладят? Вот она шило в тебя засадит!

Полишинель. А кто она?

Лилюли. Моя кузина желчная — Общественное Мнение!

Полишинель. Ну-у, разве его этим возьмешь! Дожди-дайся!

Лилюли. Но кто дождет, тот посмеется.

Полишинель. Он не пойдет.

Лилюли. Пойдет!

Вербовщики. Пойдет! Рам-там!

Лилюли. И тебе, дружок, недолго еще гонять без привязи! До скорого свиданья! *(Вербовщикам.)* Ну, пошли! Рам-там-тарам! Придет он сам! Рам-там-тарам! Все будут там! Вот дайте срок! Пырнут их в бок! *(Проходя с песней мимо Жано, тычет его двумя пальцами под ребра, шуточно грозит Полишинелю и со смехом убегает.)*

Вербовщики подхватывают ее песенку, выделявая в такт резкие, причудливые движенья.

Вербовщики. Пырнут их в бок, пырнут их в бок и выпустят багровый сок! *(Удаляются.)*

Пока еще слышны их голоса. Полишинель, повиснув, как обезьяна, на ветке, и Жано, опершись на лопату, растерянно переглядываются. Затем Полишинель спрыгивает с дерева, Жано выткает лопату в землю, и опять оба обмениваются взглядами: Полишинель — потирая себе нос, Жано — почесывая зад. Наконец, Жано пожимает плечами и снова прижимается за лопату, а Полишинель хлопает себя по ляжке и выделяет лихое антраша.

Полишинель. Рам-там-тарам! Увидим там! Авось дадим им по рукам! Рам-там-тарам, тарам-там-там!

Слышен гул приближающейся толпы. Все тянут гнусавыми голосами какой-то однообразный, размеренный напев, отчеканивая слова, только две последних фразы выкрикивают резко и энергично.

Толпа *(каждый держит перед собой маленькое изображение святого)*. Святые угодники, молитесь бога о нас! Святой Сульпиций, святой Проппиций, — святой Эварист, святой Эго-

ист,— святой Севастьян, святой Фридолин,— святой Зефирин, святой Веньямин,— Пантелеймон, Наполеон,— святой Дагобер, святой Робеспьер,— святая Республика и святейшая Публика,— святой Король, святой Кайзер, святые Пушки,— святая Мошна и святые Полушки,— святой Елей, святой Разум и святой Бей всех разом,— святой Роман и святой Обман,— святой Антоний и святой Свиноний,— святой Авраам и святой Я сам,— святая Глупость, святая Шлюха и святой Сытое брюхо,— святой Люби меня, а не моих ближних, и все мне давай, а им ни крошки лишней,— ибо ты мой, а не чужой,— и не затем я тебя взял, поил, кормил и опекал,— подбеливал и пыль стирал, чтоб ты соседям помогал! Я тебе, а ты мне, про это есть и в писании — бог тому подаст, кто богу давал заранее... Ты мой святой, мой пес цепной, значит службу свою исполняй, меня храни, а других кусай! — Святые угодники, молитесь бога о нас! Ну! Молись хорошенько, кому говорю! Даром, что ли, я тебе ладан курю!..

Появляются Господь бог, переодетый арабским купцом с переброшенным через плечо ворохом восточных тканей. За ним идет Истина в наряде цыганки, полосатом, как костюм Арлекина; она толкает перед собой детскую колясочку.

Господь бог. А вот божки, божки! Кому божков? Очень хорошие, самые модные, для всех и на все годные! От ожогов и зубной боли, мужского бессилия и детских колик, при покражах, пропажах, и при родах, и для успеха в судебных делах, чтоб не подгорало кушанье и не дымила печь, и чтобы, кого вам надобно, в тюрьму упечь, и даже могут оказать покровительство против дурного правительства! Божки, божки! У кого еще нет, спешите приобрести! Время сейчас, знаете, какое, не мешает на всякий случай боженку иметь под рукою. Есть на все цены и на все вкусы, для дам специально — мяконецкие, надушенные — тончайший букет! — надевать прямо на тело, под корсет. Есть в виде чернильниц, пресспапье, вставок и для галстука вызолоченных булавок... Очень дешево! Семейным уступка! Пять франков пара, три — штука! Товар исключительного изящества... Пожалуйте, пожалуйста, ваше сиятельство! Только для вас согласен отдать за два девяносто пять!

Полишинель. А скажи мне, продавец финтифлюшек, ты, наверно, здорово на этом наживаешься?

Господь бог (*скромно*). Ах, сударь, перебиваюсь кое-как.

Полишинель. И не боишься, что могут у тебя из-за этой торговли выйти неприятности?

Господь бог. А с кем, собственно, позвольте спросить? У меня все документы в исправности. Я человек порядка и почитаю правительство,— все правительства, какие существуют. Мой принцип, сударь, быть всегда в хороших отношениях с теми, кто силен. Кто б они ни были, они прекрасны, они добры, они... сильные! Этим все сказано. Бывает, правда, что они сменяются, но тогда и я меняюсь, одновременно с ними, а иногда и на четверть часа раньше. Нет, меня на этом не подловишь! И я всегда, сударь, всегда с теми, кто держит в руках дубинку.

Полишинель. Ну, куманек, выходит, ты поудачливей меня. Я чаще всего оказываюсь среди тех, кого дубасят.

Господь бог. Что делать, сын мой, у дубинки два конца— так, стало быть, должны быть те и эти.

Полишинель. А что, если б нам поменяться?

Господь бог. Нет, нет. Обязан каждый оставаться на своем посту.

Полишинель. Ну хорошо. Положим. Что ты в ладу с сильными мира сего, раз ты им платишь, это мне понятно. Деньги всё могут. Но вот старик... Он-то как на это смотрит?

Господь бог. Старик? Какой старик?

Полишинель (*указывая на небо*). Ну, тот, что наверху. Отец небесный. Не боишься его гнева? Ты ведь его конкурент, продавец амулетов,— вдруг он возьмет да и прихлопнет тебя за это!

Господь бог начинает смеяться.

Полишинель. Чему смеешься?

Господь бог закашлялся от смеха. Полишинель хлопает его по спине.

Полишинель. Ну будет уже, будет...

Господь бог (*успокоившись, очень вежливо*). Простите, сударь... (*Одну за другой снимает с плеча восточные ткани и весьма бесцеремонно, но по-прежнему с изысканной вежливостью наваливает их на плечи ошеломленного Полишинеля.*) Не откажите в любезности... Сейчас... минутку...

Полишинель. Но... но... позвольте... (*Стоит, ничего не понимая, навьюченный, как осел.*)

Господь бог, освободившись от своей ноши, невозмутимо продолжает разоблачаться— снимает с себя кафтан арабского купца, чалму и прочее.

Полишинель. Что за шутки!

Господь бог предстает теперь в своем традиционном облике— с аккуратно расчесанными и подвитыми длинными кудрями, с холеной бородой, в белом халате до пят, на котором спереди вышито золотое солнце, а сзади луна. Докачивает свой туалет перед зеркалом, которое ему подставляет Истина, потом, загородив рот ладонью, конфиденциально говорит на ухо

Полишинелю

Господь бог. Отец небесный, сударь (*показывая на себя*),— это я.

Полишинель. (*в полном недоумении*). Что, что?

Господь бог (*подмигивая ему*). Господь бог, к вашим услугам.

Полишинель. Что за бес!

Господь бог (*не брезгающий при случае плохим каламбуром*). Не бес, сударь, именно не бес, а с небес. Так сказать из вышних.

Полишинель (*в крайнем смущении, отвечивая поклоны*). Простите, ваша святость... Ради бога... Я было с вами запросто... Худший мой враг— язык!..

Господь бог (*снисходительно*). Неважно, сын мой. Я привык.

Полишинель. Но этот костюм...

Господь бог (*самодовольно*). А что, правда, я был ловко загримирован? (*Указывая на Истину*.) Это вот она ведаёт моим гардеробом. Разрешите... (*Представляя их друг другу*.) Мой сын, Полишинель. Моя... скажем, подруга— Чирридичкилья. (*Полишинелю, заметив, что тот не разобрал имени*.) Иначе сказать— Истина. А кличка ей за то дана, что ласточкой по временам кричит она.

Полишинель (*кланяясь*). Простите, мадемуазель... или мадам... но, судя по платью, я думал, вы мне несколько сродни... Как бы сказать— из арлекинской братии...

Истина. И вы не ошиблись, куманек. Арлекин— мой кузен. Я, как и он, одета в радугу.

Полишинель. Прелестный наряд, и очень вам к лицу. Но смею ли надеяться... Может быть, и мне доведется увидеть вас такой, как, знаете, там, на краю колодца, одетой в... наготу?

Истина. Тссс! (*Показывает на Господа бога, занятого укладкой своих пожитков в колясочку*.) Этого нельзя! Никому. Только ему одному. Он очень ревнив! Когда-то он разыгрывал царя Кандавля, но потом закаялся. С тех пор все драгоценности запирает на ключ. Но если очень захочешь, то, говорят, и через стену перескочишь. Скажу вам, мой кузен, не тратя слов зря: коль нет ключей...

Полишинель ...есть слесаря.

Истина (*указывая на приближающегося Господа бога*). Тише!

Господь бог (*тоном отеческого благоволения, но с подозрительным взглядом*). Ну как, дети мои? Вы что-то очень быстро познакомились...

Полишинель (*трогая рукой платье Истины*). Любуюсь, ваша святость, этой великолепной материей. Какие переливы!

Господь бог. Да, как на горлышке у голубки. Я сам выбирал. Она меняет цвет согласно настроению тех, кто на нее смотрит. Кому какая нужна Истина — розовая, или темная, изумрудная — цвета надежды, или кроваво-красная — такая и будет, как по заказу. Моя задача — потрафить всем сразу.

Полишинель. Любезность, я бы сказал, прямо вон из ряда!

Господь бог. А что поделаешь, сын мой, жить-то надо. Время сейчас трудное, дороговизна... А немцы показали нам, что в коммерции ради верного процента необходимо учитывать вкус клиента. Раньше любили прочный товар, теперь гонятся за дешевкой... Ну, стало быть, подсчитай, примерь, прикинь — и подавай то, чего просят, во веки веков, аминь! Было время, им хватало единого, вечного бога — и я царил незримо в заоблачных чертогах, в жертвенном дыму и в сердце верных... А теперь они хотят богов более себе соразмерных, таких, чтобы глазами увидеть и в руки взять, на язык попробовать и грязной лапой помять... Ну что ж, если золото им не с руки, я разменяюсь на медяки. Станем вести счет богам на дюжины и на миллионы... Вот вам статуи, статуэтки, ладонки, медальоны, идольчики, кумирчики, болванчики, обезьянчики, куколки, безделушки, игрушки, погремушки детские, хотите церковные, хотите светские, изображенья императоров или республики, для угожденья почтеннейшей публике! Купил — все равно что молитву сотворил. И за умеренную плату каждый получит бога по своему формату. Они малы, сын мой, — и с ними мал становлюсь я сам — не палить же из пушек по воробьям... Сердце их в кошельке ютится — ну и я сумею там уместиться!

Толпа (*возобновляет свой заунывный речитатив; преобладают дисканты*). Святой Юлиан, святой Грациан, — Марьян, Мартьян, Стефан, Лукан, — Квирин, Криспин, Квентин, Кретин, — святой Межеумок, святой Остолоп, — святой Якобинец и святой Поп, — Святой Лойола, святая Панама, Святые Ловчиль, иже не имут срама, — вездепролазы и мастаки, теплые местечки и маменькины сынки, — святой Иасон, святой Франкмасон, — Эволюция, Революция, Традиция, Полиция, — святое Распятье и Непорочное зачатье, — святой Закон, святой Трон, — святая Семья, святое Я, — святое Евангелие от Говорилы архангела, — святой Фирс и святой Фарс...

С противоположной стороны оврага доносится такой же тягучий напев, но на другом языке, — приближается другая толпа.

Другая толпа (*преобладают басы*). Санкт Лютер унд Блюхер, — Кёрнер унд Шопенгауэр, — Бебель, Геббель, Гегель,

Геккель,— святой Мах и святой Вермахт,— святой Кант, святой Крупп, Krieg und Kultur,—Hochwürdige hochachtbar hoch Organisation,—святое Евангелие от Бисмарка и Маркса...

Толпа Урлюберлошей появляется на другом краю оврага, прямо напротив толпы Галлипулетов; в этом месте через пропасть перекинут узенький мостик. Подойдя к краю, те и другие останавливаются и начинают перекликаться через овраг, сперва задорно и насмешливо, потом все более дружелюбно.

Обе толпы разом (*общий шум и говор*). А, вон они, с того края... Эй, друзья! Господи!.. Что за рожи! На всех чертей похожи! Урлюберлоши! Рваные калоши! Галлипулеты! Морда-то, морда,—гляди, что бараний курдюк! Эй ты, старый винный бурдюк! Эй, щучье рыло, иди к нам, сварим из тебя уху! Эй, пузан, затяни пояс! Растеряешь свою требуху! А бабеночки ничего,—гляди-ка! Ишь, милашка! Щечки — яблочки наливные, так бы и съел канашку! Да вы куда, старички, собрались? А в горы! Ищем, где повыше! У нас внизу наводнение, может, слышал? И у нас такая же беда. Так пойдем вместе! А что ж, вместе-то веселей! Айда! Оно бы и так да вишь ты, не просто перейти к вам по этому мосту. Два гвоздя да гнилая доска, не мост, а одна тоска! Эх вы, увальни, дураки петы! А у нас будто и рук нету? Коли этот мост негодящий, так построим себе настоящий... Эй, лесорубы, за топоры! Плотники, за пилы! А мы, кто постарше, побережем силы,—сядем вот на пригорочке, да пожуюем сухой корочки! Ты как, дядя? А ты? Да уж когда приглашают перекусить, я не из тех, что заставляют себя просить. Ну-ка, что там у вас в корзинах? Ага, окорок! Колбаса! Буженина! Сосиски, сардельки, бараний бок и с тыквою жареный пирожок! Овечий сыр, хлеба краюха... для освежения глотки забористый чесночок и с белой головкой и зеленым хвостиком молодой лучок... Каштаны печеные, соленые сливы... И белое вино своего разлива. А мы вам пивка, пивка — пожалуйста, просим! — светлого, золотого, как у наших девок косы... А мы вам сидра, что пенится и играет и пробкою в потолок стреляет... Станем есть, пить, жрать, глотать, хлебать — пировать, брат, так уж пировать! Эй, дай-ка мне твоего! А ты мне своего! Лови, вот тебе коврижка! Держи, вот сосиска! (*Перебрасываются едой через овраг.*) Эй, лягушка, шире открой пасть! Ха-ха-ха-ха! Вот ловко-то удалось попасть! Ну, а выпивка — не-ет, брат, это дело тонко — сейчас с кувшином к вам пошлем девчонку! Не балуй, глупая, тут не до игры, это тебе не что-нибудь, а все равно что святые дары!.. (*С обеих сторон по мостику перебегают дети, неся кувшины и фляжки.*) — Эх, хороша! За ваше здоровье! Чокнемся, братцы! Пей дружно! К черту границы! Нам их не нужно! Пусть будет мир — как одно

брюхо с тысячей рук, чтоб еду подносить, и одним сердцем, чтоб всех любить!

Тучные (*переговариваются между собой*). Слышите? Слышите, какой разговор? Не нужно границ! Да ведь это скандал! Позор! Смотрите! Едят из одной миски! Пьют из одного жбана! Какая мерзость! Вот вам идеал этих болванов — одна кормушка, один хлев, одно стадо... Чтоб все было общее... А это очень опасные взгляды! Я, напротив, считаю, что всякому свое, то есть в первую очередь мне — мое, а прочим, там, что останется... Нет, как вам это понравится? Что ни дальше, то хуже... Пляшут! Обнимаются! Мерзость! Разврат! Ведь этак, пожалуй, они и работать не захотят?.. Скажут, например, мне или вам — работайте, мол, сами! Да это что же, позвольте — значит все вверх ногами? Собственности уже не будет? Ничего! Ничего! Ни богатых, ни бедных, ни наций, ни государства! Хотят, чтобы каждый был счастлив... Какое нахальство! Дайте им волю, они и бога и войну постараются отменить. А где же тогда порядочному человеку голову приклонить? Бог создал зло, а также границы, нации, войну и чуму — стало быть, знал для чего и почему! Ведь если хочешь на клумбе вырастить розу, надо сперва подкинуть туда навозу! Зло — это навоз, так сказать, необходимое удобрение, значит, должны быть нищие, голытьба, черный люд — все имеет свое назначение! Бедность — ярмо, ненависть — кнут, чтобы волов заставить лямку свою тянуть. Гей, гей! Право, лево, вперед! Слушай и покоряйся, рабочий скот!

Но вы-то, вы, господа Дипломаты, вы, погонщики волов, куда вы девали свои кнуты? Разве не вам было поручено охранять наше благополучие, поддерживать несправедливость, неравенство, злоупотребления и общее всех народов разъединение? А вы — нечего сказать, нашли себе занятия! — повели этих скотов прямо друг другу в объятья? Разве за это мы вам платили, по головке гладили и по затылку били, и украшали вас орденами, и осыпали вас почестями и плевками? А? Чем вы оправдаете наши затраты? Ну-ка! Ну-ка, господа Дипломаты!

Дипломаты. Позвольте, позвольте, господа Тучные! Не суйтесь в наши дела — они вам несподручные. Ибо Дипломатия — о, это великая тайна! И только нам, посвященным, дано ее знать, а остальным полагается благоговеть и молчать! В одном можете быть уверены: мы ошибаемся только преднамеренно. Вам кажется — все погибло — банкротство, крах! — а это значит, что главная ставка уже у нас в руках. Ха! Жалкие нытики! Тоже вздумали наводить критику! (*Показывают на пирующие народы.*) Эта картина, столь оскорбляющая ваше зрение, это в сущности кульминация нашего гения! Ну, да

ладно, уж так и быть, приоткроем на миг завесу. Когда стало ясно, что в этих свиней словно вселились бесы, что этим ослаб втемяшилось бежать в горы и что обветшалые стены неизбежно рухнут под их напором, мы пустились на хитрость — сделали вид, что все это одобряем. Но не пугайтесь, далеко они не уйдут! Они бы и рады, да мы-то тут — все совершается под нашим надзором, и не сомневайтесь, что очень скоро, по доброй воле, без всякого бойла, они все вернутся в свои стойла!

Тучные. А кто же будет у них за погонщика?

Дипломаты. Да все мы же. Конечно, без нас эта орда разбежалась бы кто куда, но с помощью нашей высокой науки мы изловчимся окоротить им руки и всех подведем к одному порогу, где перекрещиваются все дороги.

Тучные. Для чего? Чтобы они обнялись и расцеловались?

Дипломаты. О маловерные! Нет, чтобы они передрались!

Тучные. Да как же их заставить?

Дипломаты. А вот увидите. Будет очень занятно. Вы уж предоставьте это нам и нашим собратьям — дипломатам из того лагеря.

Тучные. Значит, вы с ними в сговоре?

Дипломаты. А как же иначе? Это ведь наши партнеры. Дипломатия — это шахматная игра. А в шахматах зачастую приходится жертвовать пешкой. Вон они пешки-то (*показывает на пирующий народ*) — только взять и на доске расставить!

Хор. О достохвальная Дипломатия, о ангел, с неба в нашу юдоль ниспосланный, развеивающий мирной жизни скуку, уничтожающий все иные доуки — например, любовь и счастье (ибо они слишком банальны), переиначивающий все законы природы (ибо они лишь для скотов пригодны), разлучающий всех, кто друг другу милы, соединяющий тех, что охотно друг друга бы задавили! О великая мастерица отыскивать иголку в стоге сена (а если ее там нет, так можно подсунуть — подложил же Иосиф золотой сосуд Венъямину в сумку)! О преславная фокусница, чьей ловкости рук мы обязаны тем, что, вставая утром, не знаем, в какой узел к вечеру будем завязаны! Ты, нам открывшая прелести войн и народных бедствий и благодетельность вражеских нашествий — жену мою изнасилуют, поле мое вытопчут и кишки мне выпустят (ну, а я зато выпущу другому!), ты, посвятившая нас в утонченные наслаждения алчности, зависти и вождельня! (О, как приятно чужое отнять, а еще лучше совсем уничтожить — первое, конечно, весьма естественно, но

второе почти божественно!) О ткачиха многоискусная, ты умеешь, разматывая нить, столько петель напетлять и узелков навить, что уж и во веки веков не распутать! И никому еще до сей поры не удавалось подглядеть тайны твоей игры, когда над зеленым сукном в шулерском азарте мечешь ты нас, как крапленые карты,— наши деньги и души, жизнь, кровь и мясо с костей, и наше именье, и наших детей! А уж когда нас исколотили, в ступке перетолкли и измолотили, ты нам подносишь в сто пунктов трактат— пресимпатичнейший маленький пакт,— где точно указано в заключенье, сколько с нас следует за все эти развлечения. А мы говорим: «Мерси! Мерси! Не стесняйся, еще проси!» и тотчас лезем к себе в карманы, ибо, как известно, любит карась, чтоб жарили его в сметане. А я карась— и тем горжусь! Лишь помани— сам в рот ложусь! О Дипломатия богоравная! Чем была б наша жизнь без тебя, преславная! Выпивка без похмеля... Без зависти веселье... Яблоко без червя... Летний день без дождя... То есть просто пошлятина, скука и преснятина!

Полишинель. А что это там собрались за франты в эполетах и аксельбантах? Шепчутся, усами помавают, словно бы что-то затевают... Ни дать ни взять— навозные жуки вокруг кочки.

Господь бог. Они подают мне знаки... Надо пойти подсобить моим верным сынам. Ибо сказано: «На господа уповайте!» Хотя, между прочим, и сами не зевайте! (*Обращаясь к окружающим.*) Простите... Меня вызывают по делу... (*Истине.*) Нет, ты останься. Пока ты нам не нужна. Когда все будет кончено, тебе скажут. (*Полишинелю.*) Сын мой, оставляю ее на твоё попечение... Не злоупотребляй моим доверием! Я вернусь за ней. (*Уходит маленькими шажками, тряся животом. Возвращается.*) Главное, уважай ее. Ставь над собой высоко! (*Готовясь уйти.*) Храни ее!

Полишинель (*подмигивая*). Как зеницу ока!

Господь бог уходит.

Истина (*настороженно следившая за ним*). Ушел, что ли? (*Кидается на шею Полишинелю.*) Гоп-ля! Ну, похищай меня!

Полишинель. Что? Что?

Истина. Похищай меня, ну! Живо, живо! Бежим!

Полишинель. Да как!.. Да что!.. Да куда это годится!.. Да ты подумай— старик-то как разозлится!

Истина (*топает ногами*). Довольно с меня этих стариков! Королей, дипломатов, попов! Министров, журналистов, мыслителей, искателей, гробокопателей, банкиров, кумиров и вообще всякой старой рухляди! Не хочу, не хочу больше им

служить! Не могу, не могу больше душой кривить! Хочу жить, петь, плясать, бегать, хохотать! О мой кузен некрасивый, горбатый, колченогий и конопатый, но честный, хоть и шальной, я буду любить тебя всей душой! Только спаси меня! Они же сейчас придут, они же опять меня запрут, они же мне рот заткнут и пояс целомудрия на меня наденут! Похить меня! Мы станем с тобой по дорогам скитаться, радоваться и смеяться, правду всем говорить, гордецов дразнить, узников освобождать, на закованных цепи рвать, зажмуренным глаза разлеплять и в их закоптелых мозгах искру света воспламенить! Мы будем свергать алтари и троны и уничтожать несправедные законы, и сквозь разодранную завесу тьмы звездный праздник увидим мы!

Полишинель. Легче, легче!.. Кузиночка, это все очень хорошо и прекрасно... Но боюсь, что этак мы заночуем в полицейском участке!

Истина. И это пугает Полишинеля? Да мы же будем вместе, в одной постели! Поли мой, Пулэ, Полишиненочек! Дружочек мой, голубеночек! Ты только помни: что бы ни случилось, где б мы с тобой ни очутились,—в участке, в застенке, на гильотине,—клянусь, я тебя никогда не покину! Мы любим друг друга—ведь так? А прочее все пустяк!

Полишинель. Простите, простите, но для меня это совсем не пустяки!

Истина. Да мы же будем вместе! Вдвоем! Понимаешь? С тобой я хоть на костер!

Полишинель. На костер! Ух ты! Конечно, вдвоем... Но все-таки... Фу, даже в пот бросило, как от припарки... Нет, знаете, пусть уж лучше я буду один, но где-нибудь, где не так жарко!

Истина. Малодушный! Заячье сердце! Трус! Ты словно школьник—чуть что и уже ай, ай, боюсь! Да и все-то вы на словах герои, а на деле бараны, любители показывать кукиш в кармане! Как и твои предки, великие Полишинели, мастера иронии и сарказма, от Вольтера и до Эразма, вы больше всего цените свой теплый халат и ночной колпак и смеяться дерзаете только себе в кулак! Хороши, нечего сказать, у меня любовники! Я их любила, я их освободила, но меня самое они оставляют в плену... Нет, вы не любите Истину, нет, вы любите только себя, для себя только ищете правды, а не для всех,—нет, ты лисица, но ты не лев, о смех! Так смейтесь же, остряки, вашей карою будет то, что ложь вы, пожалуй, поймаете в свои сети, но Истину—ни за что на свете! Раз вы боитесь на люди показаться со мной, то и я не буду для вас

верной женой, той, что днем стоит рядом, у твоего плеча, а ночью склоняется над изголовьем. Вы останетесь одни, в пустоте, в темноте — одни со своими смешками и усмешечками. И станете тогда меня звать, но я не откликнусь, ибо рот у меня будет зажат. Ах, да когда же он придет, великий Смех Победитель, и воскресит меня своим рыканьем!

Господь бог *(издали)*. Эй, Истина! Иди, уже пора! Время тебе одеваться!

Истина яростно закутывается в свой цыганский плащ.

Истина *(Полишинелю)*. Больше ты от меня не услышишь ни слова! *(Убегает.)*

Полишинель. Ну и прекрасно! Вот не было мороки! Заладила свое — тарантит, как сорока. Кузиночка, бесспорно, очень мила, но темперамент! Прямо вулканический! Нет, с ней связываться это было бы худшее из безумий — представляете, у вас в постели да этакий Везувий! А мне-то говорили, что Истина величава, важна, добродетельна и скромна, благоразумна, благовоспитанна и несколько ограничена... Вот и верь после этого брачным объявлениям! Куда там! Бешеная коза! А видали, какие у нее глаза? Так и прыщвет из них огонь! Сожжет, испепелит, только ее тронь! А попробуйте с этакой под руку прогуляться — да ведь все будут пальцами на вас показывать и смеяться... Нет, знаете ли, Истина, — это, конечно, возвышенно и благородно, но в семейном быту миленькая маленькая ложь гораздо удобней! Так что вот, господа, давайте уж лучше лгать и мыслишками куцыми как мячиками играть! Стой! Это что? Отдай! *(Вырывает у проходящей мимо женщины какой-то предмет, который та, нагнувшись, подняла с земли.)* Цветок граната из черных ее кос, еще хранящий аромат дразнящий буйных ее волос... Никому не отдам! Это мое! Буду его нюхать, жевать, целовать и у сердца держать, пока жизни моей не придет конец... О, борде мой... Я трус! Я подлец!

Рабочие *(работают и поют. Быстрый, пляшущий напев)*.

Ах, Иосиф, ты заплакал *(дважды)*,
И, быть может, не впервые,
Как узнал ты, что брюхата
Непорочная Мария...

Ритурнель на маленькой флейте

Ах, Иосиф, ты заплакал... *(дважды)*

Рабочие *(на другой стороне оврага, работают и поют. Медленный темп)*.

За селом, где ивушка над ручьем склоняется,
Вечерком соловушка поет, разливается...

Говорит он девице: «Ты поплачь, болезная,
Разлучили горькую, да с ее любезными...»

Обе партии рабочих поют одновременно.

За селом, где ивушка над ручьем склоняется...

Ах, Иосиф, ты поплакал... Ах, Иосиф ты поплакал...

Вечерком соловушка поет, разливается...

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Великий дервиш *(обращаясь к Господу богу)*. Каковы наглецы! Дерзают оскорблять вашу святость своими дурацкими шутками!

Господь бог *(снисходительно)*. Ничего, сын мой, ведь этим они не хотят меня унижить, а только к себе приблизить. И если, чтоб стать их ближним, надо носить рога, ну что ж—бог Апис являлся же в образе быка!

С обеих сторон к оврагу подходят рабочие с досками для моста и начинают их укладывать.

Рабочие *(поют)*.

За селом, где ивушка над ручьем склоняется...

Эх-ма! Ку-ку! Эх-ма! Ку-ку!

(Говорят.) Эх-ма! Эх-ма! Вот и готово! Получайте мостик—крепкий и новый! Чисто, гладко, как на паркете, лучшего моста не видано на свете! Хочешь—гуляй, хочешь—пляши, досточки кленовые, эх, хороши! Ну, вы, там, лодыри, нечего зевать, помогите клинышек вот сюда вогнать!

Дипломаты *(с обеих сторон оврага)*. Остановитесь, несчастные! Стой! Стой! Что вы делаете? Помилуйте, господа! Что это вы здесь строите?

Рабочие. Что строим? Вот тебе и раз! А у тебя нету, что ли, глаз? Ну, нацепи еще вторые стекла, авось увидишь! Это же надо вовсе ума не иметь, чтобы не разглядеть, что мы тут строим... *(поют: «Эх-ма! Ку-ку! Эх-ма! Ку-ку!»)*... что мы тут строим мост!

Дипломаты *(вздвывая руки к небу)*. Мост! Мост! Подумайте, они тут строят мост!

Рабочие *(передразнивая их)*. Да, мост! Мост! Мост! Уж больно, брат, ты прост! Хотя, видать, прохвост! Мост! Мост!

Дипломаты. Мост! Ну, а зачем, зачем? Зачем вам мост, скажите на милость?

Рабочие. Зачем? А чтоб могли мы перейти туда! И мы, и вы, почтенные господа! Что, верно я говорю? Эх-ма! Эх-ма!

Хрю-хрю! (*Хлопают Дипломатов по животу, подражая свиному хрюканью.*)

Дипломаты. Да кто позволил? Кто дал разрешение?

Рабочие. На что? Смотреть глазами и ходить ногами? Кто дал? А мы себе сами! И ежели, например, мне хочется в нужник, так я иду и делаю, что мне нужно!

Дипломаты (*официальным тоном*). Без разрешения? Простите, в таком случае это преступление! В правильном государстве, если что-нибудь не разрешено, то, значит, оно строго запрещено. На все требуется мандат, подпись, марка и соответствующая печать. Да и чем отличались бы мы от скотов, если б не было у нас мандатов и паспортов? Итак, прежде всего запишем: при постройке моста, упомянутого выше, были ли соблюдены все правила, пункты и нормы, законы, фасоны и установленные формы?

Один из рабочих. Начхать я хотел на нормы! А что до фасонов и правил, так мы их сейчас подправим! Гоп! (*С размаху садится на цилиндр одного из Дипломатов.*)

Другие рабочие. Нет, нет, брат, этак не годится! Не может же человек, как свинья, есть, спать, жениться, плясать и околевать и никаких норм — или как их там — форм — над собою не признавать! Сказано тебе, что эти формы — или как их там — нормы — это же и есть та скукота, что отличает человека от скота!

Дипломаты. Итак, прежде всего, как только будет закончена стройка, надо на каждом конце установить турникет и объявить, что по мосту прохода нет. Там же поставить еще часового, а то и двух, если можно, и несколько чиновников из таможни. Развесить плакаты и объявленья: штрафы и запрещения, обязательные постановления, взысканья за нарушения, а также права и привилегии, утверждаемые особой коллегией. Вот видите, так уже гораздо лучше — есть стройность, порядок, умиротворяющая рутина — один со вкусом положенный штрих, а меняется вся картина! Да! Прибавим еще четырех докторов делать прививки тем, кто вполне здоров, то есть без исключения всем проходим, — против холеры, чумы, лишаев и рожи, бешенства, инфлюэнцы, чохотки, гриппа, сифилиса, парши и чесотки. А также, в качестве целителей вашей духовной природы, четырнадцать представителей от военной цензуры, чтобы ваши писания перлюстрировать, обезвреживать и дезинфицировать, все вредоносное оперировать, в списки особые заносить и нам немедленно доносить. Но это еще не все! Надо испытать в заключенье, насколько прочно это сооруженье и годится ли оно для того... для того... ну, одним словом, для того, для чего оно предназначено.

Рабочие. Насколько прочен мост? Наш мост! Да по нему пройдут в один ряд трое мужчин, четыре женщины и пятеро ребят.

Дипломаты. Кому нужны ваши женщины или мужчины! Раз это мост, то по нему прежде всего надо провезти пушки.

Рабочие. Зачем? Стрелять в куропаток? Или кабанов выгонять из леса?

Дипломаты (*сухо*). Так. Ни за чем. Просто для интереса.

Тучные (*авторитетно*). Так всегда делалось.

Тощие (*покорно*). Значит, надо делать и дальше.

Дипломаты. Это еще не все. Прежде чем открыть движение, необходимо от имени нации и правительства, чиновников, сановников, церковников, епископов и прелатов, прокуроров и прокуратов, академиков и ученых, и котов холощенных устроить без промедления на этом мосту словопрение!

Рабочие. Зачем? Чтоб этакой тяжестью его провалить?

Дипломаты. Зачем? Чтобы поговорить. В этом величие человека. Говорить — и ничего не делать. Говорить — и ничего не сказать, а главное — если кто другой дело делает, то ему помешать.

Тучные (*властно*). Да, нам необходимо величие! Эй вы! Постройте-ка нам трибуну!

Тощие (*покорно*). Ну, что ж, устроим им здесь насесты. Для словоблудия отведем им место. (*Сооружают трибуну у входа на мост.*)

Рабочий. Да по мне пусть болтают... Ну, а слушать их — это уж извините! Я занят, у меня дела. Эй вы, ну-ка там, пропустите!

Дипломаты. Назад! Проход запрещен, пока не будет сей мост торжественно освящен!

Рабочие. И долго же нам ждать?

Дипломаты. Сколько полагается.

Тощие (*покорно*). Ну, ничего. Когда-нибудь все кончается.

Полоний (*поднимается на трибуну*). Любезные сограждане и братья — братья с той стороны и с этой, а может быть, и с третьей (третьей-то, собственно говоря, нету, но это не относится к данному предмету) — словом, повторяю, сограждане и братья, наша задача — все человечество объединить и всех людей как бы в единое тело совокупить... Мужчин, женщин... (*Общий хохот.*) Клянусь честью!.. Итак, я прибыл благословить этот желанный союз — желанный, конечно, в будущем... А будущее это не завтра и не на той неделе... Вот почему мысль об этой высокой цели для нас всех столь

пленительна, приятна, удобна и не стеснительна... Прекрасная тема для тостов и банкетов. Уж поверьте, я разбираюсь в этом! Я сам делегат Мирного съезда. *(Рекомендуется.)* Полоний Модест-Наполеон (имя Наполеон дали мне при крещении, а Модест прибавили, чтоб не повергать слабых духом в смущение... А так вообще я человек очень простой — добряк, говоря между нами...) Как видите, награжден многими орденами. *(Показывает.)* Вот орден Камчатки, вот Занзибара, Каттегата, Карачи, Гауризанкара... *(Поворачивается спиной.)* Тут тоже есть кое-какие отличья... Но полностью их показателю не дозволяют приличья... *(Опять поворачивается лицом; самодовольно.)* Клянусь честью! Это меня, кстати, ни к чему не обязывает... От слова, как говорят, не станется... Итак, друзья мои и братья, — то есть те, кто будет мне братом завтра, или полслезавтра, или несколько позже, — я прибыл сюда, дабы приветствовать сей мост, сей длинный мост, сей пышный мост, сей мощный мост...

Все. Мо-мо-мо-мост!

Полоний. Сей мост единения и любви, который с берега на берег простирается и в небо, как радуга, упирается! Трогательный символ того дня, что еще не пришел (но он придет, только, боже упаси, не надо его торопить!), — того великого дня, когда все государства разоружатся, стены между нациями сокрушатся и народы все без изъятия кинутся друг другу в объятия, когда хищный волк и кроткая овечка будут травку щипать на лугу у речки и, расточая взаимно ласки, делать друг другу глазки, когда рабочий в любой день недели будет до полдня нежиться в постели, а банкиры и биржевики разделят с ним свой винный погреб и свои пуховики, когда будут сданы в музеи пушки и фузеи, а заодно и правители, тайных договоров составители, когда разоблачены будут дипломатические враки и окончательно засвистят все раки... Этот день безусловно настанет, только сейчас еще немножко рано... И мы не имеем никакого намерения вас лишать прежде времени войн, нищеты, аферистов, дельцов и разнокалиберных подлецов. Ничего не поделаешь, — спорь или не спорь, а в детстве приходится переносить корь! Так что станем этого вожделенного дня дожидаться, а тем временем в сыпи ходить и чесаться... Значит, такой уж искус человеку дан!

Осел. И-ан! И-ан!

Полоний. Итак, друзья мои, в нашу счастливую эпоху вам, как кролику, остается только избрать, под каким соусом вас на стол подать. Где вы предпочитаете окочуриться — на земле, под землей, в воздухе или в воде? (Мне лично вода всегда казалась отвратной, легкое вино, по-моему, гораздо

приятнее.) Хотите ли вы получить пулю в живот — круглую или заостренную, черную или золоченую, — а может быть, шрапнель, чемодан, осколок или, наконец, добрый удар штыком, который и по прошлым войнам вам уже хорошо знаком? Желаете, чтобы вас, как клопа, раздавили или, как курицу, распотрошили, зажарили или сварили, сделали из вас котлетку или биток или пропустили сквозь вас электрический ток? Это считается особенно шикарным... Мы для вашего блага устраним лишь то, что признано чересчур вульгарным, грубым, необразованным, варварским и нецивилизованным, как, например, подводные лодки и вонючие газы, а на все прочее без отказа принимаем любые заказы, ибо мы войну без усталости совершенствуем и полируем, под орех разделяем и лакируем, памятуя, что она-то и есть то незыблемое основание, на котором воздвиглось цивилизации мощное здание! В самом деле, не будь войны, так и мир не имел бы цены! И не война ли помогла нам создать *in saecula per rosula*¹ Лигу Наций? Заметьте, как все это связано! Не будь наций, не было б Лиги Наций. Не будь наций, не было бы войны. Не будь войны, не было бы наций. Откуда ясно, что все и сейчас прекрасно, а будет еще лучше. Положитесь на нас! Уж мы сумеем так все перемешать — черное и белое, право и насилие, мир и войну, — мы вам сварганим такие воинственные миры и мироносные войны, и так приукрасим лицо Природы, что в этой трясине никто уж не найдет брода!

Толпа. Браво! Ура! Блестяще! Великолепно! Ишь, Полоний-то нащ, Полончик, Напончик, симпомпончик! В глотке у него столько слов напихано, что, глядите, даже раздулась, как у солдата ранец!

Полоний хочет продолжать, но голос его заглушается криками толпы и грохотом подъезжающих грузовиков.

Полишинель. Да что за шум? Ничего не слышно! Что это везут?

Тучные. Как — что? Пушки! Эй, Полоний, слазь! Довольно распевать! Теперь уж пора плясать!

Действительно, еще пока он говорил, на край оврага, с той и с другой стороны, подкатили орудия, разукрашенные лентами и цветами и замаскированные зелеными ветками.

Торговцы. Винтовки, дротики, арбалеты, стальные сливы, изюм, конфеты, гранаты и апельсины, жевательная резина, шоколад, мармелад, иприт, динамит, оршад...

¹ «Приобщимся к вечности через бокал вина» (*лат.*) — начало старинной немецкой студенческой песни.

Голос (с той стороны оврага). Давай сюда!

Торговцы. Извольте, сударь, извольте! (Перебрасывают через овраг двойную веревку и с помощью блоков переправляют на ту сторону тюки и бочонки в обмен на звонкую монету.)

Полишинель. А говорили, что сообщенье закрыто!

Торговцы. Для людей, сударь, для людей. А золоту везде дорога. Золоту не нужны мосты. Недаром у Меркурия на ногах крылышки!

Тучные (рабочим, показывая на стоящих по ту сторону оврага). Смотрите, какой ужас! Они вооружены до зубов. Пушки, катапульты направлены прямо на нас, готовые выплюнуть хоть сейчас сухой порох и промасленные канаты! Алебарды, мушкеты над головой подняты, копий, пик целый лес... О боже! Прямо подирает мороз по коже... готовьтесь! Ведь это они с нами воевать собираются!

Рабочий. Да нет же, старый дурак! Это они так, забавляются... И у нас есть такие игрушки.

Тучные. Но у них больше... Винтовки, пушки... Считайте сами! У них семьдесят одно ружье! А у нас всего семьдесят!

Рабочие. Зато у нас двадцать семь баллист, а у них двадцать шесть.

Тучные. Молчать! Задержать! Арестовать! Он выдает тайны обороны!

Рабочие. Да против кого нам обороняться? Они такие же рабочие, как и мы... Чего ж их бояться?

Тучные. О нечестивец! Ужели настолько забыл ты стыд, что ненависть к врагам в сердце твоём не кипит?

Рабочие. Да нет, понимаешь ли, не кипит, уж с тем и возьми! Вот и к тебе, например, нет у меня ненависти, как нет и любви!

Тучные. О люди без родины! Иль вы неграмотны? Иль не читали, что сказано: «Наши враги—это те мастера по части разбоя и грабительства, которые не у нас, а в чужой стране имеют жительство!»

Рабочие. Ну, а те, что у нас?

Тучные. Это другое дело. Им дано разрешение. И у меня на охоту выправлено удостоверение.

Рабочие. А какая мне разница—свой меня будет стричь или чужой?

Тучные. Очень большая.

Рабочие. Ну, да, для тебя.

Тучные. А вам, видно, очень хочется, чтоб вас стригли и тут и там? Подумай, разве не лучше, чтоб тебя обставили по-родственному, в семейном кругу, и для приличия тебе оставили хоть штаны на твоём задку? Или ты будешь очень

рад, если и штаны твои украсят иностранный зад? Тебе, конечно, полагается быть ошципанным, это правильно, таков закон, но и закон не требует, чтобы гусь каждый был ошципан дважды. Мы в данном случае защищаем твои права. Ведь ты и так еле жив и кормишься едва-едва!.. А еще зовешь к себе таких же голодных! Да они же всё заберут! Они всё сожрут! На этой дороге, посмотри, и так тесно. А если еще те притопают, куда ты сам денешься, интересно!

Тощие. А что ж, и правильно! И очень даже верно! И живется-то нам довольно скверно! И напихано вас тут, как сельдей в бочке,— впритир, впритык! Так куда ж еще втиснут-ся эти киты?

Рабочие. Вот чепуха! Земля велика. И дорог, слава богу, на свете много. А не хватит, так мы еще построим.

Тучные. Нет, нет, дорога есть только одна — вот именно эта, наша. Только она ведет прямо к цели. И кто добежит раньше всех, того и будет верх. Все ему одному достанется, все он заберет, а другим останется почесывать себе живот. Мы вас предупреждали, да, видно, все без толку, а вот тогда попробуйте вырвать кость у волка!

Тощие. И правда, что они хуже волков! Обжоры! Жадины! Ненасытные! В самом деле, как этаких к себе пускать! Они наши поля, как саранча, опустошат! Они нас живьем проглотят! Эй, что это? Смотрите! Сюда идут! Караул! Спасите! Они сейчас нападут! О, кровожадные звери! К оружию! Загородите мост! Запирайте двери! Тащите пушки!

Урлюберлоши (*на той стороне оврага*). Чего это они? Что у них там за происшествие? Ай, батюшки!.. Пушки!.. Да это война! Нашествие!

Тучные. А? Что мы вам говорили? Пока вы тут нюнили и ловили блох, они все подготовили, чтоб вас захватить врасплох!

Тощие галлипулеты. Тупые скоты!

Тощие урлюберлоши. Сукины коты!

Тощие галлипулеты. Жирные бахвалы!

Тощие урлюберлоши. Пьяные нахалы!

Несколько рабочих. Вы все дураки, каких мало. Давайте объяснимся!

Тучные. Никаких объяснений! Они на десять дней раньше нас провели мобилизацию!

Рабочие (*с той стороны оврага*). Товарищи! Разоружимся!

Тощие галлипулеты. Бросай оружие, кровопийца!

Тощие урлюберлоши. Сам сперва брось, убийца!

Тощие галлипулеты. Сначала ты!

Тощие урлюберлоши. Нет, ты!

Все вместе. Нашли себе дурачков!

Полишинель (*хохочет*). О, идиоты!

Тучные. С их стороны это просто хитрости, чтобы потом напасть на вас, безоружных!

Тощие галлипулеты. Э, нет, брат, не надуешь! Шито белыми нитками! За версту видать! Слава богу, мы не слепые!

Тощие урлюберлоши. Не подходи!

Тощие галлипулеты. Назад!

Тощие урлюберлоши. Нос тебе откушу!

Тощие галлипулеты. Брюхо распотрошу!

Господь бог (*еще раньше, чем он появляется, в толпе слышен его голос*). Позвольте! Позвольте! Как же без меня? Где пушки, там и я! Простите, дети мои, простите! Это я, Господь бог! Пропустите! (*Прокладывает себе дорогу в толпе, которая раздается перед ним.*)

Толпа галлипулетов. Это Господь бог! Бог сошел к нам! Господь у нас! Господь за нас!

Толпа расступилась, и видно, как в середине шествует Господь бог в галлипулетском мундире, в нашивках и эполетах поверх белого халата, что придает ему сходство с сапером. За ним несут носилки, на которых утверждён трон; на троне сидит Истина. Носилки окружены свитой из дервишей и Самых Тучных. На Истине тяжёлая, стоящая колом золоченая риза, закрывающая ей плечи и руки. Голова Истины клонится долу под тяжестью массивной тиары; рот, нос и подбородок окутаны блестящей металлической вуалью, как у арабских женщин,— видны только глаза. Самые Тучные с благоговейной почтительностью поддерживают подол ее длинной византийской мантии и прикрепленные к нему золотые и серебряные шнуры. Отряд телохранителей, состоящий из носильщиков, журналистов и дипломатов, тесно окружает носилки, никого не допуская близко и разгоняя зевак.

Господь бог. К вашим услугам, друзья, прибыл в ваше распоряжение,—я сам, и мои домочадцы, и слуги, и моя верная подруга, Истина (*раскланивается на все стороны*), ваша царица и ваша покорная раба. Я ваш бог,— стало быть, должен вам повиноваться. И ей же богу, у вас все так мило,— и сами вы симпатичные, и кормежка вполне приличная, ну, значит, и дело ваше правое, а остальное все от лукавого. Вы, правда, любите подтрунить надо мной, но я не враг остроумной шутки. Так что смейтесь себе и шутите, только по счетам платите, а это вы сделаете поздно или рано, ибо нрав у вас смиренный, как у баранов. Одним словом, у нас нет причин для ссоры, мы с вами дружны, как воры, и если представляется случай чужое взять, так надо рукава засучивать, да и хватать. Но необходимо идеализировать свои поступки,— таков обычай—от этого еще слаще становится добыча... Итак, внимание! Я начинаю. Ваша собственность, друзья мои, священна (*чужая тоже, когда она станет вашей*), ибо с вами Истина (вот

она — как видите, носит вуаль, дабы не испортить свой цвет лица) — а раз Истина на вашей стороне, то, значит, и Право, Сила и Власть, Свобода и Деньги, и все Добродетели (эти осмотрительные девицы не стали бы с гольшом водиться), Капитал, Идеал, Дух, витающий в небе, и руки, загребающие все себе на потребу, — одним словом, вам и никому более на всю Культуру дана монополия. Все в вас свято от головы до пяток, и сами вы святы, а кто на вас нападет, те вовек прокляты, уничтожайте их смело, этим вы совершите богоугодное дело. В данном же случае не подлежит сомнению, что вы стали жертвой коварного нападения, у Истины есть доказательства в закрытом пакете, но мы обещали их пока что держать в секрете. Да и не к чему их обсуждать — только ронять свое достоинство! Козыри-то в этой игре вы уже заранее к рукам прибрали, стало быть ясно, что не вы, а на вас напали. Так нападайте же сами, чего дожидаться, раз это для того, чтобы защищаться! — больше того, защищать Справедливость, Добродетель и самого бога, которого вы, ей-богу, представляете на земле куда лучше, чем мы сами! — Так убивайте, вам говорят, убивайте! Это же война! Правда, где-то в моих книгах написано: «Не убий!» и «Люби ближнего», — но ведь если враг, то, значит, уже не ближний. А защищаться не значит убивать. Ну, в общем мы с вами столкуемся. Мои помощники всё объяснят, чтобы вам зря не терзаться. А теперь — ура! ура! — идем драться!

Один из тощих. Но почему, господи, Истина-то молчит?

Господь бог. Ах, сын мой, она так боится простуды! У нее катар горла и, кроме того, разболелись зубы. Но если хочешь, спроси кого-нибудь из этих господ журналистов из ее свиты — они-то ее во всяких видали видах — они с ней... хе! хе! в интимнейших отношениях!..

Истина вдруг поднимается во весь рост. Яростным движением она сбрасывает свою мантию, которая падает на спинку трона. Истина видна теперь вся, смуглая, полунагая, с руками, скрученными за спиной, со связанными ногами. Вуаль, окутывавшая ее рот и подбородок, тоже свалилась, открывая драматический лик гитаны. Во рту у нее кляп. Она неподвижна, но чувствуется в ней дикая сила, готовая разорвать связывающие ее путы. В ее свите смятение

Господь бог (*торопливо*). Закройте! Спрячьте! Скорей! Скорей! (*К толпе.*) Дети мои! Не смотрите! Опустите глаза! Опустите! Кто увидит Истину нагой, тот, если мужчина, будет обманут своей женой, а если девушка, навек немеет... Направо кругом! Голову вниз! Пусть никто оборачиваться не смеет!

Все по команде делают полуоборот и стоят спиной к Истине или закрывают лицо руками. И как водится, там и сям девушка или проказливый паренек стараются подглядеть сквозь пальцы. Носилки опускают на землю, и телохранители, нажимая на обнаженные смуглые плечи Истины, заставляют ее снова сесть.

Господь бог (*подходя, вполголоса*). Бесстыдница! (*Телохрани-телям.*) Уж на этот раз привяжите ее покрепче! (*Истине.*) Неблагодарная! Тебе не нравятся твои золотые узы?

Истину со всяческими знаками почтения накрепко приторачивают к спинке трона. На плечи ей снова торжественно возлагают золотую ризу, после чего носильщики, журналисты и прочие делают три шага назад, преклоняют колени, простираются лиц перед золоченым идолом и снова занимают свои места вокруг поднятых носилок. Вся эта церемония совершается в полном молчании. Толпа стоит неподвижно, словно оцепенев.

Господь бог. Берегись! Ну, теперь, дети мои, смотрите!..

Все оборачиваются.

Толпа (*охвачена восторгом, все машут шапками, платками, пальмовыми ветвями и зонтиками*). Да здравствует Истина!

Медленно и торжественно перед толпой дефилирует кортеж Истины. Полишинель, о котором все забыли, взгромоздился тем временем на вершину острой скалы и оттуда наблюдает эту сцену молча, но не без кривляний. Вдруг он раздражается неистовым смехом на высоких нотах, покрывающим гомон толпы. Все глаза обращаются к нему.

Он хохочет так заразительно, что мало-помалу вся толпа, еще не понимая, в чем дело, тоже начинает смеяться: через минуту она уже хохочет гомерическим смехом, который все заглушает.

Господь бог (*в сердцах, грозя Полишинелю кулаком*). Проклятый горбун! Испортил мне весь парад... (*Спохватившись.*) Благословляю тебя, сын мой! Благословляю... (*Благословляет его.*)

Полишинель (*Истине*). Будь покойна, кузиночка! На тебя надели намордник, тебе заткнули рот, но и сквозь повязку я слышу твои крики, сквозь покрывало я вижу, как ты в клочья рвешь кляп зубами! Они заковали тебя в цепи, но они боятся своей пленницы, и молчание твое звучит громче, чем все их пышные слова! Будем смеяться, кузиночка! Будем смеяться! Мы еще им покажем!

Процессия направляется к мосту.

Народ. Куда вы? Они уходят!.. Остановитесь!..

Господь бог. Пропустите! Посторонитесь!

Полишинель. Ты покидаешь нас? Уходишь?

Господь бог. Да не смущается сердце ваше, возлюбленные мои чада! В качестве вашего бога я должен первый перейти по этому мосту! Не мешайте мне! Прежде чем открывать военные действия, я попробую применить меры нравственного воздействия. Я намылю голову этим нечестивцам, я ослеплю их светом Законности и Свободы, и на это подобие древнего Содома я обрушу мои испепеляющие громы!

Позвольте же пройти, нуте! Не тревожьтесь! Это дело одной минуты!

Головная часть процессии вступает на мост. Хвост ее—журналисты и дипломаты—остаётся на этой стороне.

Караул урлюберлошей. Прохода нет! Wer da?¹

Господь бог. Herr Gott². Вот мой паспорт.

Караульные. Der alte Gott!³ А! Паспорт в порядке!

Пропустите нашего старого бога!

Господь бог. Мой первый камергер, сюда!

Полишинель (со своего наблюдательного поста). Что это он делает? Опять раздевается!..

Господь бог с помощью своих камергеров проворно снимает галлипулетский мундир и облачается в военную форму Урлюберлошей; надевает на голову тюрбан. Навстречу ему выходит процессия из урлюберлошских вельмож и сановников в таких же тюрбанах.

Караул урлюберлошей (возвещает). Его величество Великий хан—хан Вилли-хан—всем ханам хан!

Господь бог спешит навстречу Великому хану Урлюберлошей. Они обнимаются.

Господь бог и Великий хан. Мой сын... Мой брат..
Мой дядя... Мой кузен... Мой кум...

После многочисленных приветствий они обмениваются тюрбанами и снова обнимаются смеясь. Затем Господь бог подводит Великого хана к Истине, которая по-прежнему сидит привязанная к своему трону; носилки опущены наземь, и вокруг них стоят уже другие носильщики. Великий хан склоняется перед ней в глубоком поклоне, потом оборачивается к Господу богу и что-то вполголоса говорит ему, указывая глазами то на небо, то на Истину. Господь бог, храня на устах обычную свою величавую и благодушную улыбку, утвердительно кивает. Затем обращается к новому эскорту Истины.

Господь бог. Да, свет слишком ярок... Наложите ей на глаза повязку. Так лучше для зрения.

Истине завязывают глаза. Для верности ей, кроме того, надевают другую вуаль—густую и черную. В таком виде она похожа на осужденную преступницу, которую везут на эшафот. Закончив это дело, оба властелина удаляются рука об руку; за ними следует Истина на своих носилках и ее свита, окруженная со всех сторон караулом из урлюберлошских солдат, марширующих в темпе церемониального марша. Соответствующая музыка.

Толпа галлипулетов (охвачена ужасом при виде удаляющегося Господа бога). Он уходит! Уходит!

Великий дервиш. Да нет же! Не плачьте! Он вездесущ! Он и там и тут!

¹ Кто там? (нем.)

² Господь бог. Здесь как восклицание: «Ах боже мой!» (нем.)

³ Старый бог! (нем.)

Толпа галлипулетов (*в отчаянии*). Нет, он ушел! Ушел! Я видел, видел...

Великий дервиш (*презрительно*). Видел! Подумаешь, доказательство! Разве не знаете нашего первого правила: не верь глазам своим!

Толпа. А чему же тогда верить?

Великий дервиш. Гласу Господню. Ныне и присно он пребывает с нами. Сейчас услышите его сами.

Голос Господа бога (*раздается из граммофонного рупора*). Дети мои, я с вами! Почитайте своих дервишей! Толпа галлипулетов. Чудо!

Все падают ниц.

Один из тощих. Но зачем же он перешел к неприятелю?

Великий дервиш. Да ведь это он вам показывает дорогу. Спешите же, летите вослед своему богу!

Оба народа в крайнем возбуждении толпятся каждый на своем конце моста и осыпают друг друга бранью, но поглядывают вперед с опаской и с места не трогаются.

Великий дервиш (*обращаясь к Самым Тучным, дипломатам, журналистам и т. д.*). Попрошу вас занять места! Мы, господа, будем петь. Поэты, философы, дервиши, педанты, доценты, интеллигенты, газетной брехни и ученой стряпни признанные мастера, чемпионы пера, у которых в жилах вместо крови бурлят чернила, стройтесь в ряды, составляйте хор! На ваших гусиных перьях мчитесь, неситесь на защиту своей империи! Священные хранители Капитолия, готать разрешаю вам вволю я—взвойте трубами, взревите тромбонами, будьте Брутами, будьте Катонами, всем пожертвуйте ради отчизны—кроме, конечно, собственной жизни, ибо вам ведь еще предстоит воспевать тех, кого вы послали вместо себя умирать! Слава и честь вашим луженым глоткам, на расправу и суд коротким, коими вы простаков оглушаете, распинаете и воскрешаете, загоняете пачками в гроб и тавро геройства ставите им на лоб!

Но надо навести некоторый порядок. Позвольте... Вот здесь, внизу, мы разместим басы: метафизиков и теологов испытанную рать, дабы варваров прямо в голову поражать торпедами Идеала и минами Абсолюта... Несколько выше—голоса среднего регистра: историков и юристов, кои по своду законов исполняют партии баритонов,—это молодцы весьма дошлые на то, чтобы Право перекрывить и перевернуть Прошлое... Добавим сюда же полдесятка министров, экономистов и влиятельных журналистов, умеющих на бирже создавать повышение для акций компании оружейной... Да еще парочку королей—они, положим, фальшивят изрядно, но в

птице неважен голос, если перо нарядно... Еще выше — контральто и тенора — писатели обоего пола или вовсе без пола (для сопранных партий!), литературные амазонки, по стопам своей бабки Венеры с Марсом возжаждавшие адюльтера, и, наконец, непризнанные поэты, которые в надежде урвать хоть крупницу успеха все теперь щеголяют в военных доспехах. Вот мое воинство! О, сколь они все прекрасны, пламенны и страстны, мои рыцари, мои латники, подтянутые и статные, со шпорою на пятке, юнцы на шестом десятке! А выправка-то какова! Маршируют-то как! Ать, два! Ать, два! Тише, тише! Умерьте пыл! На парадах не люди — львы! А уж в бою не сносить бы им головы, но я вспомнил — какое облегченье! — что они не участвуют ни в каких сраженьях; они лейб-гвардия, то есть телохранители, ну и, стало быть, прямое их дело — это хранить свое тело. А на самом верху поместим цимбалы и бряцающие кимвалы, мистиков и заклинателей, газетной истерики зачинателей, кои, шаманствуя по заказу, распространяют психическую заразу и за сходную цену всегда готовы разжигать в толпе древнюю жажду крови. В качестве солиста возьмем социалиста, а в пару к нему католлика, они станут дуэтом воспевать добродетель в тоне папских декретов. Правда, эти вина не из одной бочки, но что за важность — их пьют, ну и точка.

Полоний. А мы! А мы! Про нас-то и забыли!

Великий дервиш. Терпенье, мои пацификомилитаристы! Полонию, заслуг его ради, мы предоставим кресло первого ряда.

Пока Интеллигенты настраивают свои инструменты и свои голосовые связки, проделывая это с большой важностью и шумом, к выходу на мост начинают стягиваться войска. Появляется Иллюзия.

Лилюли (*склоняясь над спящим Альтаиром*). Альтаир, детка моя! Проснись, сонюля!

Альтаир (*пробуждаясь*). Ах! Лилюли!

Лилюли. Ляленьки-люли! Открой глазки! Пора вставать!

Альтаир. О, как в этой постели чудесно было спать! Сны золотые качали меня, руки твои обнимали меня, кудри твои одевали меня, в зыбкой струе мы плыли, как водоросли перевитые... К какому же счастью, о дорогая, к каким новым радостям нас стремили волны?

Лилюли. К еще более совершенным и полным. Ибо пришло время, дитя, показать, как ты меня любишь. Знаешь ли ты, что в любви, кто все получил, тот еще ничего не имеет? Дарить — вот богатство! Кто себя уберег, перед тем заперты мои двери. Но кто отдал мне все, тот у меня в сердце — там его гнездышко. Хочешь, хочешь, о милый, хочешь отдать мне все?

Альтаир. Я хочу, хочу... Но у меня ничего нет.

Лилюли. Вот это «ничего» мне и нужно: отдай мне твою жизнь! Отдашь? Скажи! Ради меня готов ли ты все претерпеть? Ради меня, скажи, скажи, готов ли ты умереть?

Альтаир. Страдать... Умереть... Какое счастье! Пусть моя кровь течет, как виноградный сок из раздавленных гроздий... Как вино для тебя, для тебя одной...

Лилюли. Приди же, приди, ибо я тебя жажду... О, как прекрасен будет твой жребий! Смотри! Все человечество стремится к свету. Смотри! Пылают золотом вершины гор... Наутро твой народ туда дошел бы... Но те, враги, вам преграждают путь. Они хотят вернуть вас всех во тьму. Стереть вас с лица земли! Отнять у тебя Лилюли!.. О, защити меня! Защити свет!

Альтаир (*хватает ее в объятия и высоко поднимает*). Я на руках донесу тебя до самой вершины! И если даже весь мир восстанет против меня, я всюду пройду, я все одолею, лишь бы руки твои нежные, белоснежные обнимали мне шею!

Полишинель. Эй, берегись! Как бы тебе, дурачок, на камень не напороться! Кто шагает, уткнувшись лицом в девичьи косы, тот не видит дальше кончика носа!

Лилюли. А зачем ему видеть дальше? Возле моего носа живут мои губы и мой поцелуй.

Полишинель. Эта квартирка не для меня. Слишком дорого стоит.

Лилюли. Только жизни. А тебе, скупердяй, свою жалко? Ну и не надо, без тебя обойдемся.

Полишинель. А! Зелен виноград!

Альтаир. Дайте пройти, братья. Я вам открою путь. (*Вступает на мост.*)

Толпа. Осторожно! Не упади!

Альтаир. Я не боюсь. Поступь моя тверда. (*Внезапно останавливается с возгласом изумления.*)

Лилюли. Ну, что же ты? Почему остановился?

Альтаир. Ах, подожди!.. Кто это? Кто? Вон там! О боже, боже! Мой друг, мой брат! О! Антарес!

Антарес (*с другого края оврага*). Альтаир!

Толпа. Да осторожней же! Ты упадешь!

Альтаир опускает Лилюли на мост и протягивает руки к Антаресу. Тот в свою очередь простирает руки к Альтаиру.

Лилюли (*с досадой*). Уж будто я так тяжела? Бессовестный! Бросил меня на середине моста!

Альтаир. О друг мой!

Лилюли (*тянет его за руку, дергает за волосы, щиплет его*). Обманщик! Пустельга! Нахальный воробей! Ветреник! Уже забыл и руки белоснежные мои и поцелуй!

Альтаир (*нетерпеливо отстраняет ее*). Мой друг! Мой друг! Зачем ты здесь?

Антарес. Я пришел с моим народом. А ты что делаешь тут, Альтаир?

Альтаир. Я свой народ веду на бой.

Антарес. Против кого?

Альтаир. Не знаю... Я забыл...

Лилюли (*подсказывает*). Вон против тех!

Альтаир. Но это значит против него!

Лилюли. А не все ли равно?

Альтаир. Ах, ты не знаешь, что он для меня! Ведь ты не знаешь, кто мы. Близнецы! Мы друг без друга жить не можем. Он мой товарищ, он мой брат, мы все делили чем кто богат — горе и беды, радости и победы, одной и той же несправедливостью возмущались, одной и той же надеждою опьянялись и долгими ночами со смехом и слезами окрылялись мечтами о том, как мы вдвоем единой волею всемогущего завоюем таинственную страну Грядущего! Мы любили друг друга чистой любовью. Наши сердца сочетались в духовном браке. Все, что есть во мне, есть и в нем: он — это я.

Лилюли. А мне что остается? Нечего сказать, хороша же твоя любовь!

Альтаир. Ах, Лилюли, прости меня, дорогая! Ты в сто раз красивей и лучше (или хуже... иногда я и сам не знаю), но ты непохожая, ты другая. Поэтому я и жажду тебя сорвать. А мы с ним одно. Ты — яблоко в саду Гесперид, мы — аргонавты. И один корабль нас несет к тем берегам, где растут золотые яблоки.

Лилюли. Но твой близнец убежал с корабля. Он тебя покинул, отринул... Он бьется под другими знаменами. Слышишь, что он говорит?

Антарес (*увидев Лилюли, окликает ее*). Лилюли! Ты ль это, любовь моя?

Альтаир. Как! Он тебя любит?

Лилюли. Да, а тебя он предал. И хочет меня похитить.

Альтаир. Но ты-то, ведь ты меня любишь? Ведь ты моя?

Лилюли. Я достанусь тому, кто сильнее и храбрей. Ну! Берите меня скорей! (*Она взлетает, как птица, и присаживается на конец мостовой балки, выдвинутой над пропастью.*)

Антарес (*бежит по мосту, туда, где сидит Лилюли*). Подожди, подожди меня!

Альтаир (*загораживая ему дорогу*). Прочь отсюда! Она моя!

Угрожающе смотрят друг на друга, но вдруг их лица смягчаются и опускаются занесенные для удара руки.

Альтаир. Мой друг!
Антарес. Мой товарищ!
Альтаир. Милые глаза! Милые руки!

Берутся за руки.

Антарес. Милая улыбка! Бесценные воспоминанья!
Альтаир. О, как я жажду тебя обнять!

Еще мгновение смотрят друг на друга, затем горячо обнимаются.

Лилюли. Обнимайтесь, обнимайтесь, мои котяточки, мои голубяточки! Ради твоей Лилюли обними его, обними, задави его, задави! Во славу родины! Чем больше жертва, тем она прекрасней! Ну, Антарес! Ну, Альтаир! Смелей! Мое правило, мальчишки, такое: любишь меня — так отдай самое дорогое! А та любовь не заслуживает награды, которая поделится рада только тем, что самой не надо. Да еще и то не мешает сообразить: если хочешь друга, каким он прежде был, в сердце своем сохранить, то постарайся его, живого, поскорее со свету сбить, ибо он может образ бывшего опозлить и загрязнить! Ну и убейте друг друга! Это вменится вам в заслугу! Это доблестно будет и свято! Ну же, ну же, мои волчата!

Альтаир и Антарес схватились друг с другом и яростно борются, катаясь по мосту и с ожесточением нанося друг другу удары; наконец, оба падают без чувств. Толпа на той и на этой стороне оврага окликает их и волнуется. Лилюли, снова взлетев, порхает над лежащими и осыпает их красными и золотыми осенними листьями.

Лилюли. Спите, спите, любимые! Кончены ваши заботы! Вы завершили свою работу, мне послужили примерно, неліцемерно и верно, оба мне отдали больше, чем жизнь, — значит, любили без страха и лжи. Так и должно быть, малютки мои, так вот и надо любить Лилюли! Антарес бездыханен, но Альтаир, мой любимец, я слышу, я слышу, он еще стонет, он еще дышит, он оправится, он на ноги встанет, я его сберегу для новых страданий. Страдать, умирать — это ваш удел, тех, кто взор на меня обратить посмел! Но эти дурачки не стоят участия, ибо вкусить не умеют простое счастье, — их оттого так и тянет в мои объятия, что я своих любовников предаю на распяты! Что ж, пожалуйста, милости просим, за гостеприимство много не спросим — только готовности от гостей жизнь свою кинуть, как горсть костей! Я Иллюзия, я Сладкий Обман — тот меня завоюет, кто идет ва-банк!

Полишинель. Он ничего не получит.

Лилюли. Но жалобами не наскучит. Из тех, кто в путь отправлялся, ни один еще, слава богу, не возвращался. Вперед же, дети Лилюли!

Галлипулеты. Вперед! Вперед! Нас родина зовет!

Урлюберлоши. Блажен, кто за нее умрет!

Те и другие устремляются на мост; завязывается битва. Лиллоли парит над сражающимися, затем улетает.

Полишинель. Ах, сорока! Добилась-таки своего!.. Она не любит ничего. И ей не жалко никого. Чужая печаль ей смех—всех манит и убегает от всех! Однако ухитрилась им голову так вскружить, что из любви к ней они готовы друг другу горло перекусить и каждый мечтает главный выигрыш получить! Эй, подходи! Вынимайте билетки! Тащите скорее! Это, господа, беспроигрышная лотерея! Завтра розыгрыш! Завтра вам что хотите подарим, и притом совершенно даром, все, чего жаждет ваша душа, получите, не истратив ни одного гроша! Ну, а сегодня платите натурой—недорого—всею навсего своей шкурой!

Хор интеллигентов (*они поют на однообразный веселенький мотивчик, раскачиваясь в такт всем телом*). Благо тем, кого могила—в юных летах поглотила,—небо милость им явило,—от печалей сохранило!—Мы охотно бы по силе—эту участь разделили,—свой живот бы положили,—чин геройский заслужили!—Но мы, ах! поторопились,—слишком рано мы родились!—Значит, боги так судили,—чтобы эти простофили—нас собою заменили!

Тем временем оба народа, обменявшись тумачами, опять ретировались каждый к своему концу моста и с этой безопасной дистанции осыпают друг друга бранью, показывая кулаки.

Интеллигенты (*глядя на них сверху, с эстрады*). Да они и не думают двигаться! Умрем же, господа, умрем! Нет участи отрадней! Ну же, решайтесь! Смелее!

Народы (*вызывая друг друга*). А ну подойди! А ну попробуй! Ох, и будет тебе закуска! Ты, однако, не толкайся, а то как дам! Ну, ну, начинай! Да нет уж, начинай сам! Ах, чтоб тебе! Ты мне отдал ногу! Да нет же, это не я, ей-богу! Это вот он, сзади меня подтолкнул! У-у, какая боль! Наступил, дуралей, прямо мне на мозоль! Ну ладно, на этот раз прощаю... Но ежели ты опять!..

Великий дервиш. Ничего не выходит... Несмотря на наши святые старанья отравить им существованье, эти болваны не желают расстаться со своей постылой жизнью... (*Интеллигентам.*) А вы-то чего молчите! Или прикажете подбодрить вас розгой? Пойте же, пойте, черт вас дери, вы, герои мозга!

Интеллигенты. Позвольте! Позвольте! Дайте хоть перевести дух! От этого пенья у меня уже язык распух! Ужасное занятие! Да еще по такой погоде! Пить! Я изнемогаю от зноя! А кроме того, не скрою, что предпочел бы музыку в другом роде.—Я не Тиртей, и все эти барабаны и трубы для

моих ушей чересчур грубы; то ли дело в сторонке от боя по глоточкам впивать томную грусть гобоя или флейты нежные переливы, ибо поэт рожден, чтобы славить любовь, и мир, и златые нивы!

Полоний (*вскакивая с места*). Предатели! Арестовать их немедленно!

Лилюли. Ах, вот как, мои ягняточки! И вы тоже вздумали брыкаться! Не желаете больше бляеть? Не хотите в бантиках от рожек до ножек вприпрыжку бежать к доброму мяснику под ножик? Ну, ничего, мы вас еще и не тому научим! Вы у нас заскачете, вы у нас бе-бе-бе-бе-бе заблеете, а велим, так и танцевать сумеете! Сейчас позовем танцмейстера! (*Птичьим голосом поет призывный клич.*)

Ло-ло-и! Ло-ло-и!
Лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-их!
Лопай, лопай, лопай их!

Пиль-пиль-пиль-пиль-пиль-пиль!
Иси! Иси!
Куси! Куси! Куси! На!
Моя кузи-кузи-на!

(*Здесь ее пение переходит в говор.*) Ко мне! Ко мне! Скорее, кузина! Одним прыжком вскочи им на спину! Этих ослиток пришпорь ударом костлявых пяток! Да они и сами пойдут, лишь бы над ухом вовремя щелкнул кнут! Славные ослики! Я их, честное слово, очень люблю, они все глотают, чем я их ни кормлю, — покладистый народ и предобрый! — только последний кусок, кузиночка, надо твоим укусом сдобрить. Видишь, они уже разинули рты и шире держат карманы — ждут, чтобы им с небеси посыпалась манна. Ах, как они любят повиновенье! Так приступай же к делу, Общественное Мнение! Вззы! Вззы! Куси их! Куси! Свет рассудка в них погаси!

Издавек, со дна оврага доносится вой автомобильной сирены. Этот вой, сперва тонкий, как визг пилы, но потом быстро нарастающий, непрерывный и неистовый, представляет собою как бы звуковую ось, вокруг которой, как облако пыли, вихрем кружится множество других звуков: крики, пронзительный свист дудок, злобный лай, стремительная дробь барабанов, дребезжание треугольников, звон бубенцов и гулкие удары гонга. Вся толпа, находящаяся на сцене, на мгновение застывает с разинутыми ртами, оцепенев, словно загипнотизированная. Но, по мере того как этот ураган звуков приближается, коленки у всех начинают дрожать, зубы стучать, головы уходят в плечи, как у мальчишки, когда он ждет затрецины. Полишинель припал к земле и так плотно втиснулся в углубление за камнем, что его совсем не видно — только торчит горб. Лилюли вспрыгивает на перекладину моста ближе к входу; она стоит, расставив ноги, и хохочет, простирая руки к тем, кто приближается. На сцену врывается толпа сатиров и обезьян. Они скачут и прыгают, наигрывая на визгливых маленьких флейтах и на свирели Пана какой-то пронзительный, отрыви-

стый, дикий и шутовской, пляшущий мотив. Они появляются отовсюду, справа, слева, сверху, снизу, с одной стороны моста и с другой, сбегая по горьким тропинкам, выскакивают из оврага. Они всех цветов — медно-красные, бронзово-зеленые, черные, как чугуны, отливающие металлическим блеском. Бегут гурьбой, испуская прерывистые крики. В один миг они окружили обе толпы и все тесней сжимают их кольцом своего стремительного вихря. Кажется, что новые сонмы их прибывают с каждой минутой. Наконец, из глубины пропасти на повороте дороги при непрерывном вое сирены появляется фантастический автомобиль из вороненой стали: корпус посажен низко, спереди рог, как у носорога. На высоком сиденье без спинки, как на треножнике Пифии, сидит, свесив ноги, поразительная фигура — это богиня Лопп'их (Общественное Мнение). Она напоминает индусское божество и ту женщину с мертвенным лицом и вздытыми вверх руками, которую мы видим на картине Бёклина «Три всадника» (из Апокалипсиса), находящейся в Цюрихской картинной галерее. У нее блуждающие, остекленевшие глаза, груди и живот обнажены. Над тормозом автомобиля согнулся Дьявол Дюрера (Рыцарь и Смерть) с вольчьими клыками и ушами, как у осла, зверь, который таится в первобытной чаще Человечества, куда его загнал Разум, но он всегда настороже и тотчас выныривает на свет божий, когда придет его час (а час этот рано или поздно непременно приходит). Вокруг автомобиля эскорт из конных казаков с пиками наперевес и поднятыми нагайками.

В тот миг, когда шум и вой достигают наивысшего напряжения, вдруг все смолкает и замирает на месте: ни звука, ни движения. Все застыло, как замороженное, — казаки в своих угрожающих позах, сатиры и обезьяны в момент прыжка, коленопреклоненные толпы, согнувшись до земли, женщины, спрятав лицо в завернутые на голову юбки. Мгновенье немой тишины. Затем богиня вдруг разом опускает руки, — всадники взмахивают кулаками и щелкают нагайками; обе толпы мгновенно вскакивают на ноги и, подгоняемые сатирами и обезьянами, которые их толкают, кусают и щиплют, все — Галлипулеты с одной стороны, Урлюберлоши — с другой, — кидаются на мост со свирепым воплем, в котором нет уже ничего человеческого.

Авва-ва-а!

Обе толпы схватились на середине моста. Водоворот тел. Передние летят с моста в овраг, задние напирают, как обезумевшее стадо. Автомобиль остановился носом к зрителю; на передней площадке автомобиля, опершись лапами о борт, скорчился Зверь Дюрера, как химера на раструбе водостока; перед автомобилем проходят гуськом самые видные Галлипулеты всех возрастов и мастей, разного роста и сложения, все прикованы за шею к одной цепи. Они пляшут, кривляются, вопят и потрясают томагавками по команде огромного Негра, весь костюм которого состоит из набедренной повязки; он вращает глазами и, пятясь, приплясывает, оставаясь все время лицом к закованному в цепи пленникам.

Пленные Мозги (*поют и пляшут*). Мы мозги, мы умы, мы свободные мужи, с характером железным, с душою гордой, гибкой и твердой, как шпага из толедской стали. Мы в огне закалены, мы всегда верны тому, кто нас держит. А что он хочет делать, это не наше дело — ему распоряжаться, а нам повиноваться. Кто сумел нас взять, тот — рукоять, а мы — лезвие острое и резвое. Рукоять меняется, лезвие сохраняется. И мы всегда рады колоть и когтить, кромсать и холостить в священном раже всех, кого прикажут, — рассыпать удары налево и направо, на виновных и на правых, на всех,

кого хотите. А если повелите, то мы с готовностью в этом пире на закуску сделаем себе хакакири.

Негр (*который их подбадривает*). Эй, мозги! Живей! Живей! Поклон! Прыжок! Выше! Выше! Гоп! Гоп! Гоп! Изгибайтесь! Извивайтесь! Животы вперед! Виляйте задом! Пяткою и носком, пяткою и носком топните, притопните, притопните, в такт танго! Вперед! Назад! Поклон! Прыжок! Выше! Выше! Выше!

Интеллигенты (*глядя на них с высоты эстрады*). Ах, как мне нравятся эти антраша — эти пируэты, эти па — когда, выпятивши груди — свободные люди — все по команде, гоп, гоп, гоп, — как один, кидаются в боевой галоп! — Слава неграм белым и черным! — Слава их ляжкам валосливым и проворным! — Слава этим рыцарям — без страха и сомненья — нашей повелительницы — Общественного Мнения!

Общая свалка, крики и суматоха. Группа Галлипулетов одолевает Урлюберлошей, вытесняет их с моста и преследует на этой стороне оврага. Другая группа Урлюберлошей одолевает Галлипулетов, вытесняет их с моста и преследует на той стороне оврага.

По обе стороны преследуемые и преследователи взбираются на горные склоны и продолжают колотить друг друга, испуская воинственный рев. Тем временем Пленные Мозги, приплясывая, прошли вереницей по мосту, встретились на середине с другой вереницей Пленных Мозгов, которые двинулись в противоположном направлении и теперь, все так же приплясывая, занимают место первых. Тем временем Интеллигенты на эстраде, наговорившись вдосталь, отдыхают, созерцая эту картину, утоляют жажду освежительными напитками и оттирают пот после своих героических трудов. Но Зверь Дюрера, сойдя с автомобиля, медленно обходит кругом эстраду, поглядывая на певцов со своей дьявольской усмешкой. Этого достаточно для того, чтобы Интеллигенты торопливо кинулись к своим попитрам и возобновили свои песнопения.

Мало-помалу сцена пустеет. Сражающиеся скрылись на верхних уступах склона. На переднем плане виден лишь неподвижный автомобиль и на нем застывшая, как статуя, богиня; на эстраде — послушный хор Интеллигентов, внизу с каждой стороны оврага — вереница Пленных Мозгов, которые продолжают свою пляску в глубоком молчании, напоминая собой гротескный фриз. Больше ничего нет. Впрочем, есть. Понизже, в сторонке, Жано по-прежнему трудится на своем поле. Зверь Дюрера зачуял его. Очень спокойно, неторопливо перебирая своими ослиными копытами, он приближается к Жано и останавливается в двух шагах, по-волчьи вывесив язык из раскрытой пасти. Жано, хотя и стоит к нему спиной, чувствует его дыхание. Он поднимает голову, оборачивается, видит застывшего в неподвижности Зверя и сам на мгновение застывает, разинув рот и свесив руки; потом с большой поспешностью, согнувшись, втянув голову в плечи, избегая глядеть в сторону Зверя, идет к своему ослу, который мирно пасется на травке, натягивает на него уздечку, садится верхом и рысит к мосту.

На мосту Жано сталкивается с урлюберлошским Санчо Пансо, пузатым и благодушным, который едет ему навстречу верхом на муле. Середина моста узка, проехать можно только одному. Оба всадника не имеют ни малейшего желания переходить к враждебным действиям, каждый охотно уступил бы дорогу другому, и они уже начинают обмениваться любезностями; все окончилось бы мирно, если бы не подзадоривающие их крикуны.

Жано (*на своем осле*) и Гансо (*на своем муле. Все четверо сталкиваются нос к носу*). Эй! Эй!

Останавливаются в недоумении и разглядывают друг друга.

Гансо. Славная погодка.

Жано. Только уж больно жарко.

Пауза.

Гансо. Ну, здравствуй.

Жано. Здорово!

Пауза.

Оба смотрят друг на друга, растерянно ухмыляясь.

Жано. Куда это тебя бог несет?

Гансо. Да так, вздумалось прогуляться.

Жано (*показывая на своего осла*). А я вот его вывел. Пусть, думаю, проветрится.

Гансо (*вежливо*). Красавчик! (*Он имеет в виду осла.*)

Жано (*отвечая любезностью на любезность*). Ишь, гладкий! (*Он подразумевает мула.*)

Гансо (*косится на пропасть*). А глубоконько тут.

Жано. Да уж, не дай бог свалиться...

Оба стоят, не смея шевельнуться.

Я вам мешаю, а? Хотите проехать?

Гансо. Ничуть, ничуть, напротив... Мне самому совестно. Прощенья просим...

Жано. Попятиться бы надо...

Гансо. Да уж, видно, придется... Хотите вы?

Жано. Да хоть бы и я... Спешить мне некуда...

Гансо. Э! Да и я не тороплюсь.

Пауза.

Жано. А что, если обоим вместе?

Гансо. Вот это правильно! Возьмем назад маленько... И ты и я... Ну-ка! Разом!

Зрители (*по обе стороны оврага раздаются негодующие восклицания*). Жано! Жано! Гансо! Несчастный! Что ты делаешь! Не уступай ни пяди! Вперед, черт возьми! Жано, вспомни о своих предках! Гансо, тебя ждет слава. Видишь, она тебе делает ручкой! Только надо ему—вон тому!—сперва задать хорошую взбучку! Честь требует, чтобы вы—раз и готово!—шкуру содрали один с другого! Дери с него, эй! А не то расстанешься со своей! Шкуру! Шкуру! Шкуру! Свою или чужую! Хлестните своих коней! Бей! Бей! Бей! Ага, заговорило в вас ретивое! Победить либо издохнуть! Первое хорошо, да неплохо и второе! В битву, богатыри! Издохните, герои!

По обе стороны оврага Интеллигенты сошли со своих эстрад и сбились на концах моста, загромождавая выход. Пленные Мозги напирают на всадников

сзади и что есть силы лупят обоих скакунов. На той стороне оврага в облаке открылось окошко, и в него, благостно улыбаясь, выглядывает Господь бог. Иллюзия порхает над мостом, держа в руках горн и пальмовые ветви. А Дьявол Дюрера вскарабкался на скалу и, скорчившись, сидит на вершине, как изваяние, лицом к Господу богу. «Два авгура...» — Жано и Гансо вертят головами на все стороны в напрасных поисках выхода и, постепенно одушевляясь под влиянием сыплющихся на них отовсюду окликов и брани, начинают уже свирепо вращать глазами и задирать друг друга, расхрабрившись со страху.

Жано. Ну! Будет! Проваливай! Смотреть на тебя против-но!

Гансо. А мне, думаешь, приятно видеть твою постную рожу!

Жано. Постную? Ах ты, свиное рыло! Блин! Два блина! Двойная луна! Задница!

Гансо. Вяленая треска!

Жано. Гороховая колбаса!

Слегка поталкивают друг друга.

Гансо. Легче, легче! Осторожнее, сударь! Еще шаг — и мы оба ухнули бы вниз головой!

Жано. Оба вниз! Ой, ой!

Опасливо отодвигаются, но те, что сзади, опять толкают их друг на друга.

Жано (*к Гансо, тихо*). Уходи же!

Гансо (*тоже тихо*). Да я бы рад всей душой...

Пленные Мозги (*нахлестывая осла и мула; те лягутся*). Вперед! Живей!

Жано и Гансо (*тицетно отбиваясь от нападающих сзади*). Да ведь опасно... Не соберешь костей!..

Лилюли (*ласково*). А ты его понежней!

Интеллигенты (*возмущенно*). Может быть, на завтра отложим?

Господь бог (*с важностью*). Дети мои, без канители! Для вас уже готовы пуховые постели.

Жано. Где это?

Господь бог. В раю.

Жано. Покорно благодарю. Лучше спать на соломе, да у себя в доме.

Лилюли (*осыпая Жано и Гансо дождем из листьев; все ее движения манерны, томны, насмешильвы*). А вот вам лавры, лавры, лавры — для аромата!

Жано и Гансо. Довольно! Хватит!

Лилюли. Еще подсыпать могу!

Жано. Да что я, баранье рагу?

Богиня Лопп'их (Общественное Мнение), до этого времени бесстрашная и неподвижная, вдруг делает резкий жест. Раздается вой сирены. Все подскакивают как ужаленные и с новым рвением накидываются на Жано и Гансо.

Все. Довольно болтовни! Вперед!
Пленные Мозги. Бей! Бей! Коли! Руби!
Лилюли (*делает мелодичную руладу на горне; ласково*).
Ти-ри-ри-ри-ри!

Жано и Гансо совсем прижаты друг к другу—они уже стоят на самом краю пропасти.

Жано. Да вы очумели!.. Тут же один прыжок — и прощай голова!

Лилюли. Вот и хорошо. Один да один—будет два!

Все. Ну! Марш!

Лилюли. Как не стыдно, Жано! Фу! Баба!

Все. Прыгай! Прыгай! Жаба!

Гансо (*толкая Жано, а тот толкает его*). Слышишь, тебя зовут! Иди!

Жано. Нет, сперва ты!

Они схватываются и колотят друг друга.

Лилюли. Не будьте так вежливы! По этому пути можете и рядком пройти.

Жано и Гансо братски летят с моста.

Интеллигенты (*расположившись, как два полухора, по обеим сторонам оврага, наклоняются и смотрят*). Летят... Слетели...

Все вместе. О! Какая эпическая картина! Катятся, катятся—вниз, кувырком, кувырком!.. Катящийся камень не обрастает мхом... Какое зрелище! Я весь отвагой пылаю!.. Ой, только не надо так близко к краю!.. Каков темп, а? Это обвал! Лавина! Я чувствую, героический пот холодит мне спину!.. In profundis... Sic transit... (*Присвистнув.*) Фью-ить! Ну вот и все! Доблестная кончина! (*Выпрямляются. Напыщенно.*) Но они живы в нас, в нашей памяти! Наша душа — их памятник! Розами сердца мы их осыпем! Ну, пойдем выпьем! О возлюбленная моя душа, о душа моя, как ты прекрасна! На чужих смертях, язвах, горбах, увечьях, на погибели человечьей ты собираешь свой сладкий мед! От начала веков люди рождались и умирали лишь для того, чтобы ты могла их воспеть!.. Помни же, черная кость, наш завет: мучайся, умирай, геройствуй, хоть тресни! Ибо все это нужно для моей песни! Счастливые смертные! Вы должны гордиться тем, что ваши страдания служат столь высоким предначертаньям!.. О моя душа, я тебя обожаю! С каждым днем ты все просветляешься, чистотой сияя! Воспари же, блаженная, на

воскрылиях белых! Вознесись, вдохновенная, в райские пределы! (*Меняя тон.*) Ну-с, а теперь, когда мы сплавили, наконец, эти народы на корм Минотавру, пойдёмте, господа, отдохнем на их лаврах! Прошу вас! Поднимемся в Капитолий.

Лилюли. Тэга, тэга, гусята! В Капитолий слетайтесь!

Они. Поднимемся!

Боги. Поднимайтесь!

Героический марш. Все торжественно направляются вверх по склону, гуськом пробираясь по горной тропе. Лилюли идет за ними, как пастушка за гусиным стадом, и подгоняет их пальмовой ветвью. Сверху, с гор, все еще доносится рев сражающихся народов.

Сцена медленно пустеет. Интеллигенты и Лилюли исчезают за поворотом дороги. Господь бог захлопнул ставни и скрылся в облаке. Богиня Лоп'их и ее автомобиль спускаются обратно в пропасть. Тогда в тени под скалой что-то начинает шевелиться: это горб Полишинеля. Затем и сам он осторожно приподнимается, вертя головой на все стороны, как дрозд, и, наконец, успокоенный, обращает к публике лицо, искривленное беззвучным смехом. Оба его горба, колпак, нос и подбородок смеются, все его тело трясется от смеха, но ни единого звука не срывается с его губ.

Полишинель (*обращаясь к публике*). А я все-таки уцелел — один из всех. Ура! Не уничтожен Смех!

Слышен ужасающий грохот, катящийся сверху, как водопад.

Полишинель. Ах, черт их передери! Все полетело в тартарары!

Все разом обрушивается на него — сражающиеся народы, мебель, посуда, домашняя птица, камни, песок. Полишинель исчезает под грудой обломков. Туча пыли окутывает сцену; шум, грохот. На вершине внезапно выросшей горы видна Л и л ю л и — она сидит, поджав ноги, улыбаясь, показывая белые зубки и кончик языка. Проставив указательный палец к носу, она наставительно изрекает:

Лилюли. Сказал мудрец:

«Не смейся над судьбой, хитрец,
Пока не наступил конец!»

Ноябрь 1918 г.





ало найдется произведений, которые казались бы столь непосредственно вдохновленными войной, как «Лиллюли». Словно французский смех ей мстит здесь.

И, однако же, вещь эта была задумана и почти закончена начерно в промежуток времени между июлем 1912 года и январем 1913 года.

Это значит, что война ни для кого не явилась неожиданностью, за исключением тех, кто, подготовив ее, выказал потом, когда она разразилась, притворное изумление, да еще тех добрых коровок, которые пощипывали траву, уткнувшись в нее носом.

В первой редакции пьесы, которая должна была состоять из пяти актов и называться «Буриданов осел», отправным пунктом было крушение прошлого. Уже за два года до войны старый мир затрепал по всем швам, и война явилась здесь лишь взрывом. В первом акте у меня изображалось крушение общества под натиском не огня, а воды. Потоп, но без Ноева ковчега. Обезумевшие народы удирают во все лопатки. Каждый убегающий хотел бы унести с собой все имущество; и так как сделать выбор нелегко, каждый хватает самое ненужное. Старики не в силах расстаться со своей старой мебелью; они не знают, что захватить, кресло или столик, и в конце концов выбирают лампу с абажуром. Писатель тащит свой бюст. Простодушный юный поэт — свои стихи. Кто-то другой еще — зеркало. Крупные политики-буржуа сваливают в ручную тележку бессмертные принципы 1789 года, Права Человека и заодно процентные бумаги; все это тянут для них добрые рабочие. Когда тележка уже тронулась в путь, один из буржуа, самый речистый, усаживается сверху. Куда направиться? Направо? Налево? Спорят об этом посреди дороги. Консерваторы советуют идти назад, к дальнему холму, который возвышается над равниной. (На нем виднеются символи-

¹ Это послесловие было написано Роменом Ролланом для русского издания. — Прим. ред.

ческие развалины укрепленной церкви и виселицы.) Но чтобы добраться до него, надо пересечь затопленную равнину. Рабочие без сожаления покидают старое место: все равно, хуже им не будет и на новом!

Влюбленная пара смотрит на переселение как на свадебную поездку.

Два главных персонажа, кроме Иллюзии — Полишинель и Осел. Горб Полишинеля можно назвать яйцом, из которого вышел весь выводок Лиллюли. Среди социального кризиса Полишинель — это спасительный смех. Он — родной брат Кола Брюньона. Он даже опередил его на несколько месяцев, ибо Кола был зачат в апреле или мае 1913 года. Итак, Полишинель первым вылутился на свет; и потому вполне законно то, что фраза из «Кола» украшает теперь вход в книгу о Лиллюли. Полишинель — «старший» Кола, Кола-горбун, свободный ум, который взирает на трагедию эпохи и посмеивается над ней.

Другие изображали нам вечного чужеземца, прирожденного метека¹, изгнанника всех стран. Полишинель — полная противоположность этому: он всемирный, вечный автохтон, зевака-буржуа всех городов, гражданин всех стран, который всюду дома. Ничто не удивляет его, и все развлекает. Он только бродит, смотрит с пониманием, над всем посмеивается и ко всему приспособляется. Он останавливается на каждом шагу, чтобы поглазеть на прохожих и поболтать с ними. Но, проворный и хитрый, он быстро наверстывает потерянное время. Совсем как веселая большая собака, которую видишь то впереди, то сзади или рядом с собой, то во главе, то в хвосте идущей толпы людей. Она болтается под ногами и выражает лаем всю свою беззаботность и смех. Чем больше глупцов, тем смешнее!

Но не Полишинель зачинщик похода. Ему все равно, где быть — здесь или там. Виновища затей — Иллюзия, ее волшебный голос (он раздается не раз на протяжении всей пьесы), похожий на луч солнца во мраке. Ее напев так сладостен, что гул тревог и споров сразу замолкает и все прислушиваются. Способность речи возвращается только тогда, когда Лиллюли уходит. И все устремляется следом за ней. В деревне остаются лишь несколько глухих стариков.

Там остался еще Осел, — Буриданов осел, со своим двойником, хозяином и слугой, Жано Ланье. Это маленький сорокалетний буржуа, который вечно колеблется между прошлым и будущим, из-за пустяка волнуется, малым довольствуется, а больше всего любит покой, и хотя жизнь

¹ Метеками в городах древней Греции назывались иноземные поселенцы, не пользовавшиеся правами гражданства.—Прим. перев.

заставляет его непрестанно двигаться вперед,—делает это с наивозможной умеренностью, устраиваясь так, чтобы всегда оставаться в хвосте. Это типичный середнячок, который всюду роет себе норку, не любит меняться, отзывается о прогрессе с недоверием и насмешкой, все же тянется за ним, но издали, и в сущности ничего от этого не теряет. До конца первого акта этот упрямец сидит запершись в своей лачуге. Полишинель, плавающий в общей сумятице, как рыба в воде, уже перешел мост у выхода из деревни, как вдруг, подсчитав свое стадо, он не находит в нем Осла и Ланье. Он возвращается и стучит в дверь; из слухового окошка безмятежно высовывается голова Жано в ватном колпаке. Полишинель заставляет его сойти вниз, вытаскивает Осла из конюшни и гонит их обоих,—из которых один сидит верхом на другом,—к мосту. Там они останавливаются. Ехать ли через мост? Или вернуться домой?

Осел (*в нерешительности*). Свернуть направо? Или налево?

Полишинель (*дает ему пинка в зад*). Гей!

Осел (*перейдя мост*). Благодарю! Теперь дорогу я избрал.

Полишинель. Вперед, свободный народ!

Во втором акте мы наблюдаем с пригорка, глазами насмешливого Полишинеля, шествие по дороге переселяющегося народа. В моих набросках 1913 года уже содержатся зарисовки силуэтов, составивших впоследствии причудливую и комичную процессию в «Лиллоли»: Вооруженный Мир; Человек без головы; Идущий Человек, символ слепой жизни; Разум с завязанными глазами; Амур, вполне зрячий, но лишенный мозга (разве он нужен, чтобы любить?); Господь бог, с запасом разных мундиров, которые он меняет сообразно тому, с кем встречается; Истина в костюме Арлекинки, наложница бога, которая ищет случая наставить ему рога. Наконец, весь сброд маленьких божков, которыми бедные глупцы стремятся обзавестись (у каждого свой!) из страха оказаться без бога...

Словом, все, что мы находим во второй редакции, кроме того, что принесла с собой война—кромe катастрофы и преступников, подготовивших ее.

* * *

Работа над этим планом, прерванная болтовней Кола, была возобновлена мною в августе 1915 года в Туне, затем в 1917 году в Женеве и в Вильнёве.

Момент классово́й борьбы были мною на этот раз отмечен. Реакционные партии, которые силою обстоятельств были

вынуждены, в первом акте, покинуть свою старую деревню и свой старый режим, чтобы устремиться со всей массой народа к будущему, во втором акте снова прибегают к своей тактике, чтобы остановить движение вперед. Они заключают тайное соглашение с реакционными партиями соседних городов, с тем чтобы направить оба народа по одному и тому же узкому пути, где им неизбежно придется столкнуться лбами, как баранам. Отсюда — война. Глупые народы позволяют себя увлечь в горное ущелье, где один преграждает другую дорогу. Они вступают врукопашную, тузят друг друга и валяются на дно оврага под поощряющими взорами своих эксплуататоров и старых богов. А тем временем в стороне от побоища, один против другого, но на приличном расстоянии, два хора интеллигентов обеих стран состязаются в силе голосовых связок и добродетельно журят дерущихся.

В начале третьего акта все оказываются у подножия скалистого обрыва, избитые, помятые, израненные, — горсточка оставшихся в живых, полных стыда, как лисица, пойманная курицей. Господь бог, руководитель свалки, сам изрядно в ней пострадал; его одежда превратилась в лохмотья, но он не утратил своей самоуверенности. Пока штопают на нем дыры, он пытается разыграть из себя доброго боженьку-миротворца, защитника всех народов, которых он вовлек в бойню. Но при первых же его лицемерных словах, обращенных к побитым народам, эти народы поднимаются против него с безмолвной угрозой. И он без лишних слов улепетывает. Тогда примирившиеся народы дружно избивают своих эксплуататоров, а затем снова двигаются вперед, но потеряв много времени и с поредевшими рядами.

* * *

В то время как я писал эту сатиру на Иллюзии, я был очень озабочен мыслью о том отрицательном действии, которое она могла бы произвести на сердца недостаточно закаленные или, вследствие горьких испытаний, слишком предрасположенные к нигилизму¹. Ибо я никогда не разру-

¹ Моя тревога была более чем основательна. Даже мои самые близкие французские друзья, даже те из них (столь немногие), которые почувствовали все значение «Лиллоли», как, например, Жан-Ришар Блок в своей статье о ней, вошедшей в его последнюю книгу «Судьба века», увидели в моем произведении только одно разрушение. Я вынужден был ответить (и Ж.-Р. Блок добросовестно воспроизвел мое письмо в примечании на стр. 244—245):

«Стойте! Не приписывайте мне чувства людей, тупую уверенность которых я хочу с силой расшатать! «Лиллоли», — говорите вы, — это судороги, в которых бьется верующий при виде развалин своей веры?» Эта вера, лежащая в развалинах, не есть моя вера. Моя вера пребывает в добром

шаю ради разрушения, но лишь для того, чтобы расчистить место для грядущего созидания. В одной моей заметке от конца сентября 1917 года я подчеркиваю обязанность «показать, что насмешка не порочит чистые и священные истоки Надежды». Лживой Иллюзии надо противопоставить Надежду, это пламя жизни; Господу богу — Прометея-победителя, оторвавшегося от своего утеса.

Одно время я даже думал написать Эпизод к Комедии, в котором оба плута,— разбитная субретка и старый метрдопель¹, лукавый и оборотливый Господь бог,— были бы разоблачены и выведены на чистую воду своими истинными господами, подобно Маскарило и Жоделе в «Смешных жеманницах».

В совершенно другом художественном плане я написал, в декабре 1917 года, несколько набросков к последнему акту «Прометея». Привожу здесь некоторые отрывки.

Сцена изображает огромную скалу в виде четырехгранного древнегреческого алтаря, на обрывистом склоне которого виднеется глубокая крестообразная борозда, словно отпечаток гигантского человеческого тела. Слева — густые тучи удаляющейся грозовой ночи. Справа — свежая и бледная лазурь дышащего лаской утра. По ступенькам, вырезанным в основании алтаря (или по лестнице, приставленной к кресту, как на антверпенском «Снятии с креста»), медленно спускается Прометей, опираясь на плечо Надежды. Его черты полны величавого спокойствия, как на изображениях Христа первых веков (например, на мозаиках церкви св. Пуденцианы). У подножия алтаря лежат обломки цепей, которые его сковывали. И боги, выстроившиеся в два ряда, склоняются. Кроме Гермеса с кадуцеем, который, выступив немного вперед и преклонив одно колено, ждет с поднятыми глазами приказаний владыки. Никакого мифического шаблона в лицах. Это стихийные силы, Духи природы. Прометей хорошо их знает.

здоровье. Она недорого стоила бы, если бы покоилась на полудюжине марионеток, называющихся: Господь бог, Право, Цивилизация, Свобода, и на прочей дешевке коммивояжеров демократии. Я показываю в «Лиллюли» Республику Иллюзии. Это иллюзорная Свобода, лживое Право, лицемерная и корыстная Набожность. Все это никак не затрагивает истинную справедливость, истинно божественное, героическую свободу. В моем замысле «Лиллюли» есть лишь сатирический акт в более обширной философской драме. Но мне захотелось дать его отдельно, чтобы люди сильнее почувствовали ожог от хлыста. Впрочем, вы можете заметить, что даже в самой Лиллюли одна вера осталась нетронутой — вера в нагую Истину:

— Будь покойна, кузиночка! На тебя надели намордник, тебе заткнули рот, но и сквозь повязку я слышу твои крики... Они заковали тебя в цепи, но они боятся своей пленницы... Будем же смеяться, кузиночка! Будем смеяться! Мы еще им покажем! — Р. Р.

¹ Здесь непереводаемая игра слов: *Maitre-Dieu* — господь бог, владыка бог; *maitre d'hôtel* — дворецкий, метрдопель, с которым созвучно *maitre d'autel* — владыка алтаря. — *Прим. перев.*

Прометей. ...Гибкие и лживые духи, вы не обманете меня. Теперь вы меня любите, потому что я оказался сильнее. Когда я был слабейшим, вы, лакеи более сильного, были против меня... Я не сержусь на вас; вы то, что вы есть: лишенные сердца, любви, ненависти. Вы существуете. Это хорошо. Вы принадлежите тому, кто вами владеет. Я владею вами... Я не нуждаюсь в вашей любви. Мне достаточно, чтобы вы были точным орудием, покорным велению моей руки. Природа, я не нуждаюсь в твоём сердце; в то место, где его нет у тебя, я вложу своё сердце. *(Он отстраняет льстецов и удерживает при себе лишь добрую подругу своих плохих дней, Надежду.)*

Гермес. Идем, владыка, вкусим плодов твоей победы, помчимся вперед, взлетим и завоюем небо! Куда ты идешь? Ты ошибся. Там земля.

Прометей. Ее хочу я видеть. Что случилось с ними?

Гермес. С кем?

Прометей. С теми, ради которых я был распят.

Гермес. С твоими людьми? То же, что было и тогда, когда ты распался с ними. Прошли века, а они по-прежнему копошатся, как черви, в своей навозной куче.

Прометей. Я вложил в их руки огонь.

Гермес. И они им обжигаются.

Прометей. Уйди!

Гермес. Осторожней! Не подходи к краю бездны! Небытие клокочет на дне ее, подстерегая добычу. Берегись! Зев пустоты впитывает в себя даже серебряные звезды неба. Посмотри, как дрожат звезды!

Прометей отталкивает его и наклоняется над бездной. Из глубины ее доносятся голоса.

Хор Нищеты. Зачем жить? Зачем ты заставил меня родиться? Я не хочу жизни. И не хочу смерти.

Прометей. И это всегда так?

Гермес. Всегда.

Прометей. К чему же я тогда умер ради них и к чему воскрес?

Гермес. Ни к чему. Ты спасся.

Прометей. Спаслись — значит ли это освободиться от скорби других?

Гермес. Конечно. Уйдем отсюда! *(Он отворачивается от пропасти и хочет удалиться.)*

Прометей *(хватает его за плечо, поворачивает и указывает на крутой скат у его ног)*. В бездну!

Гермес делает слабый протестующий жест, но затем, повинувшись взгляду Прометея, замолкает, склоняет голову и начинает спускаться. Прометей, держа за руку Надежду, подходит к краю бездны. Надежда отшатывается назад.

Прометей. Ты боишься, моя подруга? Ты колеблешься.
Надежда. Мы столько выстрадали, чтобы подняться сюда наверх. Неужели нужно все начать снова?

Прометей. Ничего не сделано, пока хоть один из них останется внизу.

* * *

Какова бы ни была ценность этого замысла, ясно, что он слишком противоречил общему духу сатиры, и потому я от него отказался.

В течение всего 1917 года я искал художественную форму, достаточно гибкую и широкую, чтобы вместить в себя смех и трагизм, мысль, фантазию и вихрь движущихся масс. Я колебался между романом вольтеровского типа, в соединении с театром свободных форм, и музыкальным театром, симфоническими прелюдиями и интерлюдиями, речитативом, ариями, дуэтами, трио, массовыми сценами. В конце концов я остановился на театральной форме, которая была новой в то время. На кинематографическом спектакле, рассчитанном на широкие движения толпы, процессии, битвы, с прологом, который произносит чтец, и интерлюдиями в виде диалога или пения. Мне рисовались на сцене две группы персонажей: на заднем плане — проходящие тени, разъясняемые чтецом, на просцениуме — говорящие персонажи.

Вот прелюдия, которую я задумал.

Перед поднятием занавеса слышится голос поющей Иллюзии.

По окончании ее песни занавес поднимается, и зритель видит следующее:

Посреди сцены — небольшой круглый зеленый холм, равномерно покрытый пучками травы и нарциссов, как на картинах кватрочентистов. На вершине его, на фоне бледного, зеленовато-голубого неба, усеянного звездами, сидит молодая женщина в черной полумаске, скрестив под собой ноги, наклонившись корпусом вперед, опустив правый локоть на левую ладонь и приложив ко рту указательный палец правой руки. Над ее головой прикрепленные к небосводу на серебряных нитках звезды опускаются и поднимаются, как пауки, образуя в своей пляске венец, вращающийся вокруг белокурых волос юной Иллюзии. Невидимая музыка.

У подножия холма, в правом углу сцены — Жано Ланье, возле своего осла, щиплющего травку, перекапывает поле, не глядя по сторонам; в левом углу — Полишинель, изогнувшись и опершись на свою палочку, смотрит на публику.

После того как невидимая музыка замолкла, Полишинель представляет зрителям трех чудаков — Жано, Лилюли и самого себя. Пока он говорит, звезды оплетают его своей паутиной; заметив это лишь тогда, когда они всего его облепили, он отстраняет их и переходит на другое место, продолжая говорить и не замечая, что они следуют за ним. Когда, окончив свою речь, он уходит, он уносит с собой несколько звезд, прицепившихся к его палочке или усевшихся на его горб. Но Жано не обращает внимания ни на музыку, ни на красавицу, ни на буффонаду, ни на звезды; когда звезды опускаются к нему на нос, он спокойно снимает их и бросает в борозды. Одна из них качается, в виде огромного чертополоха, перед ослом, который съедает ее.

Пролог заканчивается музыкой и пением, так же как начался ими. Занавес опускается.

Когда он поднимается снова, пейзаж уже исчез. В глубине сцены водружен экран, на котором появляются кинематографические картины. На другом конце зала, рядом с прожектором, помещается невидимый для публики чтец, который начинает говорить.

* * *

Следует напомнить нынешнему читателю, что все эти проекты возникли у меня в год войны, среди лихорадочного возбуждения мысли, когда ежедневно сшибались между собою громовые события и яростные страсти мира. Моя паутина ежеминутно разрывалась ураганами.

Мне пришлось отказать от мысли растянуть ее на четыре конца сцены. Я ограничился одним ее углом; и там, крепко примостившись, я построил свою «Лилюли». Она была написана единым духом в полиритмической, полной ассонансов, форме «Кола Брюньона»; но музыка ее богаче, увереннее, содержит больше оттенков.

24 марта 1918 года я отметил в своем «Дневнике», что пьеса закончена среди жестокой бури. Последний вихрь немецкого натиска обрушился на Пикардию. Началась бомбардировка Парижа. 29 марта Пьер и Люс пали под обломками колонны церкви Сен-Жерве. Лилюли пела свое победное

«тюрлюютю» над обрушившейся горой. Внизу лежали любовь, вера и героизм. Лежали также ненависть и гнев. Весь старый мир. Но, несмотря на последние строки, уцелел свободный Смех. И Истина уцелела тоже. Она не может умереть. Вдвоем они отстоят мир на развалинах.

Я был тогда так преисполнен этих двух сил, так убежден, что их целительное дыхание может оздоровить отравленный воздух, что, едва закончив «Лилюли», я задумал ряд других пьес в аристофановском духе, одна из которых, намеченная в общих чертах уже летом 1918 года, — «Дикэ Дондэн», — являлась сатирой на Правосудие, Дикэ, легкомысленную и ветреную деву, рабыню и возлюбленную старого хрыча, царя Мидаса. Этот фарс с хорами на античный лад (один из них назывался хором Мух-шпионки) требовал сцены вроде той, которая применялась в театре средневековых мистерий, с четырьмя отделениями, то сообщающимися между собою, то замкнутыми одно для другого. Он был мною озаглавлен «Друзья Народа» и заканчивался ударом революционной метлы, но в стиле фламандских ярмарок, на манер «Гаргантюа».

Мне нужен был особенный театр, труппа, постановщик — молодой и смелый, чтобы замесить мое тесто и хорошо выпечь его. Я призывал их, ждал; я мечтал о тех изумительных русских труппах, довоенные спектакли которых в Париже были для меня живой — огненной — водой.

Для них или для подобных им была написана «Лилюли»...¹ Но в СССР разыгрывалась в ту пору, на более реальной сцене, трагикомедия гораздо более великого значения. А Запад, этот большой пес, вернулся к своей блевотине. Он убегал от всего здорового, народного, как от болезни. И снова, как в 1900 году, когда я хотел создать Народный театр, художественной почвы — самого Народа — я не нашел. Народ послевоенного периода, измученный, обманутый, с ощущением горечи во рту, отрекся; он всасывал в себя наркотики, поддельные ликеры, которыми угощали его отравители, творцы победы. Лишь один народ бодрствовал, за всех творя дело, от которого другие уклонились: дело Октября, в Ленинграде и Москве, — это были строители нового мира. Создавая общество заново, они созидали также и новое искусство. Лишь

¹ Я должен протестовать здесь против попыток, которые делались и, может быть, будут делаться, поставить «Лилюли» в каком-нибудь интимном театре для горсточка утонченных любителей. Все мои пьесы (кроме «Аэрта») написаны для театра масс, с расчетом на монументальное зрительное и оптическое воздействие. Это фрески. Низвести их до размеров станковой живописи значило бы их исказить. — Р. Р.

впоследствии из прекрасной книги Нины Гурфинжель («Современный русский театр», 1931) я узнал об экспериментальных исканиях, о театре народных масс на открытом воздухе, самым изумительным цветением которого — цветением варварским, беспорядочным, но захватывающим — были празднества Революции в 1920 году, в Ленинграде. Когда я читал описание их, руки у меня горели. Зачем мне не дано было принять в этом участие! Впрочем, не беда... «Был бы монастырь, а монахи найдутся»... Я слышу колокола и гудки заводов. Симфония народов гремит вовсю. Я прошу для себя места в ее оркестре, куда я приношу с собой колокольчики Полишинеля и смеющуюся песнь Лилюли.

Ромен Роллан

11 ноября 1931.



ШЕР И ЛЮС



AMORI

ЛЮБВИ

Pacis Amor Deus.

Propercius

Мирно любви божество.

Проперций





Перевод
И. ГРУШЕЦКОЙ



Продолжительность действия: вечер
среды 30 января—страстная пятница 29
марта 1918 года.



ьер ворвался в метро. Грубая, возбужденная толпа. Стоя у входа, в плотной толще человеческих тел, он дышал воздухом, спертым от дыхания множества людей, и смотрел невидящим взором на темные гулкие своды, по которым скользили огненные зрачки поезда. В душе у него были те же тени,

те же резкие вспышки света. Задыхаясь в поднятом воротнике пальто, не в силах пошевелиться, стиснув губы и чувствуя, как его влажный от испарины лоб охлаждаются порою клубы ледяного воздуха, врывающегося в двери на остановках, он старался не видеть, не дышать, не думать, не жить. Смутная тоска наполняла сердце этого восемнадцатилетнего юноши, почти ребенка. Там, высоко, над этими черными сводами, над этой кротовой норой, где проносилось металлическое чудовище, кишевшее личинками—людьми, был Париж, снег, холодный январский вечер, кошмар жизни и смерти—война.

Война. Вот уже четыре года, как она вторглась сюда. Она легла тяжким гнетом на его отрочество. Она застигла его в том переходном возрасте, когда юноша, встревоженный пробуждением неведомых дотоле чувств, в испуге обнаруживает, что стал добычей звериных, слепых, разрушительных сил жизни, хотя он ничего еще не просил от нее. Если это, подобно Пьеру, хрупкий мальчик с нежной и впечатлительной душой, он, никому не решаясь признаться, испытывает отвращение и ужас перед грубостью, нечистоплотностью, бессмысленностью плодovitой и ненасытной природы—этой вечнородящей свиньи, пожирающей свой приплод. В каждом юноше шестнадцати—восемнадцати лет есть частица души Гамлета. Не требуйте от него понимания войны! (В этом разбирайтесь вы, умудренные опытом люди.) Ему и без того трудно понять и оправдать жизнь! Обычно юноша весь уходит в мечты и в искусство, пока не освоится со своим новым состоянием и куколка не завершит своего мучительного перехода от личинки к насекомому. Как нуждается он в покое и сосредоточенности в эту смутную апрельскую пору созревания души! Но его находят в его тайном убежище и, такого беззащитного в новой, еще не затвердевшей оболочке, вытаскивают из тени и

бросают на резкий свет, в самую гущу грубой человеческой толпы, где он, ничего не понимая, немедленно должен приобщиться к ее безумствам и ненависти и, так же ничего не понимая, расплачиваться за них.

Пьер был призван вместе со своими ровесниками, восемнадцатилетними юношами. Через полгода родине понадобится его жизнь. Этого требовала война. Полгода отсрочки! Полгода. Ах, если бы не думать об этом до той поры! Оставаться в своем подземелье! Не видеть жестокого света дня...

Мысль Пьера, подобно убежавшему поезду, углублялась во тьму; он сомкнул веки...

Когда он снова открыл глаза, в нескольких шагах от него, отделенная двумя случайными попутчиками, стояла только что вошедшая девушка. Ему был виден лишь тонкий профиль, затененный полями шляпки, белокурый завиток у нежной щеки, блик света на скуле, изящная линия носа и вздернутой верхней губки, рот, приоткрытый частью дыханием. Сквозь его широко раскрывшиеся глаза, словно в распахнутую дверь она вошла в его сердце, вошла вся целиком; и дверь захлопнулась. Житейский шум умолк. Тишина. Покой. Она была в нем.

Она не смотрела на него. Она даже не знала еще, что он существует. Но она уже была в его сердце! Он держал в своих объятиях ее безмолвно прильнувший к нему образ и боялся дышать, чтобы не спугнуть ее своим дыханием...

На следующей станции — замешательство. Люди с криком ринулись в переполненный вагон. Волна человеческих тел подхватила и отбросила Пьера. Над сводами, над городом, где-то там, в вышине, слышались глухие разрывы. Поезд снова тронулся. И в это мгновение какой-то словно обезумевший человек, сбегавший, закрыв лицо руками, по станционной лестнице, вдруг скатился вниз... Еще успели увидеть кровь, сочившуюся между пальцами... И снова туннель и мрак... В вагоне крики ужаса: «Готы, готы!...»¹ В общем смятении, слившем всех этих людей в одно целое, Пьер схватил прикоснувшуюся к нему руку и, подняв глаза, увидел, что это была — Она.

Она не отстранилась. Ее взволнованные пальцы судорожно сжали схватившую их руку, а потом медленно отдались пожатием, — мягкие, горячие, успокоенные. Так стояли они под покровом мрака, и руки их, точно две птички в одном гнезде, прижались друг к другу; сквозь горячие ладони единым током

¹ Тип немецких аэропланов, бомбардировавших Париж в 1918 году.— *Прим. ред.*

текла кровь их сердец. Они не обменялись ни словом. Не пошевелинулись. Его губы почти касались завитка волос на ее щеке, кончика уха. Она не смотрела на него. На второй остановке она отняла свою руку—Пьер ее не удерживал,—скользнула в толпе, ушла, так и не бросив на него взгляда.

Когда она исчезла, Пьер спохватился... Поздно. Поезд уже тронулся. На следующей станции он вышел на улицу. Тот же вечерний сумрак, то же незримое касание редких перышек снега, и Город, еще испуганный, но уже готовый улыбнуться. В вышине все еще парили птицы войны. Но Пьер не видел ничего, кроме той, которая вошла в его сердце; и он вернулся домой, рука об руку с незнакомкой.

Пьер Обье жил со своими родителями недалеко от сквера Клюни. Отец его был судьей; брат—шестью годами старше—с первых же дней войны ушел добровольцем. Истинно французская добропорядочная буржуазная семья, почтенные; добросердечные, прекраснодушные люди, ни разу в жизни не дерзнувшие высказать собственное суждение и, по всей вероятности, даже не подозревавшие о такой возможности. Неподкупно честный, проникнутый сознанием высокого значения обязанностей председателя суда, г-н Обье счел бы себя смертельно оскорбленным, если бы кто-нибудь заподозрил, что его приговоры могут быть продиктованы иными соображениями, чем те, которые внушают ему требования справедливости и голос совести. Однако его совесть никогда не высказывалась против правительства, даже шепотом. Она была прирожденным чиновником и всецело подчинялась официальным государственным установлениям, которые, даже меняясь, остаются непогрешимыми. Власть предержащая в глазах г-на Обье была чем-то святым и непреложным. Он искренне восхищался как бы отлитыми из бронзы душами великих судей прошлого, независимых и непреклонных, и, быть может, втайне считал себя их преемником. Это был совсем маленький Мишель де л'Опиталь, на которого столетие служения Республике наложило свой отпечаток. Что до г-жи Обье, то она была в такой же мере доброй христианкой, в какой ее муж добрым республиканцем. И, подобно тому как ее прямодушный, неподкупный супруг соглашался быть послушным орудием правительства против всякой незаконной свободы, она, в простоте душевной, присоединяла свои молитвы к человекоубийственным молениям, возносимым во имя войны во всех странах Европы католическими священниками и протестантскими пасторами, раввинами и попами, газетами и всеми благомыслящими людьми того времени. Оба

они — отец и мать — обожали своих детей, как истые французы, только к ним и питали глубокое, настоящее чувство, готовы были всем пожертвовать ради них, но, чтобы не отставать от других, не задумываясь, приносили их в жертву. Кому? Неведомому божееству. Во все времена Авраам отдавал Исаака на заклание. И это прославленное в веках безумие не перестало служить примером несчастному человечеству.

В их семейном кругу, как это случается нередко, было много любви, но не было душевной близости. Да и возможен ли свободный обмен мыслями там, где не пытаются разобраться в своих собственных? Что бы вы ни думали, вы обязаны уважать известные догматы; и если вас стесняют, даже те из них, которые остаются в своем строго очерченном кругу (а именно относящиеся к потустороннему миру), то что же сказать о тех, которые, подобно обязательным гражданским догматам, стремятся вмешиваться в жизнь, всецело руководить ею! Попробуйте-ка позабыть о догмате родины. Новая религия возвращала нас ко временам Ветхого завета. Она уже не довольствовалась благочестивым лепетом и бесхитростными обрядами, в какой-то мере полезными, хотя и смешными, как исповедь, пост по пятницам, воскресный отдых, которые навлекали на себя едкие насмешки наших «философов» в те времена, когда народ был свободен — при королях. Новой религии требовалось все, на меньшее она не соглашалась: весь человек, — его плоть, его кровь, его жизнь и помыслы. И прежде всего его кровь. Никогда еще со времен мексиканских ацтеков божеество не было столь кровожадным. Было бы глубоко несправедливо утверждать, что верующие от этого не страдали! Они страдали, но все же верили. О люди, мои бедные братья, для вас и страдание — доказательство божественного промысла! Г-н и г-жа Обье страдали, как и другие, и, как и другие, поклонялись божееству. Но нельзя же было требовать такого отречения от сердца, от чувств, от здравого смысла у подростка. Пьеру хотелось хотя бы разобраться в том, что его угнетало; но он не дерзал высказать ни одного из сжигавших его существо сомнений, ибо все они начинались словами: «Но если я в это не верю?» — что уже было кощунством. Нет, он не мог говорить. Они воззрились бы на него с изумлением, со страхом, с негодованием, стыдом и болью. И так как Пьер был в том восприимчивом возрасте, когда нежная, еще не окрепшая оболочка души поддается малейшим дуновениям жизни и, трепеща под ее легкими перстами, обретает законченную форму, то ему уже заранее становилось и грустно и неловко. О, до чего сильна была их вера! (Но так ли уж сильна?) И как это им удавалось? Спросить об этом было нельзя. Но когда среди верующих один не верит, он подобен человеку, лишенному какого-то чувства,

быть может и ненужного, но присущего всем остальным; и он, краснея, сторонится других.

Понять тревогу Пьера мог бы только его старший брат. Пьер обожал Филиппа, как часто обожают младшие (ревниво оберегая свою тайну) старших — брата или сестру, случайного знакомого, порой даже мимолетного спутника, уже скрывшегося из виду, всех, кто олицетворяет в их глазах образ того, кем они хотели бы стать и кого они одновременно хотели бы любить. Целомудренный, но уже смутный жар души — предвестник будущих противоречивых страстей! Старший брат замечал это наивное обожание, и оно льстило ему. В ту пору он старался читать в сердце Пьера и многое осторожно объяснял ему: хотя и более мужественный, чем Пьер, он был человеком того же склада; эти достойнейшие из мужчин, сохраняя в душе женскую мягкость, не стыдятся этого. Но пришла война и оторвала его от привычного труда, от занятий наукой, от его мечтаний двадцатилетнего юноши, от дружеской близости с младшим братом. В самозабвенном опьянении первых дней войны он бросил все и, подобно большой птице, ринулся в даль, ослепленный героическим и нелепым упованием, что своими когтями и клювом он покончит с войной и восстановит на земле мир. С тех пор эта птица два-три раза возвращалась в гнездо, с каждым разом, увы, все более пощипанной. Он расстался со многими иллюзиями, но говорить об этом ему было тяжело. Ему было стыдно, что он верил во все это. Как глупо было не разглядеть подлинный лик жизни! Теперь он с ожесточением стремился разбить все прежние иллюзии и стоически принять жизнь, какой бы она ни была! Он бичевал не только самого себя; с болезненным раздражением ополчался он на подобные же юношеские иллюзии, которые он находил в душе своего брата. Когда, в первый приезд Филиппа, Пьер бросился к нему, стораю от желания раскрыть перед ним свое замурованное сердце, его сразу же охладило обращение старшего брата, правда по-прежнему ласковое, но с оттенком какой-то горькой иронии. Вопросы, готовые сорваться, замерли на устах Пьера. Филипп, угадывая их, одним небрежным замечанием или взглядом обрывал его на полуслове. После двух-трех попыток Пьер, душевно раненный, ушел в себя. Он не узнавал больше брата.

Зато Филипп слишком хорошо узнавал его. Он узнавал в нем себя самого, каким он был еще недавно и каким никогда уже не будет. И за это он мстил брату. Затем он раскаивался, но не подавал вида и продолжал в том же духе. Оба страдали, и, как это часто бывает в жизни, их общее страдание, вместо того чтобы сблизить, отчуждало их. Но в их положении была некоторая разница: Филипп знал, что они страдают вместе, а

Пьер думал, что страдает в одиночестве и нет друга, которому он мог бы открыться.

Почему же не обратился он к своим сверстникам, к школьным товарищам? Казалось бы, этим мальчикам следовало теснее сплотиться, искать взаимной поддержки? Но этого не было. Наоборот, обстоятельства роковым образом отдаляли их друг от друга и заставляли держаться небольшими группами и, даже внутри этих групп, замыкаться и обособляться. Самые недалекие из них вслепую, очертя голову бросились в водоворот войны. Но большинство стояло в стороне и не чувствовало никакой связи со старшим поколением; они совсем не разделяли их страстей, надежд и ненависти и смотрели на их фанатические действия, как сохранившие трезвость смотрят на пьяных. Но что могли они сделать? Некоторые пытались выпускать небольшие политические «ревью», но цензура душила их, не давала им дышать, и они угасали на первых номерах. Вся мыслящая Франция задыхалась от недостатка воздуха, словно под стеклянным колпаком. Самые достойные из этой молодежи, слишком слабые, чтобы бороться, и слишком гордые, чтобы жаловаться, знали, что нож войны уже занесен над ними. Ожидая своей очереди идти на бойню, они издали наблюдали все происходящее и молча, каждый про себя, выносили свою оценку, полную иронии и презрения. Из духа противоречия жалкому стадному чувству они культивировали своеобразный умственный и художественный эгоизм и идеалистический сенсуализм, где преследуемое «я» отстаивало свои права, не желая единения с человечеством. Это пресловутое единение представляло перед подростками лишь как совместно содеянное и совместно пережитое убийство. Прежвременный опыт развеял их иллюзии: они познали цену этим иллюзиям на примере старших, которые, утратив их, тем не менее платили за них кровью. Было поколеблено даже их доверие к сверстникам, да и вообще к человеку. Вдобавок в те времена доверчивость обходилась дорого. Что ни день — новый донос: беседы в дружеском кругу, угаданные мысли — все получало огласку, а усердие шовинистически настроенного шпиика награждалось и поощрялось правительством. И все вместе взятое — уныние, презрение, осторожность, стоическое сознание своего духовного одиночества — не располагало этих молодых людей к откровенности.

Пьер не мог найти среди них Горацио, которого страстно ищут юные, восемнадцатилетние Гамлеты. Ему претило отдавать свои мысли на суд общественного мнения (этой публичной девки), но он жаждал свободно поделиться ими с избранным другом. Его слишком нежное сердце тяготилось одино-

чеством. Он страдал от страданий всего человечества. Оно сокрушало его бременем горя, тяжесть которого он преувеличивал: ведь как бы там ни было, человечество несет его, стало быть шкура у него грубее, чем тонкая кожа еще не возмужавшего юноши. Но то, чего он не преувеличивал, то, что угнетало его сильнее, чем всемирное страдание,— было всеобщее отупение.

Нестрашно страдать, нестрашно умереть, когда видишь в этом смысл. Жертвовать собой прекрасно, когда знаешь, ради чего. Но какой смысл в глазах юноши может иметь мир, раздираемый распрями? Чем может привлечь честного и духовно здорового юношу грубая схватка народов, сцепившихся, как бараны над пропастью, куда им всем предстоит рухнуть? Между тем дорога достаточно широка для всех. Откуда же эта жажда самоистребления? Для чего эти гордые собой отечества, эти государства, живущие грабежом, эти народы, которым внушают, что их долг убивать? Для чего это всемирное побоище? Это взаимопожирание живых существ? Для чего эта кошмарная, нескончаемая, чудовищная цепь жизни, каждое из звеньев которой вонзает зубы в затылок соседа, насыщается его плотью, наслаждается его муками и на его смерти созидает свою жизнь? Для чего эта борьба, для чего эти муки? Для чего смерть? Для чего жизнь? Для чего? Для чего?

Когда сегодня вечером юноша вернулся домой,— «для чего» молчало.

Между тем все как будто было по-прежнему. Он у себя в комнате, заваленной книгами и бумагами. Вокруг — знакомые звуки: на улице сирена возвещает конец воздушной тревоги; на лестнице, возвращаясь из подвала, оживленно болтают соседи, этажом выше ходит и ходит из угла в угол старик, все поджидая сына, без вести пропавшего вот уже несколько месяцев. Но тревога, притаившаяся здесь, когда он уходил, исчезла.

Иногда неполный аккорд, резнув слух, оставляет душу в смятении, пока не прибавится нота, которая объединит враждебные или просто равнодушно-чуждые элементы, подобные не знакомым еще между собою гостям, ожидающим, чтобы их представили друг другу. Но вот лед разбит, и гармония течет, охватывая ваше существо. Такого рода химическое превращение произошло в душе Пьера это теплое мимолетное прикосновение. Пьер не отдавал себе отчета, не задумывался, почему произошла эта перемена; он только чувствовал, что всегдашняя враждебность окружающего мира вдруг смягчилась. Часами изводит вас острая головная боль; и вдруг вы замечаете, что ее уже нет; как случилось, что она вас

отпустила? Только чуть-чуть еще стучит в висках, напоминая о ней. Пьер отнесся недоверчиво к этому внезапному успокоению. Он боялся, что боль утихла лишь на время, коварно притаясь, чтобы потом разразиться с новой силой. Он знал, какое умиротворение дарит нам искусство. Когда наши глаза радуется божественная соразмерность линий и красок и наш чуткий слух ласкают дивные переливы многозвучных аккордов, рассыпаясь и сливаясь согласно законам гармонических чисел,— нас объемлет мир и затопляет блаженство. Но это озарение нисходит на нас откуда-то извне; как бы от далекого солнца, в лучах которого, замороженные, мы парим над жизнью. Это длится недолго — и мы снова падаем на землю. Искусство — лишь мимолетное забвение действительности. И Пьер боязливо ждал, что все это пройдет. Но нет, на этот раз излучение шло из глубины души. Ничто житейское не было забыто. Но все было в согласии: воспоминания, и новые мысли; и все окружающее — предметы, книги, бумаги — как бы оживало, становилось интересным, чего давно уже не было.

Уже несколько месяцев его умственный рост был скован, подобно юному деревцу, в полном цвету побитому дыханием «ледяных святых». Пьер не принадлежал к тем практическим юнцам, которые, пользуясь университетскими льготами для юных призывников, ожидающих дня мобилизации, спешили приобрести диплом под снисходительным взглядом экзаменаторов. Не владела им и бессмысленная жадность, с какой многие, в предчувствии близкой смерти, захлебываясь, глотали знания, уже ни на что им не нужные. Всегдашнее ощущение пустоты там, в конце, как и здесь, под ногами, — пустоты, прикрытой жестокими и обманчивыми иллюзиями жизни, сдерживало все его порывы. Он увлекался какой-нибудь книгой, предавался размышлениям, — и вдруг остывал, охваченный безнадежностью. На что ему все это? Для чего учиться? Для чего обогащать себя, если придется все потерять, все бросить, если ничто вам не принадлежит? Чтобы видеть смысл в какой-нибудь деятельности или науке, надо видеть смысл и в самой жизни. Ни усилия ума, ни мольбы сердца не помогали ему обрести этот смысл... И вот он появился неожиданно сам собой... Жизнь приобрела смысл...

Почему? И, гадая, что же вызвало эту улыбку души, он увидел полуоткрытые уста, к которым жаждали прильнуть его губы.

В обычное время очарование этой безмолвной встречи, вероятно, вскоре развеялось бы. В пору юности, когда вы влюблены в любовь, она глядит на вас изо всех очей;

непостоянное сердце жаждет вкусить ее и здесь и там; ничто не торопит его сделать выбор: заря еще только занимается.

Но нынешний день будет краток: нужно спешить.

Сердце юноши рванулось вперед с тем большей стремительностью, что оно уже запаздывало. В больших городах, что издали кажутся вулканами, окутанными дымом сладострастия, таятся девственно-свежие души и не тронутые тела. Сколько там юношей и девушек свято чтут любовь и берегут в ожидании брака свежесть и чистоту чувств! Даже в утонченно культурной среде, где любопытство преждевременно разбужено воображением, сколько забавного неведения скрывается под вольными речами светской девушки или студента, который все знает, но ничего не познал! В сердце Парижа есть наивные, провинциальные уголки, монастырские садики, чистые родники. Париж оклеветан своей литературой. От его имени говорят самые порочные. К тому же, как всем хорошо известно, из ложного представления об уважении к людям целомудренные юноши нередко скрывают свою невинность. Пьер еще не вкусил любви и готов был послушаться ее первого зова.

Очарование его мечты было тем сильнее, что любовь родилась под крылом смерти. В минуту смятения, когда они почувствовали над собой нависшую угрозу, когда их сердца дрогнули при виде окровавленного, искалеченного человека, их руки соединились; и оба в этот миг почувствовали сквозь дрожь страха ласковое утешение незнакомого друга. Мимолетное пожатие! Мужская рука сказала: «Обопрись на меня!» — а другая, материнская, поборов свой страх, шепнула: «Дитя мое!»

Слова эти не были произнесены вслух, не были услышаны. Но такой глубинный шепот понятен душе лучше слов — лиственной завесы, что заслоняет мысль. Пьера убаюкивало это жужжанье; точно поет золотистая оса, кружа в полумгле сознания. В непонятной истоме дремало время. Одинокое, бесприютное сердце мечтало о теплом гнездышке.

В первые дни февраля Париж подсчитывал разрушения от последнего воздушного налета и зализывал раны. Печать в своей конуре заливалась лаем, требуя репрессий. По словам «Человека, который сажал на цепь»¹, правительство объявило французам войну. Открывался сезон процессов об измене. Муки несчастного, защищающего свою жизнь, на которую предъявлял права общественный обвинитель, забавляли весь Париж, чью жажду зрелищ не могли утолить ни ужасы

¹ Намек на Клемансо, ставшего премьер-министром в конце 1917 года. — *Прим. ред.*

четырёхлетней войны, ни десять миллионов безвестно погибших жизней.

Но юноша был всецело занят таинственной гостьей, посетившей его. Поразительна яркость любовных образов, запечатленных в памяти и в то же время лишенных четкости! Пьер не мог бы сказать, какое у нее лицо, цвет глаз, рисунок губ; в душе сохранилось одно лишь волнующее впечатление. Тщетно силился он воспроизвести ее черты — они являлись ему всё иными. Так же безуспешно искал он ее по улицам города. Он поминутно обманывался: ее улыбка, белокурый локон на затылке, блеск глаз... и кровь прилиwała к сердцу. Но нет, у этих мимолетных видений не было ничего общего с тем девическим образом, который он искал, думая, что любит. Но любил ли он? В том-то и дело, что любил; потому и видел повсюду, в каждом облике. Ведь вся она — улыбка, вся — сияние, вся — жизнь. А точный рисунок определяет границы. Но эта определенность нужна, чтобы обнять любовь и завладеть ею.

Если не дано ему будет снова ее увидеть, он все же знает, что она есть, она есть, и она — гнездышко. В бурю пристань. Маяк в ночи. *Stella Maris, Amor.* Любовь, поддержи нас в час смертный!..

Пьер брел по набережной Сены, мимо Института; он находился у лестницы моста Искусств, рассеянно глядя на выставку книг одного из букинистов, оставшихся на своем посту; подняв глаза, он вдруг увидел ту, которую ждал. С папкой для рисунков в руках она легко, как лань, сбегала по ступеням. Он не раздумывал ни секунды: он устремился навстречу девушке, спускавшейся по лестнице, и взоры их впервые встретились и проникли вглубь души. Поравнявшись с девушкой, Пьер остановился, невольно краснея. От неожиданности, видя его смущение, она тоже покраснела. Не успел он перевести дыхание, как легкие шаги лани стихли. И когда он снова пришел в себя и оглянулся, ее пальто уже мелькнуло у поворота аркады, выходящей на улицу Сены. Ему и в голову не пришло догонять ее. Перегнувшись через перила моста, он видел ее взгляд в речных струях. На время его сердцу хватит пищи... (О, милые, глупые дети!)...

Спустя неделю он бродил по Люксембургскому саду, напоенному золотистой негой солнца. Какой лучезарный февраль в этом мрачном году! Влюбленный, погруженный в свои грезы, не зная, грезится ли ему то, что он видит, или он видит то, о чем грезит, счастливый и несчастный в своем страстном томлении, согретый любовью и солнцем, он улы-

бался, гуляя, рассеянно глядя перед собой на песчаную дорожку, и губы его невольно шевелились, произнося какие-то несвязные слова, что-то похожее на песнь. И вдруг словно крыло голубя задело его на лету — он почувствовал чью-то улыбку. Пьер обернулся и увидел, что мимо него прошла она; в ту же минуту и девушка на ходу обернулась и, улыбаясь, посмотрела на него. Не размышляя, он рванулся к ней в таком юношески-простодушном порыве, что и она невольно остановилась. Он не извинился. Ни он, ни она не чувствовали никакой неловкости. Они как бы продолжали давно начатый разговор.

— Вы смеетесь надо мной,— сказал он,— и вы, конечно, правы.

— Я вовсе не смеюсь над вами. (В ее голосе были те же легкость и живость, что и в походке.) Вы улыбались своим мыслям, и мне стало смешно, глядя на вас.

— Неужели я улыбался?

— Вы и сейчас улыбаетесь.

— Но теперь-то я знаю почему.

Она не спросила. Они пошли рядом, счастливые.

— Солнышко какое славное,— сказала она.

— Это рождение весны!

— Не ей ли вы посылали ваши нежные улыбки?

— Не только ей. Может быть, и вам.

— Вот лгунишка! Противный! Вы же со мной не знакомы.

— Разве можно так говорить! Мы ведь сколько уж раз встречались!

— Всего три... считая и сегодня.

— А-а, вы помните! Вы сами видите, что мы старые знакомые!

— Рассказывайте!

— А я только этого и хочу... но давайте присядем на минутку, пожалуйста! Здесь у воды так хорошо!

(Они стояли у фонтана Галатеи. Каменщики накрывали его брезентом, оберегая от повреждений.)

— Я не могу, я пропущу трамвай...

Она сказала время отхода загородного трамвая. Он возразил, что в ее распоряжении еще целых двадцать пять минут.

Да, но ей надо купить чего-нибудь на завтрак: тут на углу улицы Расина продают очень вкусные хлебцы. Пьер вынул из кармана свежий хлебец.

— Вот такой? Не хотите ли попробовать?..

Она засмеялась в нерешительности. Пьер вложил хлебец ей в ладонь и задержал ее руку.

— Вы мне доставите большое удовольствие! Пойдемте же присядем! — Он повел ее к скамейке в аллее, огибавшей бассейн.

— У меня есть еще и это...

Он вынул из кармана плиточку шоколада.

— Ну и лакомка! Чего только у него нет!

— Но я не смею предложить... Он не завернут.

— Давайте, давайте... Время военное!

Пьер смотрел, как она грызла шоколад.

— В первый раз чувствую, что и в войне есть что-то хорошее.

— Не будем говорить о ней! Только тоску наводит!

— Да,— подхватил он с воодушевлением,— не надо о ней говорить.

И вдруг стало легко-легко дышать.

— Смотрите-ка,— воскликнула она,— воробьи купаются!

(Она указала на птичек, плескавшихся в бассейне.)

— Значит, в тот вечер (он продолжал думать о своем), там, в метро, вы все же заметили меня, скажите?

— Конечно.

— Но вы даже ни разу на меня не взглянули, вы все время стояли отвернувшись... вот как сейчас...

(Он видел ее в профиль, как она ела хлебец и глядела перед собой, лукаво щурясь.)

— Ну, повернитесь ко мне... Что вы там увидели?

Она не повернула головы. Он взял ее правую руку; из дырочки на перчатке выглядывал кончик указательного пальца.

— На что вы смотрите?

— На вас, как вы разглядываете мою перчатку... Пожа-луйста, не порвите ее еще больше!

(В рассеянности он щипал разорванный палец перчатки.)

— Ах, простите! Как это вы увидели?

Она не ответила; но, взглянув на ее лукавый профиль, он заметил краешек смеющегося глаза.

— Вот плутовка!

— Это же очень просто... все так делают...

— А я не могу.

— А вы попробуйте!.. Скосите глаз.

— Нет, я так не умею... Я вижу только, когда смотрю прямо перед собой, как дурак...

— Да вовсе не как дурак!

— Наконец-то! Вот теперь я вижу ваши глаза. Они глядели друг на друга, ласково посмеиваясь.

— Как вас зовут?

— Люс.

— Какое красивое имя, светлое, как этот денек.

— А ваше?

— Пьер. Самое обыкновенное.

— Очень хорошее имя, у него такие ясные, честные глаза...

— Как у меня.

— Что они ясные— это правда.

— А все потому, что они смотрят на Люс.

— Люс! Надо сказать «мадемуазель».

— Нет!

— Нет?

(Он покачал головой.)

— Вы не «мадемуазель». Вы— просто Люс, а я— Пьер.

Они держались за руки. Устремив глаза в небо, кротко синевшее меж голых древесных сучьев, они замолчали. Они не глядели друг на друга, но мысли, их волновавшие, передавались через пожатые руки.

Она сказала:

— В тот вечер нам было страшно.

— Да,— подхватил он,— было хорошо.

(Позднее они невольно улыбнулись, вспоминая этот разговор: оба в ту минуту, конечно, думали об одном.)

Вдруг она выдернула руку. Били часы.

— Ах! Я опоздаю...

Они пошли вместе. Люс шла быстрой, легкой походкой парижаночки, которая и в спешке не теряет присущего ей изящества.

— Вы часто здесь бываете?

— Каждый день. Но почти всегда на той стороне площадки. (Она указала на сад, на купу деревьев, точно с гравюры Ватто.) Я возвращаюсь из музея.

(Он посмотрел на ее папку.)

— Вы художница?— спросил он.

— Нет,— ответила она,— для меня это слишком громко.

Так, мазилка...

— Но зачем же? Для развлечения?

— О, конечно нет. Чтобы заработать.

— Заработать?

— Ну да! Как дурно, не правда ли, заниматься живописью для заработка?

— Нет, это скорее странно— зарабатывать деньги, не умея рисовать.

— Однако это так. Я вам объясню в следующий раз.

— В следующий раз мы опять позавтракаем у фонтана.

— Пожалуй, если будет хороший денек.

— Но вы придете пораньше? Хорошо? Ну скажите, Люс?

(Они дошли до трамвайной остановки. Она вскочила на подножку вагона.)

— Ну, скажите... ответьте мне... милый мой лучик!

Девушка не отвечала, но, когда тронулся трамвай, она прикрыла веки, и по одному лишь движению ее губ он угадал ответ:

— Да, Пьер.

По дороге домой оба изумлялись:

— Удивительно, какие все радостные сегодня...

И сами улыбались, не пытаясь разобраться в том, что произошло; но они знали, что у них *что-то* есть, что они *что-то* нашли, что им *что-то* принадлежит. Что именно? Ничего. Но сегодня жизнь так полна! Дома каждый из них поглядел на себя в зеркало ласковым взглядом, как на друга, думая: «Эти глаза смотрели на тебя». Они улеглись рано, охваченные какой-то сладостной усталостью,— почему бы это? И, засыпая, думали: «Как хорошо, что наступит завтра!»

Завтра!.. Те, кто придут после нас, едва ли представят себе, сколько затаенного отчаяния и беспредельной скорби поднимало в душе это слово на четвертом году войны... Все были так измучены! Столько погибших надежд! Сотни «завтра» сменялись чередой, похожие на вчера и сегодня и равно обреченные на небытие и ожидание, ожидание небытия. Время приостановило свой бег. Год стал подобен Стиксу, охватившему жизнь кольцом черных, мутных вод, недвижных, подернутых тусклой зыбью. Завтра? Завтра умерло.

В сердцах двух детей Завтра воскресло.

Завтра снова увидело их у фонтана, так же как и все последующие «завтра». Ясная погода благоприятствовала этим коротким,—но с каждым разом все менее коротким,—встречам. Пьер и Люс приносили какую-нибудь еду—было так приятно угостить! Пьер всегда поджидал Люс у входа в музей. Ему захотелось посмотреть ее рисунки. Она ими не очень-то гордилась, но не заставила себя упрашивать. Это были уменьшенные копии известных картин или их фрагментов: группа, лицо, бюст. На первый взгляд недурно, но очень небрежно. Кое-где довольно верные, умелые штрихи; а рядом—ученические промахи, выдававшие не только невежество, но и нетребовательность, полное равнодушие к оценке. «Ничего! Сойдет!» Люс называла подлинники. Пьер и сам хорошо знал их. Он досадливо морщился. Люс видела, что ему не нравится, но мужественно показывала все—вот вам и еще!.. Самая скверная! С ее губ не сходила усмешка—насмешка и над собой и над Пьером; ей не хотелось призна-

ваться самой себе, что ее самолюбие задето. Пьер не открывал рта, боясь сказать лишнее. Но, наконец, он не вытерпел. Она показала ему копию одной картины Рафаэля во Флоренции.

— Но здесь совсем не те краски! — воскликнул он.

— Ничего удивительного! — возразила Люс. — Подлинника я и в глаза не видела... я делала по фотографии.

— Но разве вам не дают указаний?

— Кто? Клиенты? Они тоже не видели... Да если бы и видели, разве они в этом разбираются? Красный ли тут, зеленый, синий — им все равно. Иногда мне и дают оригинал в красках, но я меняю цвета... Вот хотя бы здесь, взгляните... (Ангел Мурильо.)

— И вам кажется, что так лучше?

— Нисколько, но это меня забавляет... И к тому же так было легче... А в общем мне все равно... Только бы продать...

Сказав это с вызывающим видом, она замолчала, забрала у Пьера свои рисунки и рассмеялась:

— Ну, что? Хуже, чем вы думали?

Он огорченно спросил:

— Зачем? Зачем вы это делаете?

Она взглянула с доброй, материнской усмешкой на его растерянное лицо. Глупый мальчик! Его родители — люди обеспеченные, ему все так легко достается... Разве он понимает, что иногда приходится идти на компромисс?..

А он все повторял:

— Зачем, ну скажите, зачем?

(И казался совсем сконфуженным, словно сам был этим злополучным художником! Славный мальчик! Ей захотелось поцеловать его... по-матерински, в лоб.)

Она кротко ответила:

— Чтобы прокормиться.

Он был поражен. Ему это и в голову не приходило.

— Жизнь не так проста, — продолжала она непринужденно-насмешливым тоном, — прежде всего надо есть, каждый день есть. Сегодня пообедал, а завтра начинай сначала. Кроме того, надо одеваться. Одеть все — и тело, и руки, и ноги, и голову. Вот сколько вещей! И за все надо платить. Жить — значит платить.

Впервые он заметил то, что ускользнуло от его близоруких глаз влюбленного: скромный, местами потертый мех, уже не новые ботинки и другие признаки недостатка, которые скрадывала присущая парижанке элегантность. И сердце у него сжалось.

— Нельзя ли, нельзя ли мне помочь вам?

Она покраснела и чуть отстранилась от него.

— Нет, нет,— обиженно возразила она,— об этом не может быть и речи... никогда... я не нуждаюсь...

— Но я был бы так счастлив!

— Нет... и довольно об этом. Или я с вами не дружу.

— Так, значит, мы друзья?

— Да. Если только вы не отказываетесь, просмотрев эту мазню.

— Ну, конечно, нет! Вы же не виноваты.

— Но это вас огорчает?

— О да.

Люс от удовольствия даже засмеялась.

— Вам весело? Злая!

— Нет, это не злость. Вы не поняли.

— Почему же вы смеетесь?

— Не скажу.

(А сама думала: «Дорогой мой! Какой же ты милый... Огорчился из-за того, что я скверно рисую!»)

И сказала:

— Вы добрый; спасибо.

(Он удивленно взглянул на нее.)

— Не старайтесь понять! — Она ласково похлопала его по руке.— Довольно, поговорим о другом...

— Да, только еще один вопрос... Мне все-таки хотелось бы знать... Скажите (только не обижайтесь!)... может быть, вы сейчас стеснены в средствах?

— Нет, нет, я так сказала потому, что иногда бывали трудные минуты. А теперь нам уже легче. Мама нашла место, где хорошо платят.

— Ваша мама работает?

— Да, на заводе военного снаряжения. Там платят двенадцать франков в день. Мы теперь богатые!

— Как, на заводе? На военном заводе?

— Да.

— Но это ужасно!

— Что подлаешь! Надо брать, что подвернется!

— Люс, но если бы вам,—вам самой предложили?..

— Мне? Но вы же видите: я мазюкаю... Теперь-то вы согласны, что я права, занимаясь этим?

— Но если бы вам надо было зарабатывать, и ничего другого не представилось, кроме работы на военном заводе, вы пошли бы?

— Если бы надо было зарабатывать и не было выбора? Ну, еще бы! Помчалась бы со всех ног!

— Люс, а вы думали о том, что там делают?

— Нет, не думала.

— Там делают то, что несет страдания, смерть, что будет терзать, жечь, мучить таких людей, как вы, как я...

Она приложила палец к губам в знак молчания.

— Знаю, все это знаю, но не хочу об этом думать.

— Не хотите думать?

— Не хочу,— решительно сказала Люс.

И, с минуту помолчав, продолжала:

— Надо жить... Как только начинаешь думать—жить невозможно... А я хочу, хочу жить! Если жизнь заставляет меня делать то или другое, разве я должна из-за этого терзаться? Я тут ни при чем, я этого не хотела, и не моя вина, если это дурно. В том, чего я хочу, нет ничего дурного.

— А что вы хотите?

— Прежде всего—жить.

— Вы любите жизнь?

— Еще бы! А разве это нехорошо?

— Нет, нет, так хорошо, что вы живете!

— А вы? Вы не любите жизнь?

— Я не любил ее раньше, до того...

— До того, как?..

(Отвечать не требовалось. Все было понятно без слов.)

Пьер пытался уточнить ее мысль.

— Вы сказали «прежде всего», «прежде всего я хочу жить». А потом? Чего бы вам еще хотелось?

— Не знаю.

— Нет, знаете.

— Вы очень нескромны.

— Да, очень.

— Я стесняюсь сказать вам...

— Шепните мне на ухо. Никто и не услышит.

Она улыбнулась.

— Мне хотелось бы... (Она запнулась.) Мне хотелось бы чуточку счастья...

(Они сидели так близко один к другому.)

Она продолжала:

— Разве я слишком многого требую? Я часто слышу, что это эгоистично; да я и сама себе говорю: «На что мы сейчас имеем право?» Когда видишь кругом столько страданий, столько горя, не смеешь ничего требовать. И все же мое сердце требует и говорит: «Нет, есть у тебя право, есть право на чуточку, на капельку счастья...» Ну скажите мне прямо: разве это эгоистично? Вы находите, что это нехорошо?

Его охватила бесконечная жалость. Этот крик сердца, трогательный и простодушный, взволновал его до глубины души. На глазах у него выступили слезы. Сидя на скамье, прижавшись друг к другу, они чувствовали теплоту своих

колен. Ему хотелось повернуться, обнять ее, но он боялся потерять самообладание. Они сидели не двигаясь, глядя прямо перед собой на ноги. Торопливо, горячо и глухо, едва шевеля губами, он проговорил:

— Маленькая моя! Моя дорогая! Мне хочется прижать ваши крохотные ножки к своим губам, мне хочется всю вас съесть...

Не поворачиваясь, так же торопливо и тихо, она ответила в полном смущении:

— Вы с ума сошли! Замолчите! Прошу вас...

Мимо них, медленно прогуливаясь, прошел пожилой человек. Им казалось, что они растворяются в безграничной нежности...

В аллее не было никого. Взъерошенный воробей копошился в песке. Фонтан рассыпался светлыми каплями. Они робко обернулись друг к другу; и как только взгляды их встретились, губы их, словно летящие птицы, соединились, боязливо и трепетно, и разлетелись. Люс встала, пошла. Пьер тоже поднялся. Она сказала ему: «Останьтесь».

Они избегали смотреть друг на друга. Пьер пробормотал:

— Люс... эта капелька счастья... теперь есть она у нас... скажите?

Из-за непогоды завтраки у фонтана с воробьями прекратились. Февральское солнце затянуло туманами. Но они не могли погасить то солнце, которое влюбленные носили в своем сердце. Не все ли равно, какая погода: холод, жара, дождь, ветер, снег или солнце! Им всегда хорошо; даже будет все лучше и лучше. Когда счастье в поре своего цветенья, самый прекрасный день — это сегодня.

Туман был им на руку: было меньше риска попасться кому-нибудь на глаза, и они не расставались подолгу. С утра Пьер поджидал Люс у остановки трамвая и сопровождал ее в беготне по Парижу. Воротник его пальто был поднят. Люс была в меховой шапочке, в боа, плотно окутывавшем ее шею до самого подбородка; под туго натянутой вуалеткой маленьким кружочком вырисовывались ее губки. Но самой лучшей вуалью для обоих была влажная пелена укрывающей мглы, густая, пепельно-серая, с желтыми фосфоресцирующими бликами. В десяти шагах ничего не было видно. Они шли по старым улицам, выходящим к Сене, среди сгущавшегося тумана. О друг туман, на твоих ледяных простынях потягивается и нежится мечта! Они были как зернышко в мякоти плода, как огонек, скрытый в потайном фонаре. Пьер крепко держал свою спутницу под руку; они шли в ногу, оба почти

одного роста,—Люс чуть повыше,—и щebetали вполголоса, близко наклонившись друг к другу; ему так хотелось поцеловать влажный кружок на вуалетке.

Люс ходила продавать к скупщику поддельной старины заказанные ей «брюквы» и «репки», как она их называла. Они не спешили прийти к месту и, как бы нечаянно (по крайней мере они хотели себя в этом уверить), выбирали путь подлиннее, сваливая вину на туман. Когда же, наконец, вопреки всем хитростям, на которые они пускались, чтобы обойти его, нужный им дом вставал перед ними, Люс входила в лавку, а Пьер становился на углу улицы. Он ждал подолгу, и ему было холодно. Но ради Люс он счастлив был ждать, зябнуть и даже скучать. Наконец, девушка показывалась, спешила подойти к нему, улыбающаяся, растроганная, обеспокоенная, не продрог ли он. По ее глазам он видел, когда все сходило благополучно, и радовался не меньше ее самой. Но чаще всего она возвращалась с пустыми руками; чтобы получить деньги, приходилось наведываться по два-три дня подряд. Хорошо еще, если ей не делали грубых замечаний и не возвращали заказа. Как раз сегодня ей устроили целый скандал из-за миниатюры, сделанной по фотографии одного почтенного покойника, которого она никогда не видела. Родные возмущались тем, что она не передала в точности цвет его глаз и волос. Придется переделывать! Склонная видеть свои житейские невзгоды с их комической стороны, она посмеивалась, бодрилась; но Пьеру это не казалось смешным; он выходил из себя:

— Идиоты! Какие идиоты!

Рассматривая фотографии, которые Люс предстояло воспроизвести в красках, Пьер кипел от негодования (до чего ее забавляла эта смешная ярость) при виде тупых физиономий, застывших в торжественной улыбке. Он считал кощунством, что милые глаза Люс должны были созерцать, а руки воспроизводить эти грубые лица. Нет, это возмутительно! Лучше уж копировать картины старых мастеров; но на это нечего было рассчитывать: закрывались последние музеи, искусство больше не интересовало заказчиков. Прошла пора пресвятых дев и ангелов, настала пора солдата. В каждой семье был свой живой или мертвый, чаще мертвый, и семья хотела увековечить его черты. Богатые заказывали копии в красках; работа эта неплохо оплачивалась, но, к сожалению, перепадала все реже и реже; приходилось быть покладистее! Скоро кончится и это—ничего больше не останется, как делать за грошовую плату увеличенные копии с фотографий.

Словом, Люс уже не было надобности находиться в городе: работа в музее отпала; бывать в магазине — получать

и сдавать заказы — требовалось не чаще двух-трех раз в неделю; а работать можно и дома. Это не очень-то устраивало юных друзей. Они кружили по улицам, не решаясь повернуть обратно к трамвайной остановке.

Почувствовав усталость и продрогнув от холодного, пронизывающего тумана, они зашли в церковь; усевшись тихонько в уголке одного из приделов и любуясь витражами, они заговорили вполголоса о повседневных мелочах своей жизни. Время от времени наступало молчание, и душа, освобожденная от слов (ибо не смысл слов имел для них значение, но самое дыхание их жизнью, соприкасавшихся трепетно и тайно), продолжала другую беседу, более значительную и сокровенную. Призрачные видения витражей, сумрак меж колонн, убаюкивающее пение псалмов сливались с их мечтами, напоминали о горестях жизни, о которых хотелось забыть, порождали умиротворение, мысли о бесконечном. Хотя было уже около одиннадцати часов, желтоватый сумрак наполнял храм, как масло — священный сосуд. Сверху, откуда-то издалека, падали неясные отсветы, темный пурпур цветного стекла, алый блик среди лиловых тонов, смутно различимые лица в черных оправках. В высокой стене мрака зиял, словно рана, кровавый свет.

Люс прервала молчание:

— Вас должны *взять*?

Он сразу понял ее, ибо его мысль в тишине следовала тою же темной тропой.

— Да, — ответил он, — не надо об этом говорить.

— Скажите только одно: когда?

Он ответил:

— Через полгода.

Она вздохнула.

— Не стоит говорить об этом, — заметил Пьер, — ведь не поможет.

— Да, не поможет, — отозвалась она.

И, сделав над собой усилие отогнать печальную мысль, они мужественно (пожалуй, следовало бы сказать наоборот: «трусливо»? Кто знает, в чем именно истинная храбрость!) заставили себя говорить о посторонних вещах: о звездах свеч, мерцавших в дымке храма; о заигравшем органе; о церковном стороже, прошедшем мимо; о коробке с сюрпризами — сумочке Люс, в которой беззастенчиво шарили пальцы Пьера — надо же было развлечься чем-нибудь. Ни он, ни она не допускали даже мысли уйти от рока, грозившего разлучить их. Противостоять войне, пойти против течения, уносившего за собой целый народ, — все равно что поднять церковь, прикрывшую их своим щитом! Единственным спасением

было не думать, не думать до последней минуты, надеясь втайне, что она никогда и не наступит. А до той поры не омрачать своего счастья.

Когда они уже шли по улице, оживленно болтая, Люс вдруг дернула Пьера за рукав, приглашая взглянуть на витрину обувного магазина. Он заметил, что взгляд ее умильно ласкает пару высоких ботинок из тонкой кожи со шнуровкой.

— Недурны! — заметил он.

— Душки! — вырвалось у нее.

Это выражение рассмешило его; она тоже засмеялась.

— Но, пожалуй, чуточку велики?

— Нет, как раз впору.

— Так не купить ли?

Она сжала его руку и потянула прочь от витрины — от соблазна.

— Будь мы с деньгами... (и напевая на мотив: «Станцуюем капуцину...») Но это не для нас!

— Почему? Золушка ведь надела туфельки!

— В ту пору еще водились феи.

— А в наши времена еще водятся влюбленные.

Она пропела:

— Нет, нет и нет, мой милый друг!

— Почему же нет, раз я вам друг?

— Именно потому.

— Именно потому?

— Да, от друга нельзя брать.

— От кого же можно? От врага?

— От постороннего, ну хотя бы от моего скупщика, если бы этот скряга расщедрился дать мне аванс!

— Но, Люс, ведь и я тоже имею право заказать вам картину!

Она прыснула со смеху и остановилась:

— Мне — картину! Бедняжка вы мой, да на что она вам нужна? Спасибо вам и за то, что вы их смотрели. Я и сама знаю, что это за стряпня... Она застрянет у вас в горле.

— Вовсе нет. Были очень приятные миниатюры. Да и о чем толковать, раз у меня такой вкус?

— Он сильно изменился со вчерашнего дня!

— А разве нельзя меняться?

— Нельзя... если дружишь.

— Ну, сделайте мой портрет!

— Еще что! Теперь подавай ему портрет!

— Я не шучу! Неужели я хуже этих болванов?

В невольном порыве она сжала ему руку:

— Милый!

- Что вы сказали?
— Ничего.
— Но я прекрасно слышал.
— Ну и держите про себя!
— Не буду держать... верну вам вдвойне... милая, милая...
Итак, вы делаете мой портрет, не правда ли? Решено?
— А есть у вас фотография?
— Нет.
— Как же быть? Не рисовать же мне вас посреди улицы?
— Вы говорили, что дома вы почти всегда одна?
— Да, в те дни, когда мама на заводе... но я не решаюсь...
— Вы опасаетесь, что нас могут увидеть?
— Нет, не то... да у нас и нет соседей.
— Чего же вы боитесь?

Она промолчала.

Они дошли до трамвайной остановки. Здесь было много ожидавших, но в тумане, по-прежнему скрывавшем их от посторонних глаз, никто не видел юной пары; Люс избегала смотреть на Пьера. Он взял обе ее руки в свои и нежно сказал:

— Милая, не бойтесь ничего...

Она подняла глаза, и взгляды их встретились; глаза у обоих были такие открытые!

— Я верю вам,—промолвила она.

И опустила веки. Она чувствовала, что для него она — святая. Они разомкнули руки. Трамвай уже трогался. Взгляд Пьера вопрошал Люс.

— Когда же? — спросил он.

— В среду,—ответила Люс,—приходите часам к двум...

На лице ее снова заиграла лукавая улыбка, и на прощание она шепнула ему на ухо:

— Все-таки захватите с собой снимок. Я не так искусна, чтобы рисовать с натуры... Ну-ну, я уж знаю, что он у вас есть, притворщик вы этакий!

По ту сторону Малахова. Улица, точно щербатый рот, вся прорезана пустырями, которые тянутся вдаль к неприглядному поселку, где за досчатыми заборами пестреют лачуги старьевщиков. Серое, тусклое небо опустилось на бледную землю, тощее чрево которой курится туманом. Воздух скован холодом. Домик Люс нетрудно найти: последний из трех, стоящих по одной стороне улицы. Напротив — пустырь. Двухэтажный домик в окруженном забором небольшом дворе, два-три чахлых дерева, занесенный снегом квадрат огорода.

Пьер вошел бесшумно: снег заглушил его шаги; но занавеска в окне нижнего этажа шевельнулась; он подходит к

двери — дверь открывается, и Люс стоит на пороге. В полутемной прихожей они здороваются сдавленным голосом; она ведет его в первую комнату — столовую; здесь она работает; у окна стоит мольберт. Сначала они даже не знают, что сказать: слишком много думали они об этой встрече, и заранее приготовленные фразы застревают в горле; они говорят вполголоса, хотя в доме никого нет; именно поэтому. Напряженно вытянув руки, они сидят на почтительном расстоянии друг от друга; Пьер даже не опускает воротника пальто; говорят о похолодании, о часах прихода загородного трамвая, и досадают на свою глупость.

Наконец, поборов смущение, Люс спрашивает, принес ли он фотографии. И стоит лишь ему вынуть их из кармана, как оба оживляются. Фотографии — это как бы свидетели, при которых им легче вести беседу, они уже не совсем одни, на них смотрят чьи-то глаза, отнюдь их не стесняя. Пьер догадался (на всякий случай) захватить с собой все свои фотографии с трехлетнего возраста; среди них есть и снимок Пьера в юбочке. Люс в полном восторге смеется; она говорит малышу смешные ласковые слова. Может ли что-нибудь живее тронуть сердце женщины, чем детский портрет того, кто ей дорог? Мысленно она баюкает его, дает ему грудь; она готова поверить, что носила его под сердцем! К тому же (она ведь с хитрецей) очень удобно высказать крошке то, что не решаешься сказать взрослому. На его вопрос, какая из фотографий ей больше нравится, она, не задумавшись, отвечает:

— Вот этот милый малыш...

Ах, до чего у него серьезный вид! Пожалуй серьезнее, чем теперь. Конечно, если бы Люс решилась (она и решилась) взглянуть для сравнения на теперешнего Пьера, она увидела бы в его глазах доверчивость и детскую радость, чего не было у ребенка; глаза ребенка из обеспеченной семьи, которого держат под стеклянным колпаком, — это лишненные света глаза птички, запертой в клетке. Но свет блеснул, не правда ли, Люс? В свою очередь он хочет посмотреть фотографии Люс. Она показывает ему девочку лет шести с толстой косичкой, которая сжимает в объятиях щенка; и Люс, взглянув на свою фотографию, думает не без лукавства, что и тогда она любила не менее горячо, не менее преданно; и тогда уж она целиком отдавала сердце своему другу — своей собачке, которая, в ожидании прихода любимого, заменяла его. Потом она показала девочку лет тринадцати-четырнадцати, изгибавшую шейку с кокетливым и несколько жеманным видом; к счастью, в уголках губ таилась ее всегдашняя лукавая усмешка, и как бы говорила:

— Знаете, это я просто забавляюсь... Я себя еще не принимаю всерьез...

Смущения как не бывало!

Люс принялась набрасывать портрет Пьера. Так как двигаться ему было нельзя, а разговаривать можно лишь краешком губ, Люс болтала без умолку, за двоих. Женское чутье подсказывало ей избегать молчания. Как это случается с людьми чистосердечными, когда они разговорятся, она вскоре поверила Пьеру все сокровенные тайны своей жизни и жизни близких, говорить о которых вовсе и не предполагала. Она сама с удивлением слушала свою болтовню, но уже не могла остановиться: молчание Пьера было как бы скатом, по которому лился этот словесный поток.

Она рассказала ему о своем детстве, проведенном в провинции; родилась она в Турени. Мать ее, девушка из зажиточной и почтенной буржуазной семьи, увлеклась учителем, сыном фермера. Богатая семья была против их брака; но влюбленные настояли на своем; дождавшись совершеннолетия, девушка обратилась к властям с официальным заявлением. После этого родители отказались от нее. Для юной четы потянулись годы любви и бедности. В борьбе за кусок хлеба отец надорвался; его сломила болезнь. Жена мужественно взвалила на свои плечи и это бремя, работая за двоих. Родные, закоснев в своем уязвленном тщеславии, отказывались хоть немного помочь им. Больной скончался незадолго до начала войны. Мать с дочерью и не пытались возобновить отношения со своей родней, хотя она приютила бы девушку, если бы та сделала первые шаги, которые были бы восприняты, как *mea culpa* за проступок матери. Но этого они не дождутся! Лучше уж пребывать как-нибудь!

Такое жестокосердие богатой родни поразило Пьера. Люс же находила, что это далеко не редкость.

— Вы думаете, мало таких людей? В общем не злых. И я уверена, что дед с бабушкой не злые, уверена даже, что им было трудно не сказать нам: «Вернитесь!» Но их самолюбие было слишком уязвлено. А самолюбие — это самое сильное, что только есть в человеке. Оно берет верх над всеми чувствами. Если вы оскорбили их, они воспринимают это не только как личную обиду, но как Неправоту вообще! Другие — неправы, а они — они непогрешимы! И, в сущности не злые (нет, право не злые), они скорее дадут вам умереть медленной смертью в двух шагах от себя, чем согласятся признать, что они сами, быть может, неправы. И разве мало таких? Да сколько угодно! Вы думаете, нет? Скажите, разве не все они такие?

Пьер задумался. Слова Люс поразили его.

— Да, — говорил он себе, они именно такие...

И вот глазами этой девочки он увидел духовную нищету и пустынное бесплодие того общества, к которому он сам принадлежал,— класса буржуазии. Сухая, истощенная земля, утратившая мало-помалу все жизненные соки и уже не пополнявшая их, подобно тем азиатским странам, где живительные реки ушли, капля за каплей, в прозрачный, как стекло, песок. Даже тех, кого они, казалось им, любили, они любили собственнически, принося их в жертву своему эгоизму, своему тупому тщеславию, своему косному, ограниченному уму. Пьер с грустью обратил мысленный взор на самого себя и на своих родных. Он молчал. Оконные стекла дребезжали от отзвуков далекой канонады. Пьер, подумав о тех, кто погибал, произнес с горечью:

— Это тоже их черное дело.

Да, за все—за хриплый лай пушек там, вдали, за всеобщую бойню, за великое бедствие народов—за все это бóльшую долю ответственности несла та же буржуазия, тщеславная и ограниченная, несли ее жестокосердие, ее бесчеловечность. И вот теперь (и это справедливо) сорвавшись с цепи чудовище не остановится, пока не пожрет ее самое.

— Да, это так,— сказала Люс.

Ибо, сама того не подозревая, она невольно следовала за мыслью Пьера; тот вздрогнул, услышав этот отклик.

— Да, это так,— повторил он,— справедливо все, что совершается. Этот мир слишком стар, он должен умереть, и он умрет.

Люс, покорно опустив голову, грустно проговорила:

— Да.

Строгие лица детей, склонившихся перед роком, с челом, омраченным заботой и полным безотрадных мыслей!..

Сумерки в комнате сгущались. Становилось холодно. Руки у Люс озябли, и она оставила работу, на которую Пьеру не разрешено было смотреть. Они подошли к окну и залюбовались закатом, раскинувшимся над простором полей и лесистыми холмами. Темно-лиловые леса вырисовывались полукругом на зеленом небе, подернутом бледно-золотистой пылью. Здесь витала частица души Пювис де Шаванна. Одно краткое замечание Люс дало Пьеру почувствовать, что она понимает тайную гармонию природы; он взглянул на нее с удивлением. Люс, ничуть не обидевшись, сказала, что можно уметь чувствовать, и не обладая способностью выразить свои чувства. Не ее вина, если она плохо рисует. Из недалновидной экономии она не окончила курса в Школе декоративных искусств. Впрочем, только бедность заставила ее взяться за кисть. Зачем рисовать, если нет потребности? Разве Пьер не находит, что почти все, кто посвящает себя искусству, делают

это без настоящего призвания, а или из тщеславия, или от безделья, либо оттого, что вначале им казалось, что они одарены, а потом уже не хотелось признать свою ошибку. Надо браться за искусство только в том случае, если человек никак не может сдерживать переполняющих его чувств, если они бьют через край. Но у нее, сказала Люс, их было как раз на одного.

— Ну, на двоих,—добавила она, заметив, что Пьер насутился.

Великолепные золотистые тона неба потускнели. На пустынную равнину лег отпечаток уныния. Пьер спросил Люс, не страшно ли ей одной в таком глухом углу.

— Нет.

— А когда возвращаетесь поздно?

— Здесь неопасно. Бандиты сюда не заглядывают. У них свои обычаи. Ведь это тоже в своем роде буржуа. И потом тут рядом живет старик-тряпичник с собакой. Да я и не боюсь. О, я этим не хвастаю. Никакой заслуги тут нет. Это не храбрость. Просто мне еще не пришлось испытать настоящего страха; а когда приведется, я, быть может, окажусь трусливее других. Разве знаешь, каков ты на самом деле?

— Я-то знаю, какая вы,—вставил Пьер.

— Это гораздо легче. Я тоже знаю... вас. Других всегда лучше знаешь.

Сквозь закрытые окна проникала холодная вечерняя сырость. Пьер поежился. Люс инстинктивно почувствовала его озноб и поспешила приготовить и вскипятить на спиртовке чашку шоколада. Они подкрепились. Люс по-матерински укутала Пьера платком; он не противился, нежась, как котенок, в теплоте шерсти. Мысли их снова вернулись к прерванной беседе:

Пьер спросил:

— Вы с вашей матерью — обе такие одинокие — наверное, очень близки?

— Да,—ответила Люс,—были близки.

— Были? — переспросил Пьер.

— О, мы и сейчас очень любим друг друга! — Люс досадовала на себя за это случайно вырвавшееся слово. (Почему она всегда говорила ему больше, чем следовало? Он ведь не спрашивал ее, не решался спрашивать. Но Люс чувствовала, что сердце Пьера вопрошало ее. А это так сладко довериться другу, впервые в жизни! Тишина дома и полумрак комнаты располагали к откровенности.) Она сказала:

— Не поймешь, что творится эти четыре года. Все так изменились.

— Вы хотите сказать, что ваша мать изменилась или вы сами?

— Все изменились,— повторила Люс.

— Но в чем?

— Трудно сказать. Только чувствуешь, что везде, среди знакомых и даже в семье, уже не те отношения. Ни в ком нельзя быть уверенным; встаешь утром и думаешь: «Что-то принесет вечер? Узнаю ли я своих близких?» Точно барахтаешься в волнах, держась за дощечку,— и она вот-вот перевернется.

— Но что, собственно, произошло?

— Не знаю,— ответила Люс,— не могу объяснить. Но это — с войны. Что-то носится в воздухе. Все в смятении. Видишь семьи, где люди не могли дышать друг без друга, а теперь они расходятся в разные стороны, и каждый, как в беспамятстве, бредет куда глаза глядят...

— Куда же?

— Не знаю. И сами-то они, должно быть, не знают. Куда их поманит случай и жажда удовольствий. Женщины берут любовников. Мужья бросают жен. А все это, казалось бы, порядочные люди, всегда такие уравновешенные, благоразумные. Только и разговора, что о разбитых семьях. То же и у родителей с детьми. У моей мамы...

Она замялась, потом добавила:

— У мамы своя жизнь.

Опять запнулась.

— О, это так понятно! Она еще молода, и бедняжка видела так мало радости; запас ее любви не истрачен. Она права, желая создать себе новую жизнь.

Пьер спросил:

— Она собирается еще раз выйти замуж?

Люс неопределенно покачала головой. Пока еще ничего не известно... Пьер не посмел спрашивать.

— Она и теперь меня любит. Но уже не так, как раньше... Теперь можно обойтись и без меня... Бедная моя мама! Она так огорчилась бы, поняв, что привязанность ко мне уже не на первом месте в ее сердце. Она в этом ни за что не сознается...

— Странная штука — жизнь!

Люс улыбалась — нежно, печально и лукаво. Пьер ласково положил руку на ее пальцы, лежавшие на столе, и оба замерли.

— Бедные мы создания,— проговорил он.

Помолчав с минуту, она ответила:

— У нас-то с вами на душе спокойно!.. А другие — как в лихорадке. Война. Заводы. Надо спешить! Торопиться жить, работать, наслаждаться...

— Да,— подтвердил Пьер,— сейчас миг жизни короток.

— Тем более незачем спешить,— ответила Люс,— слишком скоро придешь к концу. Давайте идти потихонечку.

— Но сама жизнь мчится,— возразил Пьер. — Давайте же держать ее крепче.

— Я держу ее, держу,— проговорила Люс, сжимая его руку.

Так беседовали они то шутливо, то серьезно, точно два добрых, старых друга. И настороженно следили, чтобы между ними находился стол.

Вдруг они заметили, что в комнате уже совсем стемнело. Пьер поспешно встал, Люс его не удерживала. Краткий миг прошел. Они страшились того, который мог наступить. Прощание вышло натянутое, голоса их звучали так же глухо и неестественно, как и при встрече. На пороге они едва решились пожать друг другу руки.

Но уже за дверью, перед тем как выйти из сада, Пьер оглянулся на окно столовой, догоравшее медным отблеском сумерек, и увидел в зыбком полусвете страстное лицо Люс, смотревшей ему вслед. Вернувшись к дому, он прильнул губами к окну; и они поцеловались через стеклянную преграду. Затем Люс отступила в темноту, и занавеска упала.

Уже недели две они ничего не знали о том, что происходило на свете. В Париже могли без конца арестовывать и выносить приговоры. Германия могла подписывать и расторгать соглашения. Правительства могли лгать, пресса — метать гром и молнии, армии — убивать. Пьер и Люс газет не читали. Они знали, что кругом идет война, как свирепствует тиф или инфлюэнца, но старались забыть, не думать об этом.

Однако в эту ночь она им напомнила о себе. Они уже легли (так много душевного пыла тратили они за день, что к вечеру ими овладевала усталость). Услыхав, каждый в своем квартале, тревогу, они решили не вставать: только закутались плотнее, спрятали голову под одеяло, как дети во время грозы, вовсе не из страха (они были уверены, что с ними ничего не случится), а чтобы спокойно помечтать. Прислушиваясь в темноте к гулу, наполнявшему воздух, Люс думала:

«Как хорошо было бы слушать грозу в его объятиях!»

Пьер зажимал уши: пусть ничто не мешает ему сосредоточиться! Вновь и вновь он воспроизводил на клавиатуре своей памяти песнь сегодняшнего дня, мелодическое течение часов с той первой минуты, как он вошел в домик Люс, схваченные на лету оттенки ее голоса и движений, все мимолетные впечатления — тень от ресниц, легкий трепет, пробежавший по ее лицу, словно зыбь по воде, улыбку, скользнувшую по губам, как луч света, и ласку двух теплых протянутых ручек, между которыми задержалась его ладонь,— все эти драгоцен-

ные осколки пыталась соединить в одно целое волшебная фантазия любви. Пьер оберегал этот мир от вторжения жизни. Все житейское было для него непрошеным гостем... Война? Знаю, знаю. Она здесь? Пусть подождет!.. И война терпеливо дожидалась у порога. Она знала, что придет и ее час. Он тоже это знал и не стыдился своего эгоизма. Скоро и его захлестнет волна смерти. А до той поры он ничего не обязан ей отдавать. Ничего! Пусть зайдет за долгом по истечении срока! А сейчас пусть молчит! Ах, хотя бы до той поры, он ничего не желает терять из этого восхитительного времени, каждая секунда — крупинка золота, а он — скупой, перебирающий свои сокровища. Это мое, мое богатство. Не трогайте моего покоя, моей любви! Это мое, до того часа... А когда этот час настанет?.. Может быть, и не настанет! Чудо?.. Почему бы и нет?

Между тем поток часов и дней продолжал свой бег. На каждом повороте приближался грохот стремнин. Уносимые течением в своем челне, Пьер и Люс слышали его; но им уже не было страшно. Этот могучий рокот, словно басы органа, баюкал их любовный сон. А когда перед ними разверзнется бездна, они закроют глаза, теснее прижмутся друг к другу — и все будет кончено. Их ждет бездна, так незачем утруждать себя мыслями о жизни, которая могла бы быть, о безрадостном будущем. Люс предвидела преграды, с какими столкнется Пьер, когда встанет вопрос о их браке; те же опасения, хотя и более смутно (он меньше ее любил ясность), возникали и у Пьера. Но зачем заглядывать так далеко? Жизнь после бездны — это как та «иная жизнь», о которой твердят в церкви. Говорят, что мы там встретимся снова, но никто в этом не уверен. Достоверно только одно: сегодняшний день — наш день. Вольем же в него, не раздумывая, всю нашу долю вечного.

Люс еще меньше Пьера следила за событиями. К войне она оставалась совершенно безучастной. Это только лишнее бедствие в той цепи бедствий, из которых соткана человеческая жизнь. Война пугает только тех, кто отгорожен от ужасов жизни. И юная девушка, преждевременно познавшая, что такое борьба за хлеб насущный, — *panem quotidianum*... (господь бог не дает его даром!) — открывала глаза своему обеспеченному другу на ту смертельную войну, которая для бедных и в особенности для женщин никогда не прекращается и царит на земле, прикрытая обманчивым покровом мира. Она многого не договаривала, боясь слишком огорчить Пьера; видя, как он ужасается ее рассказам, она, в сознании своего превосходства, проникалась к нему дружелюбным снисхождением. Люс, подобно большинству женщин, не питала ни

физического, ни духовного отвращения к уродливым сторонам жизни, которые оскорбляли чувства юноши. В ней не было мятежного начала. Если бы раньше ей пришлось очень трудно, она ради заработка могла бы без отвращения согласиться на унижительное занятие и, бросив его, чувствовать себя спокойной и чистой без единого пятнышка на совести. Но теперь она уже не могла! Теперь, когда она узнала и полюбила Пьера, она переняла склонности своего друга и его отвращение к некоторым вещам. Но от природы она была совсем иной: отнюдь не печального, а спокойного, жизнерадостного нрава. Беспредметная тоска, возвышенная отрешенность от жизни были не по ее части. Жизнь есть жизнь. Надо принимать ее такой, как она есть. Она могла бы быть и хуже! Превратности необеспеченного существования, требовавшего постоянной изворотливости, особенно со времени войны, научили Люс не задумываться о завтрашнем дне. Вдобавок этой свободомыслящей маленькой француженке было чуждо стремление к потустороннему. Ей было достаточно и земной жизни. Люс находила, что эта жизнь хороша, но все в ней держится на волоске, этому волоску ничего не стоит оборваться, и, право же, незачем беспокоиться о том, что случится завтра. Глаза мои, пейте сияние, которое изливается на вас в этот миг! А там будь что будет. Сердце мое, беззаботно доверься течению!.. Ничего ведь не изменишь!.. Вот мы влюблены, и разве это не восхитительно? Люс знала, что это ненадолго. Но ведь и жизнь ей дана ненадолго...

Как не походила она на этого любимого ею и любящего ее мальчика, нежного, пылкого и нервного, счастливого и несчастного, который и радовался и страдал слишком остро, страстно отдавался, страстно сопротивлялся и был ей дорог именно потому, что совсем не был похож на нее. Но оба по безмолвному уговору решили не заглядывать в будущее: она из беспечности — безропотный ручеек, напевающий свою песенку; он из страстного неприятия, погрузившего его в пучину настоящего, в котором он хотел бы остаться навсегда.

Старший брат приехал в отпуск на несколько дней. С первого же вечера он почувствовал в семье какую-то перемену. Что именно? Сказать он не мог, но ему было не по себе. У души есть щупальца, осязающие на расстоянии то, чего еще не осознал разум. И самые тонкие — это щупальца самолюбия; они шевелились, искали и недоумевали: чего-то не хватает... Разве не было все того же круга любящих людей, отдававшего ему обычную дань восхищения, — внимательной аудитории, которую он скупо оделял своими рассказами, —

родителей, окутывавших его своим трогательным обожанием, младшего брата... Стоп! Его-то и нет на переключке.

Он, правда, присутствовал, но не увивался вокруг старшего и не смотрел ему в глаза, как прежде, ожидая задушевных бесед, между тем как Филиппу доставляло удовольствие не замечать этого. Жалкое самолюбие! Филипп, который раньше, при нетерпеливых расспросах младшего, напускал на себя снисходительно-насмешливый и усталый вид, был теперь недоволен его молчанием и сам попытался его раззадорить; он разговорился, поглядывая на Пьера, как бы давая ему понять, что делает это только для него. Прежде Пьер, радостно востепенувшись, подхватил бы на лету брошенный ему платок. Теперь он спокойно предоставил Филиппу самому поднимать его, если тот хочет. Филипп, задетый за живое, пустил в ход иронию. Пьер не растерялся и отпарировал в том же непринужденном тоне. Филипп попробовал завязать спор, разгорячился, ударился в красноречие, но вскоре заметил, что разглагольствует в одиночестве. Пьер только наблюдал за ним, как бы говоря:

— Продолжай, продолжай, дружище! Раз тебе это доставляет удовольствие! Я слушаю...

А на губах дерзкая улыбочка! Роли переменялись.

Филипп, обиженный, замолчал и начал присматриваться к младшему брату, не обращавшему уже на него внимания. Как он изменился! Родители, постоянно видевшие его, ничего не замечали, но пронизательные и вдобавок ревнивые глаза Филиппа, увидев Пьера после нескольких месяцев разлуки, не находили у него привычного выражения. Пьер выглядел счастливым, томным, беспечным, сосредоточенным в себе, равнодушным к людям, невнимательным ко всему окружающему, витающим, подобно юной девушке, в мире упоительных грез. И Филипп понял, что мысли брата им уже не заняты.

Умея читать в себе самом не хуже, чем в других, он скоро понял, что ему это досадно, и посмеялся над собой. Но, заставив замолчать свое самолюбие, он устремил все внимание на Пьера; ему хотелось найти разгадку этой перемены, вызвать Пьера на откровенность, но это было для него непривычным делом, к тому же и Пьер, по-видимому, вовсе не намерен был пускаться в откровенности; с независимым, небрежным и насмешливым видом наблюдал он за нехитрыми попытками Филиппа поймать его на удочку; руки в карманах, насвистывая песенку, он улыбался, думая о чем-то своем, рассеянно отвечал на вопросы, не вникая в их смысл, и тотчас же замыкался в себе. До свиданья! Его уже здесь нет. Вы только тщетно ловили руками его

ускользающее отражение в воде. И Филипп, как покинутый любовник, потеряв это сердце, только теперь по-настоящему оценил его и проникся обаянием его тайны.

Ключ к загадке был им найден совершенно случайно. Вечером, возвращаясь бульваром Монпарнас, он столкнулся во мраке с Пьером и Люс. У него мелькнуло опасение, что они его заметили. Но какое им было дело до окружающих! Рука об руку — Пьер поддерживал Люс под локоть, переплетя пальцы с ее пальцами, — они шли медленным шагом, прижавшись друг к другу с жадной, неутолимой нежностью Амура и Психеи, возлежащих на брачном ложе Фарнезины; их взгляды сливались в ласке, точно тающий воск. Прислонившись к дереву, Филипп смотрел, как они прошли мимо, остановились, двинулись дальше, скрылись во мраке. Сердце его наполнилось жалостью к этим детям. Он думал:

«Моя жизнь принесена в жертву. Пусть будет так. Но как несправедливо брать и эти! Если бы я мог заплатить собою за их счастье!..»

На следующее утро Пьер, несмотря на свое вежливое безучастие, все же заметил — правда, это дошло до его сознания не сразу, — как ласково разговаривает с ним брат. И, наполовину очнувшись, Пьер увидел уже забытое им, доброе выражение его глаз. Филипп пристально глядел на него, и Пьеру показалось, что брат видит его насквозь; он неловко попытался запереть свою тайну на замок. Филипп улыбнулся, поднялся, положил руку на плечо Пьера и предложил прогуляться. Пьер не мог оттолкнуть брата, возвращавшего ему свое дружеское расположение, и они отправились вместе в Люксембургский сад. Гуляя, старший все время держал руку на плече младшего; и тот, гордясь, что между ними опять согласие, разговорился. Братья оживленно беседовали на отвлеченные темы, о том, что они узнали по опыту, обменивались суждениями о людях, о прочитанных книгах, — обо всем, кроме того, что их больше всего занимало. Это было как бы молчаливым уговором. Таким счастьем было чувствовать себя близкими и вместе хранить тайну! Беседуя с братом, Пьер терялся в догадках:

«Знает ли он? Но откуда ему знать?»

Филипп слушал его болтовню и улыбался. Пьер остановился на полуслове.

— Ты что?

— Ничего. Смотрю на тебя. Я доволен.

Пожатие. На обратном пути Филипп спросил:

— Ты счастлив?

Пьер, не отвечая, утвердительно кивнул головой.

— Ты прав, дружок. Счастье прекрасно... Бери и мою долю.

Пока длился отпуск, Филипп, не желая портить брату настроение, избегал всяких упоминаний о скором призыве Пьера. Лишь в день отъезда он не удержался и высказал брату свое беспокойство: скоро и ему предстоит пройти сквозь те же, хорошо знакомые, испытания. Быть может, лишь на секунду легкая тень омрачила лоб юного влюбленного. Он чуть сдвинул брови, замигал глазами, как бы отгоняя докучный призрак, и сказал:

— Ничего! Еще не скоро! *Chi lo sa!*¹

— Знаем слишком хорошо,— заметил Филипп.

— Я во всяком случае знаю одно,— отрезал Пьер, рассерженный настойчивостью брата:— когда я окажусь там, я убивать не стану.

Филипп промолчал и только грустно улыбнулся; он-то знал, что делала со слабыми существами и их волей неумолимая стадная сила.

Наступил март... Длиннее дни, и первые песни птиц. Но с весенним светом еще ярче вспыхнуло зловещее пламя войны. Воздух был накален ожиданием весны и военных бедствий. Слышно было, как нарастал громовой раскат, как гремело оружие несметных врагов, месяцами скоплавшихся у плотины траншей и готовых хлынуть яростным разливом на Иль-де-Франс и на сердце его—Париж. Мрачной тенью ползли недобрые слухи: тревожные толки об удушливом газе—яде, разлитом в воздухе, который вскоре, как говорили, распространится по всей Франции и умертвит все живое, подобно удушливой пелене вулкана Мон-Пеле; а все учащавшиеся налеты «готов» искусно поддерживали нервное напряжение в Париже.

Пьер и Люс по-прежнему относились безучастно ко всему, что творилось вокруг; но горячий воздух предгрозя, которым они невольно дышали, разжигал томившее их желание. Три года войны породили в Европе падение нравов, которое коснулось и самых чистых. Кроме того, Пьер и Люс не были верующими. Их оберегало только благородство их чувств и врожденная чистота. Уже давно, не говоря об этом, они втайне решили, что станут близки прежде, чем их разлучит слепая человеческая жестокость. Сегодня вечером они сказали это друг другу.

Раза два в неделю мать Люс дежурила в ночной смене на заводе. Люс, не желая оставаться одна в пустынном квартале, ночевала в Париже у приятельницы. Здесь за ней не следили. Влюбленные пользовались случаем провести часть вечера вместе; иногда они позволяли себе скромно поужинать в

¹ Как знать! (*итал.*)

ресторанчике. В этот мартовский вечер, выйдя из ресторана, они услышали сигнал воздушной тревоги. Точно застигнутые ливнем, они бросились в ближайшее укрытие и некоторое время развлекались наблюдениями над своими случайными соседями. Им показалось, что опасность уже далека или совсем миновала, и, боясь попасть домой очень поздно, они, не дождавшись гудка, пустились в путь, весело болтая. Они свернули в старую, темную и узкую улочку, неподалеку от церкви Сен-Сюльпис, миновали экипаж с возницей, дремавшим, так же как и его лошадь, у каких-то ворот, отошли от него шагов на двадцать и были уже на другой стороне улицы, когда внезапно все вокруг содрогнулось: огненно-красная вспышка, громовой удар, град сорванных черепиц и разбитых стекол. Прижавшись к стене во впадине какого-то дома, резким углом выступавшего на улицу, они обнялись. При вспышке молнии их глаза, полные ужаса и любви, встретились. И во вновь воцарившемся мраке прозвучал умоляющий голос Люс:

— Нет! Я еще не хочу!..

Пьер почувствовал на своих губах губы и зубы Люс, прильнувшей к нему в страстном поцелуе. Охваченные трепетом, они замерли во мраке. Неподалеку от них люди, вышедшие из домов, вытаскивали из-под обломков расколотого в щепки экипажа полумертвого возницу; его пронесли мимо, совсем близко от них; на мостовую капала кровь. Пьер и Люс все еще стояли в оцепенении, прижавшись друг к другу всем телом, и когда они пришли в себя, им показалось, что они лишены покровов. Они разжали руки и слившиеся губы, которые, словно корни, пили любимое существо. Их охватила дрожь.

— Вернемся! — промолвила Люс, объятая священным ужасом.

Она увлекла его за собой.

— Люс, ты не дашь мне уйти из этой жизни, прежде чем...

— О боже! — ответила Люс, сжимая ему руку. — Это было бы хуже смерти...

— Любовь моя, — сказали оба.

Они опять остановились.

— Когда же я стану твоим? — спросил Пьер.

(Он не осмелился спросить: «Когда ты будешь моей?»)

Это не ускользнуло от Люс; она была тронута.

— Ненаглядный мой, — сказала она, — скоро! Не торопи! Ты не можешь этого желать больше, чем я сама! Побудем еще немного вот так... Это так хорошо! Еще хотя бы до конца месяца!

— До пасхи? — сказал он.

(В этом году пасха приходилась на последний день марта.)

— Да, до святого воскресения.

— Ах! — возразил он. — Этому воскресению предшествует смерть.

— Ш-ш! — И Люс зажала ему рот поцелуем.

Они разомкнули объятия.

— Сегодня наше обручение, — сказал Пьер.

Они шли в темноте, прильнув друг к другу, и тихо плакали от переполнявшей их нежности. Под ногами скрипели осколки стекла, и тротуар был забрызган кровью. Смерть и ночь, притаившись, подстергали их любовь. Но над их головами, точно над магическим кругом, в пролете между черными стенами улицы, узкой, как коридор, высоко-высоко, в гуще небесной тьмы билось сердце звезды...

И вот запели колокола, зажглись огни. Улицы оживают! Воздух освобожден от врага. Париж перевел дыхание. Смерть отступила.

Наступила вербная суббота. Они ежедневно проводили вместе несколько часов и даже не считали нужным скрываться. Им было уже не в чем отдавать отчет миру. Их связывали с ним такие тонкие нити, вот-вот готовые оборваться! Два дня назад началось решающее наступление германской армии. На пространстве чуть ли не в сто километров бушевали его волны. Город содрогался от непрерывных волнений: взрыв в Курневе потряс Париж, подобно землетрясению; непрекращающиеся тревоги разбивали сон и выматывали нервы. И вот ранним утром в вербную субботу люди, едва сомкнув глаза в ту беспокойную ночь, просыпались под гром неведомой пушки, которая из своей далекой засады, с того берега Соммы, словно с другой планеты, наугад метала смерть. При первых выстрелах, которые приписали сначала новому налету «готов», все послушно спрятались в подвалы; но постоянная опасность становится привычкой, к ней приспособливаешь свою жизнь и, пожалуй, находишь в ней известное удовольствие, если она пережита совместно с другими и не особенно велика. К тому же стояла такая прекрасная погода, что обидно было погребать себя заживо, и все вышли на воздух еще до полудня; улицы, сады, террасы кафе — все выглядело так празднично в этот лучезарный, солнечный полдень.

Этот-то полдень Пьер и Люс и выбрали для прогулки в Шавильском лесу, подальше от людей. Все эти десять дней их не покидало состояние тихого восторга, умиротворенности и нервного возбуждения, такое чувство, словно они — на остров-

ке, вокруг которого кружится бурное течение. Опыянение слуха и зрения влечет вас туда. Но зажмуриваешь глаза, зажимаешь руками уши, закрываешь дверь на засов, и вот в глубине души — тишина, солнечная тишина, недвижный летний день, где незримая Радость, подобно притаившейся птичке, поет свою песню, журчащую и свежую, как ручеек. О Радость! Волшебная певунья, щебетание счастья! Я хорошо знаю, что достаточно щелочки меж век или чтобы палец, хоть на минуту, не зажимал уши, — и вновь вас обдаст пена и рев потока. Шлюз так слаб! И я знаю, что он ненадежен, и ярче разгорается моя Радость от нависшей над ней угрозы. Само спокойствие и тишина пронизаны дыханием страсти!..

Войдя в лес, они взялись за руки. Первые дни весны — новое вино, ударяющее нам в голову. Молодое солнце опыяняет нас чистейшим соком своей лозы. Еще не опушенный лес облит сиянием. Лазурное око неба меж голых ветвей завораживает и усыпляет разум... Они едва обменивались словами. Язык ленился договорить начатую фразу. Ноги подкашивались; шатаясь, они, как бы нехотя, брели среди солнечного безмолвия леса. Земля тянула их к себе. Так бы и лечь на дороге. Унести на ободу великого колеса мироздания...

Они взобрались по откосу лесной дороги, углубились в чашу, улеглись рядом на мертвых листьях, сквозь которые уже пробивались фиалки. Первые песни птиц и отдаленный гул пушек сливались с сельскими колоколами, возвещавшими о завтрашнем празднике. Сверкающий воздух был пронизан надеждой, верой, любовью, смертью. В этом уединении они разговаривали вполголоса. Сердце замирало — от счастья, от горя? Они сами не знали; на них нахлынули грезы. Люс неподвижно лежала на спине, вытянув руки вдоль тела и устремив в небо задумчивый взгляд; она чувствовала, как нарастает в ее душе затаенное страдание, которое она с утра пыталась побороть, чтобы не омрачать радости этого дня. Пьер положил голову на колени Люс, в складки ее платья, касаясь лицом ее теплого живота, как спящий ребенок. Люс молча ласкала уши, глаза, нос и губы любимого. Казалось, что на кончиках этих милых, одухотворенных любовью пальцев были, как в сказках, крошечные ротикки. И Пьер, подобно чуткой клавиатуре, угадывал по легкому дрожанию ее пальцев о царившем в душе подруги волнении. Он уловил ее вздох раньше, чем она вздохнула. Люс приподнялась и, подавшись вперед всем телом, задыхаясь, чуть слышно простонала:

— О Пьер!..

Пьер с изумлением взглянул на нее.

— О Пьер! Что мы такое? Чего хотят от нас? Чего хотим мы сами? Что творится в нас? Эта пушка, птицы, война, любовь... Эти руки, это тело, глаза... Где я? И что такое я сама?..

Пьер, никогда еще не выдавший ее в таком смятении, потянулся обнять ее. Но она резко отстранилась.

— Нет, нет...

И, закрыв лицо руками, она ничком упала в траву. Взволнованный Пьер умолял:

— Люс!

Он близко наклонился к ней.

— Люс,— повторил он,— что с тобой? Это не из-за меня?

Она приподняла голову:

— Нет!

Но на глазах у нее он увидел слезы.

— Ты чем-то огорчена?

— Да.

— Но чем?

— Я не знаю...

— Скажи мне...

— Ах, мне стыдно,— проговорила она.

— Стыдно? Чего?

— Всего.

И замолчала.

С самого утра она находилась под гнетущим впечатлением грустной сцены, тягостной и унижительной: мать ее, зараженная дурманом распущенности, насыщавшим атмосферу больших заводов — этих чанов смерти, в которых бродили нездоровые страсти, — отбросила всякий стыд. У себя дома она устроила любовнику дикую сцену ревности, ничуть не смущаясь присутствием дочери; и Люс узнала, что мать ее беременна. Она восприняла это как нечто постыдное, осквернявшее и ее самое и всю любовь вообще, бросившее тень даже на ее чувство к Пьеру. Вот почему, когда Пьер прикоснулся к ней, она оттолкнула его: ей было стыдно и за себя и за него. Стыдно за него? Бедный Пьер!..

Он сидел тут рядом, обиженный, боясь пошевелиться. Ей стало жаль его, она улыбнулась сквозь слезы и, положив голову ему на колени, сказала:

— Ну, теперь моя очередь...

Пьер, все еще встревоженный, осторожно проводил рукой по ее волосам, точно гладил котенка. Он пробормотал:

— Люс, чем ты расстроена? Скажи мне?

— Ничем,— ответила она,— просто я видела невеселое зрелище.

Из уважения к ее тайнам он не стал допытываться.

Минуту спустя она продолжала:

— Ах, бывают минуты, когда стыдишься, что ты человек.

Пьер вздрогнул.

— Да,— отозвался он.

Помолчав немного, он нагнулся и прошептал:

— Прости.

Люс, порывисто приподнявшись, закинула руки ему за шею и тоже сказала:

— Прости.

И губы их слились.

Детями овладело страстное желание утешить друг друга.

И каждый думал про себя:

«Хорошо, что мы скоро умрем!.. Было бы хуже стать такими, как эти люди, которые гордятся тем, что они люди и могут разрушать и осквернять».

Касаясь уст устами, ресниц—ресницами, погружая взгляд в глаза любимого, они улыбались с нежным состраданием. И все не могли насытиться этим прекрасным чувством—самым чистым из проявлений любви. Наконец, они оторвались от созерцания друг друга, и Люс, взглянув вокруг просветленным взором, увидела всю прелесть неба, оживающих деревьев, уловила дыхание цветов.

— Как хорошо!— сказала она.

И думала:

«Почему все в природе так прекрасно? И только мы так убоги, ничтожны, уродливы!.. (Но не ты, моя любовь, не ты!)»

Затем снова взглянула на Пьера:

— Ах, что мне до других?

С очаровательной непоследовательностью влюбленных она расхохоталась, живо вскочила на ноги и побежала по лесу, крикнув Пьеру:

— Лови меня!

До самого вечера они резвились, как дети. И, утомленные, не торопясь, вернулись в долину, наполненную, словно корзина, снопами вечерних лучей. Все открывалось для них по-новому, все, что они вкушали с наслаждением одним существом, одним общим сердцем.

Их было пятеро друзей-сверстников, собиравшихся вместе, пятеро юных товарищей по школе, со сходным во многом направлением мыслей и складывающихся юношеских убеждений, что сближало их между собою и отгораживало от других. Однако среди них не нашлось бы и двух, думающих одинаково. Под внешним единодушием сорока миллионов французов таится сорок миллионов людей, мыслящих каждый по-своему. Мысль Франции похожа на ее землю—страну мелких огороженных владений. Пятеро друзей—каждый со

своего клочка — пытались поверх ограды обмениваться мнениями, но это приводило лишь к тому, что они еще крепче утверждались в своих взглядах. Впрочем, все они были свободомыслящими, и если не все являлись республиканцами, то все были врагами умственной или социальной реакции, противниками возврата назад.

Больше других был захвачен войной Жак Сэ. Этот благородный молодой еврей беззаветно разделял все увлечения мыслящей Франции. Во всей Европе его израильские соотечественники, подобно ему, сроднились с интересами и идеями той страны, которая стала их родиной. У них была даже склонность преувеличивать все, что они принимали. Этот красивый юноша со страстным, хотя немного тяжелым взглядом, звучным голосом, правильными и словно изваянными чертами лица в своих убеждениях доходил до крайности и был неистов в спорах. По его мнению, речь шла о крестовом походе демократий с целью освободить народы и раз и навсегда покончить с войной. Четыре года человеколюбивой бойни ни в чем не убедили его, ибо он был из тех, кого факты ни в чем не могут убедить. В нем жила двойная гордость: скрытая гордость его народа, который ему хотелось реабилитировать, и его личная гордость, ибо он хотел доказать свою правоту. Чем меньше в глубине души он был уверен в собственной правоте, тем яростнее настаивал. Его искренний идеализм служил ширмой властным, слишком долго подавляемым инстинктам и не менее искренней жажде опасной, рискованной деятельности.

Антуан Нодэ тоже стоял за войну. Но лишь потому, что иначе было нельзя. Это был плотный и румяный, благодушный и покладистый, но себе на уме молодой буржуа, слегка задыхавшийся и раскатисто, с жеманной грацией уроженца центральных провинций, произносивший букву «р»; он слушал с невозмутимой улыбкой пылкие и красноречивые излияния своего друга Сэ и не упускал случая раззадорить его небрежно брошенным словом; но толстый ленивец сам и не думал пускаться за ним вдогонку. К чему лезть на рожон, раз ничего от нас не зависит? Это только в трагедиях изображают героическую и велеречивую борьбу между долгом и желанием. Когда выбора нет, исполняешь свой долг без громких фраз: от них, увы, он не становится приятнее! Нодэ не восторгался и не возмущался. Здравый смысл подсказывал ему, что, раз уж машина пущена в ход и война находится в разгаре, придется принимать в ней участие,— иного выхода нет. А все разговоры об ответственности — пустая трата времени. Если мне надо драться, то какая мне радость знать, что можно было бы не драться, если бы события сложились... не так, как они сложились!

Ответственность! Для Бернара Сессэ вопрос об ответственности и был главным вопросом; он с ожесточением пытался распутать этот змеиный клубок; или, вернее, он потрясал им над головой, словно маленькая фурия. Хрупкий юноша, благородный, страстный и очень нервный, сжигаемый повышенной восприимчивостью ума, отпрыск богатой, буржуазной семьи, принадлежавшей к старому республиканскому роду, членам которого случалось занимать самые высокие посты в государстве, он из духа противоречия исповедовал крайние революционные идеи. Слишком близко наблюдал он нынешних хозяев жизни и их клику. Он обвинял все правительства, и прежде всего свое собственное. Он только и говорил, что о синдикалистах и большевиках; недавно открыв их, он брался с ними, точно знал с детства. Не представляя себе ясно, в чем именно может состоять спасение, он видел его в решительном изменении общественного строя. Он ненавидел войну, но с радостью пожертвовал бы своей жизнью в классовой борьбе,— в войне против своего собственного класса, в войне против себя самого.

Четвертый член содружества, Клод Пюже, следил за этими словесными поединками с холодным, несколько пренебрежительным интересом. Выходец из мелкой буржуазной среды, бедный, оторванный от родной почвы, он был вывезен из провинции каким-то заезжим инспектором, обратившим внимание на его способности. Преждевременно лишенный близости семьи, этот лицейский стипендиат, привыкший рассчитывать только на самого себя и быть наедине с самим собою, жил лишь собою и для себя. Философ-эгоист, склонный к анализу душевных переживаний, сладострастно погруженный в самосозерцание, он, словно жирный свернувшийся клубком кот, не заражался волнением окружающих. Трех приятелей, которые никак не могли столковаться между собою, он сваливал в одну кучу вместе с «черню». Разве эти трое не роняли себя, стремясь разделить чаяния толпы? Говоря по правде, для каждого из них толпа была разной. Но, по мнению Пюже, какова бы она ни была, толпа всегда неправа. Толпа — это враг. Дух должен пребывать в одиночестве, подчиняться только собственным законам и, отдалившись от черни и государства, основать замкнутое царство мысли.

А Пьер, сидя у окна, рассеянно смотрел вдаль и мечтал. Обычно он со страстью устремлялся в эти юношеские поединки. Но сегодня они казались ему праздным жужжанием, которому он внимал откуда-то издалека, совсем издалека, в полузабытьи, устало и насмешливо. Остальные в пылу спора долго не замечали его молчания. Наконец, Сессэ, привыкший

встречать у Пьера поддержку своим революционным речам, не слыша его голоса, вдруг спохватился и окликнул друга.

Пьер, как бы внезапно разбуженный, покраснел и, улыбаясь, спросил:

— О чем вы говорите?

Они пришли в негодование.

— Так ты ничего не слышал?

— О чем это ты размечтался? — спросил Нодэ.

Пьер несколько смущенно и вместе с тем дерзко ответил:

— О весне. Она все же вернулась без вашего разрешения; и уйдет, не спросясь у нас.

Все смотрели на него с уничтожающим презрением. Нодэ обозвал его поэтом, а Жак Сэ — поэром.

Лишь холодно прищуренные глаза Пюже остановились на Пьере с насмешливым любопытством, и он произнес:

— Крылатый муравей!

— Что такое? — весело отозвался Пьер.

— Береги крылья! — посоветовал Пюже. — Это — брачный полет. Он длится всего час.

— Вся жизнь длится не дольше, — ответил Пьер.

На страстной неделе они встречались ежедневно. Пьер навещал Люс в ее уединенном домике. Жидкий садик пробуждался. Они проводили в нем послеполуденные часы. Им стал теперь чужд Париж, с его толпой и шумными проявлениями жизни. Временами на них находило даже какое-то оцепенение, и они молча сидели рядом, лениясь пошевеливаться. Странное чувство владело ими: они боялись, боялись приближения дня, когда должны были стать близки, — боялись из-за избытка любви, из-за чистоты душевной, которую оскорбляли уродства, жестокость, грязь жизни, ибо в опьянении страсти душа томительно мечтала быть от них избавленной. Но между собою они об этом не говорили.

Время обычно протекало в тихой беседе о будущем жилище, о совместной работе, о своем маленьком хозяйстве. Они заранее устраивали свое гнездышко во всех подробностях, расставляли мебель, отводили место книгам, бумагам, каждому предмету. Люс, вызывая в воображении все эти милые мелочи, уютные картины повседневной семейной жизни как истая женщина, бывала порой растрогана до слез. Они наслаждались, предвкушая простые и пленительные радости будущего очага... Но знали, что все это не сбудется, — Пьеру это подсказывал его безрадостный взгляд на жизнь, а Люс — любовное прозрение, открывшее ей неосуществимость этого брака. Вот почему они и спешили вкусить его

в мечтах, скрывая друг от друга уверенность, что все это так и останется мечтою. Каждый думал, что это понятно только ему, и всячески оберегал радужные надежды друга.

Мысленно предвосхитив горькие радости несбыточного счастья, они чувствовали себя усталыми, словно пережив все это наяву. И тогда они отдыхали, сидя в беседке, увитой диким виноградом, в котором солнце растопляло замерзшие соки; Пьер клал голову на плечо Люс, и оба, мечтая, слушали гудение земли. Молодое мартовское солнце, играя в прятки с набегавшими тучками, то улыбалось, то исчезало. Светлые лучи, темные тени скользили по равнине, как в душе — радость и горе.

— Люс,— спросил вдруг Пьер,— не кажется ли тебе... что когда-то давным-давно... все это уже было...

— Да,— подтвердила Люс,— правда, я помню... Все было, как сейчас... Но чем мы тогда были?

Их забавляло строить предположения, в каком же облике они уже встречались. Людьми? Может быть; но тогда, наверное, девушкой был Пьер, а Люс — возлюбленным. Или птицами в воздушной синеве? В детстве мать говорила Люс, что она была диким гусенком, свалившимся к ней через трубу: ах, как она изломала свои крылья! Но особенно нравилось им воображать себя в виде изменчивых частиц природы, которые сливаются вместе, свертываются и развертываются, подобно прихотливому узору мечты или дыма: белоснежные облачка, тонущие в бездонности неба, легкая зыбь волн, капли дождя, роса на траве, пух одуванчика, плывущий по воздушным струям... Но ветер их уносит... Ах, только бы он не разбушевался опять и им не потерять бы друг друга навеки!

Но Пьер возразил:

— А я думаю, что мы никогда и не разлучались; мы были вместе, вот как сейчас, лежа друг подле друга; только мы спали и видели сны; иногда просыпались... не совсем... я чувствую твоё дыхание, твою щеку у моей щеки... усилие, и губы наши сближаются... и снова впадаем в забытьё... Милая, милая, я здесь, я держу твою руку, не покидай меня! Сейчас нам еще рано просыпаться, весна высунула только самый кончик своего замерзшего носа...

— Как твой,— перебила Люс.

— Скоро мы проснемся в ясный летний день...

— Мы сами будем ясным летним днем,— вставила Люс.

— ...Знойной сенью лип, солнцем в ветвях, поющими пчелами...

— ...Персиком на шпалере, его ароматной плотью...

— ...Полуденным отдыхом жнецов и их золотыми снопами...

— ...Ленивым стадом, пасущимся на лугу...

— ...А вечером, на закате, зыбким светом, который расстилается вдаль, над лугами, точно цветущий пруд...

— ...Мы станем всем,— заключила Люс,— всем, чем приятно любоваться и обладать, что сладостно целовать, вкушать, осязать и вдыхать... А остальное пусть достается им...— Люс указала на дымки города.

И рассмеялась, обняв своего друга:

— Неплохо исполнили мы наш маленький дуэт. Ты не находишь, Пьерро?

— Да, Джессика,— согласился он.

— Мой бедный Пьерро,— продолжала она,— мы с тобой были созданы не для этого мира, где только и умеют петь марсельезу!

— Если бы еще умели ее петь!— проронил Пьер.

— Мы ошиблись станцией и сошли раньше.

— Боюсь, что следующая станция оказалась бы еще хуже... Ты представляешь себе, что было бы с нами в том обещанном улье, где никто не посмеет жить для себя, а только для пчелиной матки или для республики!

— Нести яйца с утра до ночи, как пулемет, или с утра до ночи лизать яйца других, спасибо за выбор,— заявила Люс.

— О Люс, скверная девочка, как некрасиво ты рассуждаешь!— смеясь, сказал Пьер.

— Да, гадко, я и сама знаю. Ни на что хорошее я не годна. Да и ты тоже, дружок. Ты плохо приспособлен к тому, чтобы убивать и калечить людей на войне, а я к тому, чтобы потом зашивать их, как несчастных лошадей, искалеченных во время боя быков, которые должны еще послужить в будущей свалке. Мы с тобой бесполезные, опасные существа. Мы хотим,— а это нелепое, даже преступное стремление— жить для любви, любить тех, кто нам близок, моего милого возлюбленного, моих друзей, хороших людей, ребяташек, добрый дневной свет, вкусный, мягкий хлеб и все то, что мне приятно и вкусно положить на зубок. Это позор, позор! Красней за меня, Пьерро! Но мы будем наказаны по заслугам! Земля скоро станет одной огромной фабрикой, работающей без отдыха и срока, но для нас с тобой там не найдется места. К счастью, нас тогда уже не будет!

— Да, к счастью!— подтвердил Пьер.

В твоих объятьях даже смерть желанна!
Что честь и слава, что мне целый свет,
Когда моим томлениям в ответ
Твоя душа заговорит нежданно!

— Что ж! Неплохо сказано!

— Неплохо и в истинно французском духе. Это из Ронсара,— сказал Пьер.

Но, робкому, пусть рок назначит мне
Сто лет бесславной жизни в тишине
И смерть в твоих объятиях, Кассандра.

— Сто лет,— вздохнула Люс,— он довольствуется малым!

И я клянусь: иль разум мой погас,
Иль этот жребий стоит даже вас,
Мощь Цезаря и слава Александра¹.

— Негодный, негодный, негодный шутник! И тебе не стыдно! В наше-то время героев!

— Их слишком много,— возразил Пьер.— Лучше уж я буду простым влюбленным мальчиком, сыном обыкновенной женщины.

— Ребенком, у которого еще не обсохло на губах мое молоко,— сказала Люс, обнимая его.— Мой, мой мальш.

Все, кто пережил эти дни, кому суждено было стать свидетелем ослепительного поворота судьбы, забыли, конечно, впоследствии о том, как в эту неделю тяжелое темное крыло в своем зловещем взмахе нависло над Иль-де-Франс, задев своей тенью и Париж. В радости сбрасываешь со счетов перенесенные испытания. Германские войска в стремительном натиске достигли высшей точки своего наступления на страстной неделе между понедельником и средой. Перейдена Сомма, взяты Бапом, Нель, Гикар, Руа, Нуайон, Альбер. Захвачено тысяча сто пушек... Шестьдесят тысяч пленных... Во вторник на страстной скончался Дебюсси, символ попоранной страны прекрасного. Сладкозвучная лира разбилась... «Бедная маленькая умирающая Эллада!..» Что останется от него? Несколько чеканных ваз, несколько безупречно прекрасных стел, которые заглушит трава Стези Забвения. Бессмертные останки разрушенных Афин...

Пьер и Люс смотрели, словно с вершины холма, как опускалась на город тень. Еще обласканные лучами своей любви, они без страха ждали конца своего краткого дня. Отныне в ночи они будут неразлучны. Как вечерний Angelus, реяла над ними наваянная воспоминаниями сладостная печаль дивных аккордов любимого ими Дебюсси. Больше, чем когда бы то ни было прежде, откликалась на зов их сердца

¹ Перевод В. Левика.

музыка, — единственное искусство, которое было голосом освобожденной души, прорывающимся сквозь оболочку формы.

В страстной четверг они шли рядом, держась за руки, по размытым дождем дорогам пригорода. Порывы ветра пронеслись над затопленной равниной. Они не замечали ни дождя, ни ветра, ни безотрадной картины полей, ни грязной дороги. Они уселись рядом на низкой ограде какого-то парка, часть которой недавно обвалилась. В мокром плаще и с мокрыми руками, Люс, свесив ноги, смотрела из-под зонта Пьера, едва прикрывавшего ей голову и плечи, как падали капли. Когда ветер шевелил ветви, капли ударяли по земле, точно дробинки: хлоп! хлоп! Люс молчала, улыбалась и вся тихо светилась.

Их пронизывала глубокая радость.

— Почему мы так любим друг друга? — спросил Пьер.

— Ах, Пьер, ты, видно, мало меня любишь, если спрашиваешь — почему.

— Я спрашиваю, — возразил Пьер, — чтобы услышать то, что и сам знаю не хуже тебя.

— Ты ждешь от меня похвал, — сказала Люс, — но останешься ни с чем. Если ты знаешь, за что я тебя люблю, то я этого не знаю.

— Не знаешь? — в изумлении протянул Пьер.

— Конечно, нет! (Люс исподтишка усмеялась.) Да мне и не нужно знать! Если ты спрашиваешь себя — почему, значит, нет большой уверенности, значит, это не так уж хорошо. Раз я люблю, я не желаю знать никаких «почему», никаких «где», «когда», «откуда» или «как»! Есть моя любовь, только моя любовь, а остальное как ему угодно.

Они поцеловались. Дождь этим воспользовался, забрался под неповоротливый зонт, коснулся холодными пальцами их волос и щек; они выпили капельку, проскользнувшую меж губ. Пьер спросил:

— Ну, а другие?

— Кто это — другие?

— Несчастные, — ответил Пьер, — все, кто не мы с тобой.

— Пусть поступают, как мы! Пусть любят!

— Но хочется, чтобы и тебя любили! А это ведь не всем дано.

— Нет, всем!

— Нет, не всем! Ты не знаешь цены тому, что ты мне подарила.

— Подарить свое сердце любви, а свои губы любимому — это поднять глаза к свету. Это — не отдать, а взять.

— Но есть слепые.

— Их нам не исцелить, мой Пьерро. Мы будем видеть за них.

Пьер молчал.

— О чем ты задумался?

— Я думаю, что в этот день, такой далекий от нас и такой близкий, принял крестную муку тот, кто пришел на землю, чтобы исцелять слепых.

Люс взяла его руку.

— Разве ты веришь в него?

— Нет, Люс, больше не верю. Но он всегда остается другом тех, с которыми он, хотя бы однажды, разделит трапезу. А ты, ты знаешь его?

— Очень мало,—ответила Люс,—мне никогда о нем не говорили. Но я, и не зная, люблю его... за то, что он любил.

— Да, но не так, как мы.

— Почему же? Но у нас всего лишь маленькие, жалкие сердца, которые умеют любить только друг друга. А он—он любил всех. Но это все та же любовь.

— Не пойти ли нам завтра,—растроганно спросил Пьер,—на таинство его погребения? В церкви Сен-Жерве, говорят, будет хорошая музыка.

— Да, Пьер, я буду рада пойти с тобой в церковь в такой день. Он примет нас радушно, я уверена. А мы, став ему ближе, станем ближе и друг другу.

Молчание... Дождь, дождь, дождь. Падает дождь. Опускается вечер.

— Завтра в этот час мы будем там,—сказала Люс.

Туман пронизывал их. Люс вздрогнула.

— Милая, ты озляла? —с беспокойством спросил Пьер. Она поднялась.

— Нет, нет. Все для меня—любовь. Я люблю все, и все меня любит. И дождь меня любит, и ветер, и серое, холодное небо—и мой дорогой возлюбленный.

В страстную пятницу небо все еще было затянуто сплошной серой пеленой, но день был теплый и тихий. На улицах продавали цветы. Пьер купил подснежники и левкои, и Люс несла их в руках. Они прошли по тихой набережной Ювелиров, миновали собор Парижской богородицы. Старый город, окутанный неясной дымкой, повеял на них очарованием своего кроткого величия. На площади Сен-Жерве из-под ног у них вспорхнули голуби. Они долго смотрели на птиц, круживших над фасадом; одна голубка села на голову статуи. На последней ступеньке паперти, перед тем как войти в храм, Люс обернулась и увидела неподалеку, в толпе, рыжеволосую девочку лет двенадцати, которая, прислонившись к portalу, с закинутыми за голову руками, смотрела на нее. У девочки было тонкое лицо старинной соборной статуи с загадочной улыбкой, жеманной, лукавой и нежной. Люс улыбнулась в

ответ и указала на нее Пьеру. Но вот глаза девочки, устремленные куда-то поверх головы Люс, наполнились ужасом. И дитя, закрыв лицо руками, исчезло.

— Что с ней? — спросила Люс.

Но Пьер ничего не видел.

Они вошли. Над их головами ворковал голубь. Последний звук извне. Голоса Парижа смолкли. Вольный воздух остался за порогом. Наплывы органа, высокие своды, завеса из камня и звуков отделила их от мира.

Они остановились в одном из боковых приделов, между вторым и третьим алтарем налево от входа. И там, за выступом колонны, присели на ступеньки, скрытые от остальных молящихся. Отсюда, повернувшись спиной к хорам и подняв глаза, они видели крест, венчавший врата алтаря, и витражи одного из боковых приделов. Дивные старинные песнопения изливали свою благочестивую печаль. В этой церкви, облаченной в траур, двое маленьких язычников взялись за руки и, обращаясь к великому другу, чуть слышно прошептали:

— Великий друг! Пред лицом твоим я беру его, я беру ее. Благослови нас! Ты видишь наши сердца.

И пальцы их соединенных рук переплелись, подобно соломинкам корзины. Они были единой плотью, по которой трепетом пробегали волны музыки. Словно лежащие на одном ложе, они предались мечтам.

В памяти Люс опять всплыл образ рыжей девочки. Ей смутно представилось, будто она видела ее во сне прошлой ночью; но она никак не могла вспомнить, действительно ли так было, или сегодняшнее видение только сливалось с прошедшим сном. Наконец, устав от усилия, мысли ее унеслись далеко.

Пьер вспоминал о днях своей короткой жизни. Жаворонок взмывает над туманной равниной, устремляясь к солнцу... Оно так далеко! Так высоко! Долетит ли?.. А туман все сгущается... Не видно земли, не видно неба... И силы изменяют... Внезапно сквозь струившуюся под сводом хора грегорианскую вокализу прорвалось ликующее пение, из мглы вынырнуло крохотное окоченевшее тельце жаворонка и поплыло по безбрежному морю солнца...

Легкое пожатие пальцев напомнило им, что они плывут вместе. И они опять очнулись в полумраке храма, тесно прижавшиеся друг к другу, окутанные звуками прекрасных песнопений; любовь, в которой растворились их души, подняла их к высотам самой светлой радости. И в пламенной молитве они пожелали никогда уже оттуда не спускаться.

В это мгновение Люс, обласкавшая страстным взглядом своего дорогого юного спутника (полузакрыв глаза и приоткрыв губы, как бы растворившись в безграничном счастье, он в порыве благодарной радости поднял голову к той высшей Силе, которую бессознательно ищут наверху),— Люс с замиранием сердца вдруг увидела на красно-золотом витраже алтаря улыбавшееся ей лицо рыжей девочки с паперти. Онемев от изумления, вся похолодевшая, она снова увидела на этом странном лице выражение ужаса и сострадания.

И в ту же секунду мощная колонна, к которой они прислонились, пошатнулась и вся церковь задрожала до самого основания. Сердце Люс так бешено колотилось, что заглушало для нее и грохот взрыва и вопли толпы, и она бросилась, не успев ощутить ни страха, ни страдания, бросилась, чтобы прикрыть своим телом, как наседка своих птенцов, Пьера, который с закрытыми глазами все еще улыбался от счастья. Материнским движением она крепко-крепко прижала к груди эту дорогую голову; она вся припала к нему, касаясь губами его затылка; и оба стали совсем маленькими.

И мощная колонна, рухнув, погребла их.

Август 1918.



«Кола Брюньон». В апреле 1913 года Роллан записывает в своем дневнике: «Двадцать дней не говорю никому ни слова. Еще никогда мои дни не текли так легко и быстро. Я вынашиваю новый роман («Король пьет», или «Жив курилка»), я начинаю его писать»

Летом того же года роман был закончен и получил известное всему миру название «Кола Брюньон».

Роллан обращается в этом произведении к эпохе расцвета личности, к Возрождению; время огромного подъема творческих сил народа он противопоставляет духовному оскудению буржуазного общества в XX веке; накануне империалистической войны прославляет радость жизни и духовную красоту человека

Намерение Роллана напечатать свое новое произведение в газете «Ревю де Пари» не смогло осуществиться: в обстановке усиливающейся реакции издатели испугались вольнодумства «Кола Брюньона». В начале 1915 года роман был включен в том избранных сочинений Роллана, готовившийся к выпуску издательством Оллендорф. Но издание затянулось из-за войны. Во Франции «Кола Брюньон» был впервые опубликован только в 1919 году. Первый русский перевод появился в 1922 году.

«Это, может быть, самая изумительная книга наших дней,— писал Максим Горький.— Нужно иметь сердце, способное творить чудеса, чтобы создать во Франции, после трагедий, пережитых ею, столь бодрую книгу— книгу непоколебимой и мужественной веры в своего родного человека, француза».

По свидетельству Луи Арагона, из всех книг Роллана повесть о Кола Брюньоне стала во Франции самой любимой книгой простых людей.

«Лилиюли». Драматическая сатира «Лилиюли» первоначально мыслилась автором как второй акт философской драмы «Буриданов осел», над которой он начал работать летом 1912 года. Драма эта не была осуществлена, так же как задуманный цикл «аристофановских сатир» подобного же рода на современную буржуазную демократию. Но часть драмы, вчерне написанная уже к январю 1913 года, подверглась дальнейшей обработке и была закончена в ноябре 1918 года; в 1919 году опубликована под названием «Лилиюли» как самостоятельное произведение.

«Лилиюли», задуманная больше чем за год до начала первой мировой войны, представляет собой памфлет против войны. «Это значит,— отмечает

сам автор,— что война ни для кого не явилась неожиданностью». В 1922 году пьеса была переведена на русский язык.

«Пьер и Люс». Повесть «Пьер и Люс» принадлежит к произведениям Роллана, непосредственно связанным с событиями военных лет. Сюжет ее возник под впечатлением бомбардировки Парижа германской авиацией в начале 1918 года, в результате которой была разрушена церковь Сен-Жерве и имелись человеческие жертвы. Повесть была закончена в августе 1918 года и опубликована отдельным изданием в 1920 году. В 1924 году появился первый русский перевод.

КОЛА БРЮНЬОН. *Перевод М. Лозинского*

Предисловие послевоенное.....	8
К читателю.....	9
<i>Глава первая. Сретенский жаворонок.....</i>	<i>11</i>
<i>Глава вторая. Осада, или пастух, волк и ягненок.....</i>	<i>20</i>
<i>Глава третья. Брэвский кюре.....</i>	<i>35</i>
<i>Глава четвертая. Бездельник, или весенний день.....</i>	<i>48</i>
<i>Глава пятая. Ласочка.....</i>	<i>65</i>
<i>Глава шестая. Залетные птицы, или серенада в Ануа.....</i>	<i>84</i>
<i>Глава седьмая. Чума.....</i>	<i>93</i>
<i>Глава восьмая. Старухина смерть.....</i>	<i>104</i>
<i>Глава девятая. Сожженный дом.....</i>	<i>112</i>
<i>Глава десятая. Мятаж.....</i>	<i>122</i>
<i>Глава одиннадцатая. Герцог с носом.....</i>	<i>137</i>
<i>Глава двенадцатая. Чужой дом.....</i>	<i>146</i>
<i>Глава тринадцатая. Чтение Плутарха.....</i>	<i>155</i>
<i>Глава четырнадцатая. Король пьет.....</i>	<i>163</i>
Примечания Брюньонова внука.....	177

ЛИЛЮЛИ. *Перевод О. Холмской.....* 181

Послесловие. *Перевод А. Смирнова.....* 239

ПЬЕР И ЛЮС. *Перевод И. Грушецкой.....* 249

Историко-литературная справка..... 301

Роллан Р.

Р 67 Кола Брюньон. Лилюли. Пьер и Люс: Пер. с фр. / Ил. С. Крестовского.—М.: Правда, 1987.—304 с., ил.

В книгу известного французского писателя и общественного деятеля Ромена Роллана (1866—1944) вошли роман «Кола Брюньон», прославляющий радость жизни и духовную красоту человека, пьеса «Лилюли» — своеобразный памфлет против войны и повесть «Пьер и Люс», непосредственно связанная с событиями военных лет.

Р 470300000—1516
080(02)—87 1516—87

84.4 Фр

Ромен РОЛЛАН

КОЛА БРЮНЬОН

ЛИЛЮЛИ

ПЬЕР И ЛЮС

Редактор Ю. О. Бем

Художественный редактор Е. М. Борисова

Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 1516

Подписано к печати с готовых фотоформ 18.12.86 Формат 60×90¹/₁₆
Бумага типографская № 1. Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная
Усл. печ. л. 19,00. Усл. кр.-отт. 19,50 Уч.-изд л. 18,75
Тираж 500 000 экз. (2-й завод 100 001—200 000).
Заказ №В-526 Цена 1 р 80 к

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137,
улица «Правды», 24

Отпечатано в типографии издательства Татарского обкома КПСС,
420066, Казань-66, ул. Декабристов, 2

1 р. 80 к.



ПОМНИ ПОЛТАН

